

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

2 '88



1918
1988



К. ФИЛАТОВ. Начало.

ЮНОСТЬ

2 (392)

'88



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

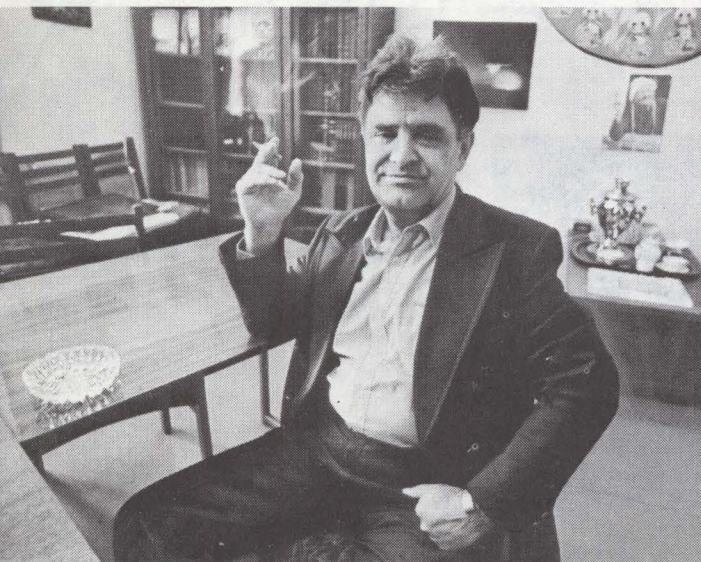
ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

ТРИ РАССКАЗА

Харлампо и Деспина



Чувствую, что пришло время рассказать о великой любви Харлампо к Деспине. Харлампо, пастух старого Хабуга, был обручен с Деспиной. Они были из одного села, из Анастасовки.

Деспина Иорданиди была дочерью зажиточного крестьянина, который, по местным понятиям, считался аристократом. Харлампо был сыном бедного крестьянина, и хотя отец Деспины разрешил им обручиться, он отказывался выдавать дочь замуж, пока Харлампо не обзаведется домом и своим хозяйством. В этом была драма их любви.

У Харлампо в доме оставалось девять братьев и сестер. Харлампо был старшим сыном своего отца. Следом за ним шла целая вереница сестер, которых надо было выдавать замуж и готовить им приданое. Поэтому Харлампо весь свой заработок отправлял в семью и никак не мог обзавестись собственным хозяйством. А без этого отец Деспины отказывался выдать за него свою дочь. По-видимому, не сумев прямо отговорить ее выходить замуж за Харлампо, отец надеялся, что ей надоест ожидать жениха и она выйдет замуж за более состоятельного грека.

Но Деспина оказалась преданной и терпеливой невестой. Семь лет она ждала своего жениха, а о том, что случилось на восьмой год, мы расскажем на этих страницах.

Все эти годы, дожидаясь возможности жениться на своей невесте, Харлампо никогда не забывал о нанесенном отцом Деспины, ее патэро, оскорблении его дому, ему самому и в конце концов Деспине.

— О, патера,— произносил он сквозь зубы несколько раз в день без всякого внешнего повода, и было ясно, что в душе его, никогда не затухая, бушует пламя обиды.

— О, патера?! — произносил он иногда с гневным удивлением, подняв глаза к небу, и тогда можно было понять его так: «Отец небесный, разве это отец?!»

Два-три раза в году Деспина навещала своего жениха. Она появлялась в Большом Доме в сопровождении худенькой, шустрой старушки в черном сатиновом платье, тетушки Хрисулы, которая играла при своей племяннице роль девохранительницы, хотя пыталась иногда довольно наивным образом скрывать эту роль.

Тетушка Хрисула, сестра отца Деспины, никогда не имела своей семьи, в сущности, она воспитала Деспину и не чаяла в ней души. По-видимому, Деспина тоже любила свою тетушку, иначе было бы трудно объяснить, как она, ни разу не взорвавшись, терпела ее бесконечные поучения. Тетушка Хрисула часто с гордостью повторяла, что вскормила Деспину исключительно двужелточными яйцами.

И это было видно по ее племяннице. Деспина была жизнерадостная, сильная девушка, с широкими бедрами, с приятным, необычайно белым лицом. Белизмой ее лица гордилась она сама, гордилась тетушка Хрисула, гордился Харлампо, с выражением сумрачного удовольствия слушавший, когда кто-нибудь из чегемцев удивлялся ее необычайно белому лицу, которому странно не соответствовали ее крепкие, загорелые крестьянские руки.

Длинные каштановые косы Деспины, когда она ходила, шевелились на ее бедрах, а на голове всегда была синяя косынка, которой она, выходя на солнце, почти как чадрой, занавешивала лицо. Глазки ее были такие же синие, как ее косынка, и, так как она косынку никогда не снимала, мне почему-то казалось, что глаза ее постепенно посинели от постоянного отражения цвета косынки.

Так вот. Если Деспина, бывало, забывшись, на минуту выходила на солнце, не сдвинув косынку на лицо, тетушка Хрисула тут же ее окликала:

— Деспина!

И Деспина привычным ловким движением стягивала косынку на лицо. По-видимому, тетушкой Хрисулой, а может, и другими родственниками Деспины обыкновенный загар рассматривался как частичная потеря невинности.

В доме старого Хабуга, безусловно, по его прямому повелению, Деспину и ее тетушку принимали очень почтительно.

Обычно, если в доме не было гостей, все мы усаживались за низенький, длинный абхазский стол, во главе которого всегда восседал старый Хабуг. Но если были гости, взрослые мужчины во главе с дедушкой садились за обыкновенный (русский, по чегемским понятиям) стол. Харлаμπο в таких случаях за этот стол никогда не сажали. Его сажали вместе с нами, детьми, подростками, женщинами (домашними женщинами, конечно) за низенький стол.

И хотя многие годы этот обряд оставался неизменным, Харлаμπο всегда болезненно воспринимал то, что его не сажали рядом с гостями. Это было видно по выражению его лица, и тетя Нуца, моя тетя, вероятно, пытаясь задобрить его, то и дело подкладывала ему самые вкусные куски с гостевого стола.

Харлаμπο, конечно, съедал все, что она ему давала, но как бы демонстративно отключив всякое личное удовольствие. Это было заметно по сдержанной, презрительной работе его челюстей, по какому-то насильственному глотательному движению, и мне порой казалось, что он каким-то образом даже приостанавливает действие слюнных желез. Его лицо говорило: да, да, я затолкал в себя все, что вы мне дали, но вкуса не почувствовал, не мог почувствовать и не хочу почувствовать.

Когда же Деспина с тетушкой Хрисулой приезжали навестить Харлаμπο, старый Хабуг сажал их вместе с ним за гостевой стол, а мы, все остальные, усаживались за обычный.

В такие часы чувствовалось, что Харлаμπο в душе ликует, хотя внешне остается, как всегда, сумрачно сдержанным. Оттуда, из-за высокого стола, он иногда поглядывал на нас со странным выражением, как бы стараясь себе представить, что чувствует человек, когда его сажают за низенький стол, и, как бы не в силах себе это представить, отворачивался.

Временами он бросал взгляд на свою невесту и тетушку Хрисулу, пытаясь внушить им своим взглядом, что вот он здесь сидит с дедушкой Хабугом, что он, в сущности, в этом доме не какой-нибудь там нанятый пастух, а почти член семьи.

Старый Хабуг на все эти тонкости не обращал внимания. У него была своя линия, которую можно было так расшифровать: я принимаю твоих гостей на самом высоком уровне, потому что знаю, что это полезно для твоих отношений с невестой. А то, что я тебя не сажаю за высокий стол с моими гостями, это дело моих обычаев, и мне безразлично, что ты переживаешь по этому поводу.

Тетушка Хрисула и Деспина гостили в Большом Доме иногда неделю, иногда две. Бывало, по вечерам в кухне или на веранде собирались молодые чегемцы, и Деспина с удовольствием с ними болтала по-русски

или по-турецки, порой безудержно хохоча шуткам чегемских парней, на что неизменно получала замечание от тетушки Хрисулы.

— Кондрепесо, Деспина! (Не стыдно, Деспина!),— говорила она и что-то добавляла по-гречески, судя по движению ее губ, показывала пределы приличия, на которые во время смеха может раздвигать губы аристократическая девушка — «аристократико кориче».

Деспина быстро прикрывала рот большой загорелой ладонью, но через несколько минут забывалась и снова закатывалась в хохоте.

Иногда, даже если Деспина и не хохотала, а просто слишком оживленно разговаривала с каким-нибудь из чегемских парней, тетушка Хрисула снова делала ей замечание.

— Деспина! — предупреждала ее тетушка Хрисула и, обращаясь к тете Нуце, говорила, что Деспина здесь, в Чегеме, совсем отбилась от рук, ошалев от встречи с Харлаμπο. Там, в Анастасовке, говорила она, Деспина с чужими людьми не разговаривает и ее многие принимают за немую. «Какая хорошая девушка, — нередко говорят чужие люди, попадая в Анастасовку, — как жаль, что она немая».

Тут Деспина снова закатывалась в хохоте, и тетушка Хрисула снова бросала ей голосом, полным укоризны:

— Кондрепесо, Деспина!

Харлаμπο следил за Деспиной со спокойным, сумрачным обожанием, и было ясно, что в его представлении все происходящее в порядке вещей, что «аристократико кориче» только так себя и ведет.

Иногда Харлаμπο, пригоняя коз, возвращался домой с большой кладью дров и с каким-то неизменным, подчеркнутым грохотом очаголюбия сбрасывал ее с плеча у кухонной стены (сбросить явно можно было и помягче), а тетя Нуца, где бы она ни была в это время, благодарным эхом отзывалась на этот грохот:

— Пришел наш кормилец!

И подобно тому, как Харлаμπο, сбрасывая дрова, подчеркивал грохот очаголюбия, чтобы его приход был слышен во всем доме, так же тетя Нуца громким голосом добрасывала до Харлаμπο свою преувеличенную благодарность.

Во время пребывания тетушки Хрисулы и Деспины в Большом Доме Харлаμπο этот грохот очаголюбия доводил до верхнего предела. Он сбрасывал дрова, не только не наклоняясь, как обычно, но теперь даже и не заходя на кухонную веранду, а лишь дойдя до нее, сильным толчком плеча дошвыривал тяжелую кладь до кухонной стены.

Обычно после этого Харлаμπο озирался и, поймав глазами тетушку Хрисулу, через нее, как через передаточную станцию, отправлял отцу Деспины свой незатухающий, свой сумрачный укор.

— О, патера, — иногда при этом выхлопывало из него.

— Деспина, — тихо говорила тетушка Хрисула, несколько подавленная этим грохотом очаголюбия Харлаμπο, справедливостью его укора и, может быть, самой своей ролью передаточной станции, — полей Харлаμπο.

Деспина быстро отправлялась на кухню и выходила оттуда с полотенцем, перекинутым через плечо, с мылом и кувшинчиком с водой.

Харлаμπο стягивал с себя рубашку и, оставаясь в майке, обнажал могучие голые руки и мощные плечи.

Вид полуголого Харлаμπο возвращал тетушку Хрисулу к тревожной яви. Минутной подавленности как не бывало. Покинув свое место на веранде, примыкающей к горнице, она останавливалась в непосредственной близости от Деспины, поливающей воду Харлаμπο.

Тетушка Хрисула впивалась в них глазами, и они под ее взглядом как-то замирали, старательно подчеркивая свою телесную разъединенность и самой скульптурной силой этого старания обнажая тайную взи-моустремленность, что вызывало некоторое неясное беспокойство тетушки Хрисулы.

И вот, наблюдая за тем, как Деспина поливает воду Харлампю, следя за кристальной струей, льющейся из кувшинчика, который держит целомудренно приподнятая, сильная рука девушки, тетушка Хрисула начала волноваться, когда струя эта укорачивалась, то есть Деспина приближала руку с кувшинчиком к затылку Харлампю или к его выставленному пред-плечью.

— Деспина! — раздавался предостерегающий голос тетушки Хрисулы, и девушка снова приподымала руку с кувшинчиком.

Умывшись, Харлампю разгибался и протягивал ладонь к полотенцу, висящему на плече у девушки, причем самым замедленным движением ладони (видите, как я владею собой), а также наглядно выставленными двумя пальцами он заранее давал убедиться в исключительной функциональности своего намерения ухватиться за край полотенца.

— Деспина, — все-таки считала тетушка Хрисула нелишним напомнить о приближающейся опасности.

Стоит ли говорить, что за все дни пребывания Деспины в Большом Доме тетушка Хрисула не выпускала из виду свою племянницу. О том, чтобы Деспина вместе с Харлампю удалилась в сад или пошла к соседям, не могло быть и речи. Иногда Харлампю брал их с собой в лес, куда он ходил пасти коз. Тетушка Хрисула возвращалась оттуда с губами, измазанными, как у девочки, соком черники, ежевики или лавровишни.

Надо сказать, что тетушка Хрисула отличалась необыкновенным не только для аристократической старушки, но и для обычной старушки аппетитом. Просто казалось непостижимым, куда это все идет, учитывая, что она была довольно сухонькая старушка.

Но тетушка Хрисула любила не только поесть, она была большой охотницей и до домашней водочки. И опять же, учитывая, что она была хоть и шустрая и не очень старая старушка, но все-таки старушка, выпить она могла довольно-таки порядочно. Пять-шесть рюмок она выпивала запросто.

Чегемские ребята нарочно старались ее как следует угостить, чтобы она уснула и оставила вдвоем Деспину и Харлампю. Но тетушка Хрисула никогда настолько не пьянела, чтобы лечь спать, она только, слегка размякнув, прижималась головой к плечу Деспины и что-то растроганно говорила своей племяннице.

И милая Деспиночка нисколько не ругала свою тетушку, а, наоборот, жалела, целуя смуглое, слегка сморщенное личико, прикинутое к ее молодому плечу, и что-то ласково приговаривала. Тетушка Хрисула ей что-то лепетала в ответ. И эта взаимная воркотня, с равномерными паузами, вздохами тетушки Хрисулы и повторами, как-то сама собой делалась понятной, словно они говорили по-русски или по-абхазски.

— Хрисула — глупышка, Хрисула немножко перебрала...

— Деспина, прости свою глупую старушку...

— Хрисула глупенькая, Сула немножко перебрала...

— Деспина, прости свою старую старушку...

Чегемские ребята, знавшие долгую горестную историю любви Харлампю, нередко предлагали ему найти удобный случай и овладеть Деспиной, тогда ее отцу некуда будет деться и он наконец выдаст ее замуж, не дожидаясь, пока Харлампю обзаведется хозяйством.

Они даже предлагали, раз тетушка Хрисула не

оставляет их вдвоем, удрать от нее в лесу, сделать свое дело, а потом вернуться к ней. Только, чтобы она не затерялась в лесу, уточнял кто-нибудь при этом, надо сначала снять с какой-нибудь козы колокольчик и надеть ей на шею.

Нет, поправлял другой, колокольчик не поможет, потому что тетушка Хрисула так и будет бежать за ними, гремя колокольцем и ни на шаг не отставая. Лучший способ, пояснял он, — это привязать ее к дереву хорошими лианами, только нельзя слишком задерживаться, а то ее комары заедят.

Нет, уточнял третий, раз уж на такое дело решились — спешить не стоит. Но, чтобы тетушку Хрисулу не заели комары, надо, привязав ее к дереву, рядом с ней развести костерок, подбросив в него гнилушек, чтобы он хорошо дымил.

Харлампю все эти советы выслушивал с сумрачным вниманием, без тени улыбки и отрицательным движением головы отвергал их.

— Деспина не простая, — говорил он, — Деспина аристократиса.

Многозначительно покачивая головой, он давал знать, что если таким образом и можно жениться на обыкновенной девушке, на аристократке нельзя.

Несмотря на ясный ответ Харлампю о том, что он не собирается таким путем жениться на Деспине, каждый раз, когда он, пригоняя коз, возвращался из леса вместе с Деспиной и тетушкой Хрисулой, чегемские ребята издали вопросительно смотрели на него и, помахивая рукой, задавали безмолвный вопрос: мол, что-нибудь получилось?

Харлампю опять же издали ловил их вопросительные взгляды и твердым, отрицательным движением головы показывал, что он не собирается таким коварным путем овладеть любимой девушкой. Возможно, тут сказывалась его затаенная под лавиной унижений гордость, его уверенность, что он, столько прождавший, в конце концов законным путем получит то, что принадлежит ему по праву любви.

(Вспоминая облик Харлампю и особенно его этот взгляд, я часто думал, что нечто похожее я неоднократно встречал в своей жизни. Но долго никак не мог понять, что именно. И вот наконец вспомнил. Да, точно так, как Харлампю, интеллигенция наша смотрит на людей, предлагающих насильственно овладеть Демократией: та тоже гречанка, как и Деспина. И точно так же, как и Харлампю, наша интеллигенция неизменным и твердым отрицательным движением головы дает знать, что только законным путем она будет добиваться того, что принадлежит ей по праву любви.)

Интересно, что, даже возвращаясь из лесу с большой вязанкой дров на плече, подпертой с другого плеча топориком-цалдой, и вынужденный из-за этой тяжести идти с опущенной головой, Харлампю, увидев чегемских ребят и терпеливо дождавшись их безмолвного вопроса, не ленился приподнять лицо, и твердым, отрицательным движением головы, преодолевая затрудненность этого движения из-за вязанки, торчащей над плечом, но все-таки преодолев эту затрудненность, он давал ясно понять, что ожидания их напрасны.

Видно, такая заинтересованность чегемских парней в его любовной истории не казалась ему назойливой, видно, его могучая, замкнутая в своей безысходности страсть нуждалась в поддержке доброжелателей или хотя бы зрителей.

Постоянная слезка тетушки Хрисулы за целомудрием Деспины была предметом всевозможных шуток и подначек обитателей Большого Дома и их гостей.

Например, если вечером все сидели на веранде, а Харлампю в это время находился на кухне, кто-нибудь потихоньку просил Деспину якобы не в служ-

бу, а в дружбу принести что-нибудь из кухни: то ли ножницы, то ли вязанье, то ли шерсть, то ли веретено. Обычно в таких случаях тетушка Хрисула, словно случайно услышав просьбу, успевала вскочить раньше Деспины и побежать на кухню.

Если же удавалось все же отправить Деспину незаметно для тетушки Хрисулы, то она вела себя по-разному, в зависимости от многих обстоятельств. К слову сказать, тетушка Хрисула была невероятная говорунья. По этому поводу обитатели Большого Дома отмечали, что рот ее хоть так, хоть этак, но обязательно должен работать.

— Дали бы ей чего пожевать, авось замолкнет,— говорил кто-нибудь по-абхазски, когда она своим лопотанием слегка заморочивала всем головы.

Так вот. Иногда, увлекшись разговором, тетушка Хрисула в самом деле упускала из виду Деспину. Однако опомнившись и сообразив, что она племянницу видела несколько мгновений тому назад, она спокойно вставала и, как бы по своим надобностям, уходила на кухню.

Если она замечала, что Деспина куда-то ушла, а Харлампо и все молодые люди, пришедшие в Большой Дом, сидят на месте, то она довольно долго терпела ее отсутствие.

И тут обитатели Большого Дома или его гости нарочно пытались вызвать в ней тревогу, спрашивая, куда, мол, запропастилась Деспина.

— А-а-а! — говорила тетушка Хрисула и отмахивалась: мол, и знать не знаю, и знать не хочу.

Но если тетушка Хрисула, заметив отсутствие Деспины, вспоминала, что она, скажем, увлекшись разговором, уже минут десять, как выпустила ее из виду, а Харлампо или кто-нибудь из молодых парней тоже исчез, она забывала о всякой маскировке.

— Деспина! — кричала она и вскакивала, словно пытаясь голосом еще до того, как добежала до кухни, удержать ее от гибельного шага.

Любоваться многообразием и богатством тактики тетушки Хрисулы в охране невинности Деспины было любимым занятием обитателей Большого Дома.

Иногда, бывало, и Деспина исчезала на кухне, и тетушка Хрисула прекрасно знает, что Харлампо там, но почему-то никакого волнения не проявляет. Эта тончайшая, по мнению тетушки Хрисулы, хитрость доставляла обитателям Большого Дома особенно утонченное веселье.

— Хрисула,— говорил кто-нибудь и многозначительно кивал в сторону кухни,— там Харлампо и Деспина?!

— А-а-а,— махала рукой тетушка Хрисула,— жених и невеста!

Проходило еще какое-то время, и снова с великой тревогой напоминали тетушке Хрисуле о неприлично затянувшемся пребывании на кухне Деспины и Харлампо.

— А-а-а,— говорила тетушка Хрисула и, махнув рукой, добавляла по-русски: — К чертум!

Чем же объяснить такую беззаботность тетушки Хрисулы? Тетушка Хрисула точно знала, что сейчас на кухне старый Хабуг, но думала, что другие об этом не знают.

Харлампо и дедушка Хабуг ночью спали на кухне. Деспину и тетушку Хрисулу укладывали в лучшей комнате, в зале. И хотя там стояли две кровати и две кушетки, тетушка Хрисула раз и навсегда отказалась спать в отдельной кровати. Она спала вместе с Деспиной. Ложились они в кровать не вalem, а головой в одну сторону. По уверению моих двоюродных сестричек, спавших в этой же комнате (не исключено, что насмешницы преувеличивали), тетушка Хрисула, укладываясь, наматывала на руку длинную косу Деспины, чтобы та ночью не сбежала к Харлампо.

По уверению тех же сестриц, тетушка Хрисула за ночь несколько раз, не просыпаясь, произносила: «Деспина!» — и опять же, не просыпаясь, подергивала руку, чтобы почувствовать тяжесть головы Деспины, чтобы убедиться, что она не сбежала к Харлампо, добровольно отрезав свою косу.

Однажды, дело было к вечеру, Деспину удалось послать за водой к роднику именно тогда, когда Харлампо пас коз возле родника, а тетушка Хрисула об этом не знала. Она думала, что он, как обычно, ушел в котловину Сабида. Вернее, так оно и было, но по договоренности с дядей Исой он должен был помогать ему щепить дрань возле родника, и вот туда через котловину Сабида он перегнал своих коз.

Все обитатели Большого Дома и ближайшие соседи, разумеется, все, кроме старого Хабуга, которого в эти планы никто не посвящал, с любопытством ждали, чем это все кончится.

Деспина явно задерживалась, из чего было ясно, что она там встретилась с Харлампо. Как ни отвлекали тетушку Хрисулу, через некоторое время она забеспокоилась, вышла во двор и стала кричать:

— Деспина! Деспина!

Деспина отозвалась. Громко укоряя ее, тетушка Хрисула пошла ей навстречу. Только она, пройдя скотный двор, вышла за ворота, как на тропе, ведущей к роднику, появилось стадо, в конце которого шла Деспина с кувшином на плече, а рядом важно выхаживал Харлампо. Тетушка Хрисула всплеснула руками и побежала им навстречу.

— Кондрепесо, Деспина! Кондрепесо, Деспина! — кричала она, указывая на Харлампо, который сумрачным выражением лица внушал тетушке Хрисуле, что ее подозрения унижают его достоинство, но он и это вытерпит, как терпит все ради своей великой любви.

Деспина, придерживая одной рукой кувшин, другой бойко жестикировала у самого лица тетушки Хрисулы, и по ее жестам можно было понять, что она совершенно случайно встретила Харлампо, и в то же время ее ладонь, несколько раз метнувшись в сторону кувшина, как бы указывала, что при таком свидетеле, как медный кувшин, ничего не могло произойти. По-видимому, она настаивала на том, что встретилась с Харлампо, когда уже с кувшином поднималась от родника, и ей ничего не оставалось, как продолжить свой путь рядом с Харлампо.

Тут тетушка Хрисула накинулась на Харлампо, и по ее жестам можно было понять, что раз он случайно встретился на дороге один на один со своей невестой, он должен был быстрее вместе с козами уйти вперед (она показала рукой, как это надо было сделать) или отстать (и опять же она показала, как это надо было сделать).

Харлампо ей что-то отвечал, и они в это время уже входили во двор. Судя по интонациям голоса, ответ его был исполнен сдержанного достоинства, и смысл его, вероятно, был в том, что ему незачем бегать от своей невесты, тем более когда она встречается ему на дороге с кувшином на плече. При этом он выдвинул собственное плечо, как бы согбенное под тяжестью кувшина, словно настаивая на полной нелепости предположения, что девушка под такой тяжестью может заниматься любовными шашнями.

Отвечая тетушке Хрисуле на ее выпады, Харлампо в то же время сумрачно искал глазами глаза чегемских парней, которые прямо с веранды, вопросительно глядя на него и помахивая рукой, безмолвно спрашивали: «Ну, теперь-то наконец тебе что-нибудь удалось?!»

И, продолжая отбиваться от нападков тетушки Хрисулы, Харлампо сумрачно смотрел на них и твердым движением головы показывал, что ничего такого не было и не могло быть.

Одним словом, тетушка Хрисула неустанно следила за Деспиной, все время находя самые неожиданные поводы вводить ее в рамки аристократического поведения. Стоило, скажем, Деспине погладить большую кавказскую овчарку, забежавшую на веранду, как тетушка Хрисула, по-видимому, находя в облике собаки слишком явно выраженное мужское начало, останавливала ее.

— Деспина,— говорила она и что-то поясняла. Судя по тому, что она при этом показывала на кошку, мирно дремавшую на балюстраде веранды, можно было догадаться, что «аристократико корице», даже если она обручена с пастухом Харлампо, не должна забавляться с пастушеской овчаркой, но, однако, смело может погладить кошку или даже взять ее на руки.

Молодые чегемцы, которые заходили в Большой Дом, с удовольствием поглядывали на Деспину, а мой двоюродный брат Чунка, остроязыкий балагур, высокий, тонкий и гибкий, как ореховый прут, даже слегка приударял за ней, насколько это было возможно под неусыпным оком тетушки Хрисулы.

Чунка был внуком брата дедушки Хабуга. Вместе с сестрой Лилишей он жил в нашем дворе в своем доме, хотя большую часть своей жизни проводил с нами в Большом Доме. Отец и мать у него давно умерли. По чегемским обычаям сироту балуют, и среди моих молодых дядей и многоюродных братьев он был самым избалованным.

Харлампо, замечая это внимание к Деспине, не только не ревновал ее, а как бы сумрачно поощрял ухаживания, впрочем, достаточно невинные. Очевидно, ему казалось, что так и должно быть, не может быть, чтобы молодые чегемцы, раз уж им повезло побывать в обществе аристократической девушки, не попытались за ней ухаживать.

Как-то Чунка принес большую деревянную миску, полную слив, и поставил ее у ног Деспины, сидевшей на веранде вместе с другими женщинами. Девушка благодарно улыбнулась Чунке, потянувшись, достала большую сливовую сливу и только хотела надкусить ее, как тетушка Хрисула выхватила у нее плод.

— Деспина! — воскликнула она и, быстро протирая сливу о подол своего платья, стала ей что-то объяснять.

По-видимому, речь шла о том, что девушка ее круга, прежде чем надкусить сливу, обязательно должна стереть с нее пыльцу, даже если ничего другого нет под рукой, кроме тетушкиного подола. Протирая каждую сливу о подол своего платья, она подавала их Деспине, при этом, конечно, и о себе не забывала.

Но больше всего тетушка Хрисула любила полакомиться инжиром. Два больших инжировых дерева росли на огороде. Одно дерево было инжиром белого сорта, другое — черного. Тетушка Хрисула особенно любила черный инжир.

Однажды Деспина и Чунка влезли на дерево с черным инжиром. Деспина, сняв сандалии, попыталась первая влезть, но тетушка Хрисула остановила ее и, пропуская вперед Чунку, быстро залопотала что-то. Вероятно, она ей объясняла, что аристократическая девушка, влезая на дерево с чужим мужчиной, всегда пропускает его вперед.

Чунка и Деспина влезли на дерево и, стоя на разных ветках, начали рвать инжир, то сами поедая, то нам подбрасывая. Чунка еще и в корзину успевал собирать.

Мне инжиры бросал только Чунка, а тетушке Хрисуле в основном бросала Деспина, но и Чунка нередко подбрасывал, потому что тетушка Хрисула прямо

с ума сходила по черному инжиру. Забыв о своем происхождении (а может, и не забыв), она поедала инжиры с необыкновенным проворством, не потрудившись снять с плода кожуру.

Инжиры то и дело шлепались ей на ладони, и было удивительно, учитывая ее преклонный возраст, как она ловко их ловила, ни разу не промахнувшись. Иногда переспелый инжир шмякался на ее ладони, но она этим нисколько не смущалась, а прямо-таки слизывала в рот сладостное месиво.

— Одно чудо в своей жизни я совершу,— сказал Чунка по-абхазски, дотягиваясь до ветки и, шурша листьями, осторожно сгибая ее,— когда тетушка Хрисула умрет, я спущусь в Анастасовку с ведром черного инжира. Я подойду к гробу и поднесу ей ко рту инжир. И тут, к ужасу окружающих греков, она разомкнет свою пасть и съест этот инжир. Потом она привстанет и, не сходя с гроба, опорожнит все ведро, если, конечно, греки, опомнившись, не пристрелят меня самого за то, что я оживил эту прорву.

Пока Чунка это говорил и, сгибая ветку, тянулся к инжиру, тетушка Хрисула, разумеется, ничего не понимая, не сводила с него преданных глаз, очень заинтересованная судьбой именно этого инжира.

Иногда Чунка нарочно подряд бросал ей несколько инжиров, то ли для того, чтобы посмотреть, как она их будет подбирать с земли и есть, то ли для того, чтобы она замолкла, хотя бы на время поедания этих инжиров.

Сам остроязыкий балагур, он, может быть, подревновывал не замолкавшую тетушку Хрисулу, да к тому же она мешала ему настроить Деспину на свой лад.

Но когда он ей бросал почти сразу несколько инжиров, тетушка Хрисула, мгновенно перестраиваясь, подставляла под летящие инжиры свой многострадальный аристократический подол, куда они и шлепались.

— Одного не пойму,— говорил Чунка в таких случаях по-абхазски,— какого черта я взял с собой корзину, раз эта старуха увязалась за нами?..

Когда инжир падал в мои ладони, тетушка Хрисула тоскливым взглядом окидывала мой инжир, и, если он ей казался особенно крупным и спелым, а он ей таким казался почти всегда, она явно жаловалась Деспине, что ее обделяют.

Поедая инжиры, тетушка Хрисула беспрерывно тараторила.

— Деспина! — кричала она и, воздев руку, показывала девушке на спелый инжир, который Деспина никак не могла заметить, хотя он был совсем близко от нее. Наконец, отворачивая лопухие кожные листья, Деспина добиралась до желанного инжира, срывала, стараясь не раздавить, и кидала тетушке Хрисуле.

— Деспина! Деспина! — вскрикивала она, когда девушка ступала на слишком тонкую ветку.

— Дес-пи-на! — строго окликнула она ее, когда ветка, на которой стояла девушка, оказалась выше, чем ветка, на которой стоял Чунка. При этом она что-то залопотала, для наглядности оглаживая собственное платье и явно напоминая ей, что «аристократико корице», оказавшись на одном дереве с чужим мужчиной, не должна подниматься на такую высоту, куда чужой мужчина может снизу взглянуть.

Деспина что-то ответила ей, показывая рукой на ветку, на которой стоял Чунка, и обращая внимание тетушки на то, что с этой ветки кривая взгляда чужого мужчины никак не может нанести ущерба ее скромности.

— Деспина! — сокрушенно крикнула ей в ответ тетушка Хрисула, пораженная ее наивностью, и, как бы предлагая ей учиться смотреть немножко вперед, жестами показала, с какой легкостью при желании

Чунка может перескочить со своей ветки на ее ветку.

— Господи! — взмолился Чунка. — Да замолкнет она когда-нибудь или нет?! Слушай, выдерни из земли хорошую фасолевую подпорку, потихоньку подойди сзади и хрястни ее как следует по башке! Сдохнуть она, конечно, не сдохнет, но, может, замолкнет на полчаса, а я, глядишь, кое-чего и в корзину накидаю. Только такой болван, как я, мог ползть на инжир с корзиной, когда эта объедала стоит под деревом и ни на минуту не замолкает.

Между прочим, отвечая тетушке Хрисуле, бросая ей инжиры и поедая их сама, Деспина, полыхая своими синими глазками, успевала и с Чункой позубоскалить. Переговаривались они по-русски, и тетушка Хрисула несколько раз делала замечание Деспине за то, что она говорит на непонятном ей русском языке, а не на общепонятном турецком. Тетушка Хрисула не могла взять в толк, что разноязыкой нашей деревенской молодежи к этому времени проще всего было говорить по-русски.

— Иди домой — водка, водка! — крикнул ей Чунка по-русски.

Но не тут-то было! Тетушка Хрисула в ответ ему возмущенно залопотала по-гречески, забыв, что Чунка по-гречески не понимает. Из ее лопотания, в котором несколько раз прозвучало: «Водка! Водка!» — можно было понять, что если она, как и многие аристократические старушки, и любит выпить две-три рюмки, то это не значит, что она бросит на произвол судьбы здесь, на дереве, свою любимую племянницу.

— Цирк! — крикнул Чунка. — Она меня уже в греки записала!

Чунка с корзиной перелез на другую ветку, и я внизу переместился так, чтобы ему удобнее было бросать мне инжиры. Тетушка Хрисула растерянно посмотрела на меня, чувствуя, что теперь Чунке трудновато будет добрасывать до нее инжиры, и в то же время, не желая показывать свою зависимость от него, сделала пару шагов в мою сторону, что надо было понимать как случайное, нецеленаправленное перемещение.

Сейчас прямо за мной грозно взмывал сочный куст крапивы. Бросая мне инжир, Чунка приметил его и крикнул мне по-абхазски:

— Ты что, решил ее крапивою отстегать?! От крапивы она только развопится на весь Чегем. Я же тебе сказал: хрястни ее по башке хорошей фасолевой подпоркой! Ты же присился на медвежью охоту. Это и будет тебе проверкой! Хотя, может, ты и прав. Может, как раз наоборот. Может, сначала надо проверить тебя на медведице, а потом пускать на эту неимоверную старуху.

Вдруг Чунка дотянулся до огромного, спелого инжира с красной разинутой пастью, осторожно сорвал его, окликнул Деспину и, поцеловав инжир, перебрал его ей. Деспина ловко поймала его, ослепительно улыбнулась Чунке и, для устойчивости слегка откинувшись спиной на ствол дерева, стала двумя пальчиками очищать инжир от кожуры.

Тетушка Хрисула, видевшая все это, от возмущения онемела. В тишине некоторое время было слышно, как шкурки — шлеп! шлеп! шлеп! — падают на широкие инжировые листья. Когда тетушка Хрисула пришла в себя, Деспина уже отправляла в рот сладостную мякоть плода.

— Деспина! — истошно закричала тетушка Хрисула и быстро-быстро залопотала, по-видимому, объясняя ей, что аристократическая девушка, оказавшись с чужим мужчиной на одном дереве, не может принимать от него плодов этого дерева, тем более плод, оскверненный его поцелуем. Она поднесла пальцы к губам, показывая, до чего отвратителен был этот поцелуй.

Деспина ей что-то отвечала, и, судя по движению ее рук, она давала знать, что съела инжир, очистив его от шкурки и тем самым нейтрализовав действие оскверняющего поцелуя.

— Деспина! — в отчаянии крикнула тетушка Хрисула и, выбросив обе руки в стороны, что-то пролопотала, по-видимому, означающее: зачем вообще надо было есть этот инжир?!

— У меня один способ заставить замолкнуть эту старуху! — крикнул Чунка и, дотянувшись до инжира, сорвал его и вбросил в корзину. — Это прыгнуть с дерева ей на голову вместе с корзиной. И то сказать — сам я сломаю шею, а она только отряхнется и станет собирать инжиры, выпавшие из моей корзины.

Дожевывая инжир, Деспина что-то ответила тетушке Хрисуле, и, судя по движению ее рук и взгляду на ветку, где стоял Чунка, она сказала, что инжир был брошен без ее одобрения и ей ничего не оставалось, как поймать его и съесть.

— Деспина! — крикнула тетушка Хрисула, как бы отказываясь осознать самую возможность быть столь неосведомленной в простейших правилах хорошего тона. После этого она снова залопотала, бесперывным движением рук поясняя свои слова, так что легко было понять, что она имела в виду. Она имела в виду, что, даже поймав оскверненный инжир, Деспина могла с честью выйти из этого положения, просто перебросив этот инжир ей, тетушке Хрисуле.

Вся в солнечных пятнах, с лицом, озаренным солнцем, Деспина посмотрела на тетушку Хрисулу с высоты своей ветки ясными синими глазками, как бы сама удивляясь простоте такого выхода и сожалея, что ей это вовремя не пришло в голову. При этом она рассеянно дожевывала оскверненный инжир, что, по моему, особенно раздражало тетушку Хрисулу. Махнув рукой, тетушка Хрисула снова залопотала, и я как бы отчетливо услышал начало фразы:

— Оставь, пожалуйста.

— Ты ее трахнул фасолевой подпоркой, а ей хоть бы хны?! — сказал Чунка, не глядя вниз. Он пробиравшись к концу ветки, упругими движениями ног то и дело пробуя ее крепость и придерживаясь одной рукой за верхнюю ветку. Почувствовав, что дальше ветка, пожалуй, не выдержит, он остановился, нашел глазами сучок, подвесил корзину и, озираясь в поисках спелых инжиров, продолжил свою мысль: — Я так и знал. Эту старуху может заставить замолкнуть только моя двустолка. Но надо сразу нажимать на оба курка, опять же сунув ей в рот оба ствола. Иначе глупость получится. Если от ружья до нее будет хотя бы один метр, пули в ужасе перед этой старухой разлетятся в разные стороны.

Вдруг Деспина перелезла со своей ветки на более высокую и скрылась в густой листве инжира. Тетушка Хрисула, воздев голову, несколько секунд молча ожидала, когда она высунется из листвы и кинет ей инжир. Но Деспина почему-то из листвы не высовывалась, а Чунка перелез на эту же ветку и, прежде чем скрыться в густой листве, нахально повесил корзину на сучок, как бы не скрывая, что теперь инжирные дела закончились и начались совсем другие дела. Все произошло в несколько секунд, если они и говорились, то мы внизу этого не заметили.

— Деспина! — в ужасе крикнула тетушка Хрисула. Никакого ответа.

— Деспина!

И опять безмолвие.

Тетушка Хрисула посмотрела по сторонам, явно стараясь узнать, нет ли случайных свидетелей этого позора. Взгляд ее упал на меня, она быстро взглянула мне в глаза, стараясь опередить меня, если я попытаюсь придать своему лицу притворное выражение. Решив, что опередила, она постаралась узнать, пони-

маю ли я смысл происходящего. Установив, что, к сожалению, понимаю, она захотела определить, смогу ли я, если случится самое худшее, по крайней мере держать язык за зубами. Не сумев этого определить и не желая тратить на меня драгоценные секунды и досадуя об уже потраченных, она с воплем подбежала к дереву и попыталась, двигаясь взглядом вдоль ствола, обнаружить исчезнувшую пару. Но обнаружить не удалось. Тогда она вдруг опустила глаза, и взгляд ее упал на сандалии Деспины, и она несколько секунд растерянно глядела на них, как если бы Деспина унеслась на небо, и было решительно непонятно, что теперь делать с ее сандалиями.

Потом, как бы встряхнувшись от гипноза, приковавшего ее взгляд к сандалиям, она, крича и причитая, стала бегать вокруг дерева, стараясь найти такой разрыв в листве кроны, откуда можно было бы их увидеть. По интонациям ее голоса надо было понимать, что напрасно они думают, что спрятались от нее, что она их давно обнаружила, но, так как она при этом все время перебежала с места на место, было ясно, что она их все-таки не видит.

Минуты через две или три из густой листвы раздался смех Деспины и хохот Чунки.

— Деспина! — крикнула тетушка Хрисула с над-рынным упреком и все-таки радуясь, что она по крайней мере жива.

Наконец Деспина раздвинула листья и высунула свое смеющееся, озаренное солнцем лицо, а тетушка Хрисула, держась одной рукой за сердце, долго укоряла ее.

Тут высунулось из листвы смеющееся лицо Чунки. Он дотянулся до инжира, сорвал его и, кинув мне, крикнул:

— Да скажи ты ей, ради аллаха, раз уж ты не оглоушил ее фасоловой подпоркой: я не ястреб, что-бы на дереве склевать девицу, как цыпленка!

Когда брошенный Чункой инжир шлепнулся на мои ладони, тетушка Хрисула, не переставая укорять Деспину и Чунку, все-таки не удержалась, чтобы не поглядеть, насколько хорош мой инжир.

Деспина сорвала инжир и, отводя руку, показала, что собирается его кинуть тетушке. Тетушка Хрисула с новой силой залопотала, замахала обеими руками в том смысле, что после такого вероломного поступка она не станет принимать у нее инжир. Но Деспина кинула инжир, и тетушка Хрисула как бы против воли его поймала и как бы против воли отправила в рот, продолжая укорять свою племянницу.

Чунка снова высунулся из листвы, дотянулся до хорошего инжира, сорвал его и с улыбкой, отводя руку, показал, что собирается его кинуть тетушке Хрисуле. Тетушка Хрисула замотала головой, задвигала руками, как бы заново залопотала, хотя и до этого не переставала лопотать, всем своим видом уверяя, что вот уж от кого она теперь никогда не примет ни одного инжира, так это от него.

— Дай бог мне столько лет жизни, сколько ты от меня инжиров возьмешь, — сказал Чунка и кинул ей инжир.

Тетушка Хрисула как бы нехотя (раз уж летит) поймала инжир и как бы нехотя (раз уж в руках) отправила в рот.

— Клянусь моленным орехом! — крикнул Чунка по-абхазски. — Эту старуху на нашей земле никто не переговорит, не переест и даже не перепьет! Дядя Сандро, может, и смог бы ее перепить, да ведь она его сначала заговорит до смерти, а там уж и перепьет!

Постепенно тетушка Хрисула успокоилась, вернее, перешла на ту частоту лопотания, на которой она находилась до того, как Деспина и Чунка скрылись в инжировой кроне.

Последнее замечание (не вообще, а на дереве) те-

тушка Хрисула сделала Деспине и Чунке, когда они слезли. Чунка опередил было Деспину, но тетушка Хрисула его остановила и велела пропустить ее вперед. Последовавшее пояснение можно было понять так, что если «аристократки корице», влезая на дерево с чужим мужчиной, пропускает его вперед, то, слезая с дерева, чужой мужчина, наоборот, должен пропустить ее — так принято.

Мягко, хотя и достаточно увесисто, Деспина прыгнула с дерева и, взяв в руки сандалии, нашла глазами зеленый островок травы, подошла к нему и, тщательно протерев подошвы босых ног, надела сандалии. Тетушка Хрисула, глядя на нее, слегка кивнула, одобряя, что Деспина хотя бы в этом сама разобралась и поступила так, как поступают в подобных случаях девушки ее круга.

Спрыгнув с дерева, Чунка в знак полного примирения протянул тетушке Хрисуле корзину с инжирами с тем, чтобы она выбрала оттуда самые спелые. Несколькими мучительными мгновениями тетушка Хрисула боролась с собой, то заглядывая в корзину, то с укором на Чунку, потом с еще большим укором на Деспину, стараясь подчеркнуть, что, в сущности, основная тяжесть вины лежит на ней, так как она первая скрылась в инжировой кроне.

Тетушка Хрисула даже на меня посмотрела проницательным взглядом, стараясь почувствовать, не выветрился ли у меня из головы этот порочный эпизод. И я, чтобы угодить ей, кивнул головой в том смысле, что выветрился. Тогда тетушка Хрисула выразила своим взглядом недоумение, как бы спрашивая: как я мог понять значение ее взгляда, если этот порочный эпизод действительно выветрился у меня из головы?

После этого она протянула руку в корзину и, давая знать, что не слишком долго выбирает, вытащила оттуда три инжира. Показав смеющемуся Чунке, что она вытащила только три инжира, и как бы дав ему осознать проявленную скромность, она в виде маленькой награды за эту скромность вытащила еще один инжир.

Тетушка Хрисула обожала черный инжир.

Дядя Сандро, вечно присматривавший, кто бы из окружающих мог на него поработать, в один из приездов Деспины и тетушки Хрисулы, пренебрегая их происхождением, взял обеих на прополку своей приусадебной кукурузы. Тетя Нуца пыталась отговорить его, напоминая, что они гости и неудобно использовать их на такой тяжелой работе. Но дядя Сандро и глазом не моргнул.

— Греки в отличие от наших, — сказал он жестко, как бы во имя истины жертвуя национальным чувством, — не любят сидеть сложа руки.

Впрочем, Деспина и тетушка Хрисула охотно согласились помогать ему, тем более что Сандро обещал им за это два пуда кукурузы, правда, из нового урожая. Как видно, аристократы тоже иногда не пренебрегают случайным заработком.

Дня три или четыре они работали на его усадьбе. Дядя Сандро тоже недалеко от них помахивал мотыгой.

Иногда чегемцы останавливались возле усадьбы дяди Сандро, удивляясь, что Деспина мотыжит кукурузу, почти полностью закрыв лицо своим синим платком.

— Персючка, что ли? — гадали они, пожимая плечами.

Харлампю, прогоняя стадо мимо усадьбы дяди Сандро, тоже останавливался и выслушивал удивленные замечания чегемцев относительно закрытого лица Деспины. С сумрачным удовольствием глядя на свою невесту, он давал пояснения чегемцам по поводу этой странности.

— Деспина не персочка, — говорил он, воздев палец, и, усмехаясь наивности чегемцев, добавлял: — Деспина — аристократиса.

Он хотел сказать чегемцам, что аристократическая девушка не станет мотыжить кукурузу с открытым лицом, как обычная крестьянка, но вот так полностью прикроет его, оставив щелку для глаз, чтобы лицо ее всегда оставалось чистым и белым.

Постояв некоторое время, Харлампо отгонял коз в заросли лещины, чтобы они, не дожидаясь его, начинали пастись, и, перемахнув через плетень, подходил к тетушке Хрисуле и брал у нее мотыгу.

Может, Харлампо и начинал мотыжить, чтобы показать тетушке Хрисуле, какой работающий муж будет у ее племянницы, но постепенно он входил в азарт, в самозабвение труда, а Деспина, низко склонившись к мотыге, старалась не отставать от него.

Комья земли так и выпрыгивали из-под мотыги Харлампо, так и заваливали кукурузные корни, срезаемые сорняки так и никли под вывороченными глыбами, столбики пыли так и вспыхивали под его ногами, а он все взмывал мотыгой, ни на мгновение не останавливаясь для передышки, и только изредка на ходу менял руки, резким движением головы стряхнув с лица пот, и продолжал мотыжить, иногда разворачиваясь в сторону Деспины и помогая ей дотянуть свою полосу, а потом снова шаг за шагом продвигаясь вперед. А Деспина тоже старалась не отставать от него, мелко-мелко, быстро-быстро действуя своей мотыгой.

А дядя Сандро в это время, продолжая помахивать своей мотыгой, с грустной укоризной поглядывал на изумленных чегемцев, как бы напоминая им, что он их всю жизнь именно так учил работать, а они, увы, мало чему научились.

Напряжение трудового экстаза все усиливалось и усиливалось и даже отчасти, с точки зрения тетушки Хрисулы, становилось излишним, хотя и она опасно любовалась ими.

— Деспина, — произносила она время от времени, как бы предлагая им слегка утихомириться.

Глядя на эту самозабвенную пару, один из чегемских фрейдистов вдруг произнес:

— Размахались мотыгами! Небось им кажется: они вроде не на поле Сандро, а друг с дружкой усердствуют!

— В точку попал! — хором согласились с ним несколько чегемцев, стоявших рядом, и было видно, что у них сразу же отлегло от сердца, они поняли, что им незачем убиваться на работе, незачем завидовать этой видоизмененной любовной игре.

Кстати, вспоминая высказывания чегемцев в таком роде и сравнивая их с цитатами из книг австрийского фокусника, которые мне попадались, я поражаюсь обилию совпадений. Так как заподозрить чегемцев в том, что они читали Зигмунда Фрейда, невозможно, я прихожу к неизбежному выводу, что он когда-то под видом знатного иностранца проник в Чегем, записал там всякие байки и издал под своим именем, нагло не упоминая первоисточник.

Я так думаю, что в течение множества лет, пользуясь безграмотностью моих земляков, мир разбазаривал чегемские идеи, подобно тому как древние римляне беспощадно вырубали абхазский самшит. Теперь-то я подросел и кое-что добирал, но многое безвозвратно потеряно.

Возьмем, например, теорию прибавочной стоимости. В сущности говоря, это чегемская идея. Нет, я не отрицаю, что Маркс ее открыл сам. Навряд ли он мог побывать в Чегеме, даже если бы Энгельс, как всегда, бедняга, взял на себя расходы на путешествие. Но ведь эту же теорию сам, без всякой подсказки, открыл безграмотный чегемский крестьянин по име-

ни Камуг, которого многие чегемцы принимали за сумасшедшего, хотя и неопасного для жизни людей.

(Нам, как говорится, не то обидно, что этот безумный мир многих гениальных людей принимает за сумасшедших. Некоторые из гениальных людей с этим примирились, лишь бы их не трогали. Но нам то обидно, что этот безумный мир, осуществляя свои безумные представления о справедливости и равновесии, часто сумасшедших людей объявляет гениальными, при этом он подсчитывает, сколько гениальных людей объявлено сумасшедшими, и именно столько же сумасшедших людей объявляет гениальными. И многие гениальные люди, зная, что по их количеству сумасшедшие люди будут объявляться гениальными, приходят в ужас. Им жалко человечество, и они, скрывая свою гениальность, нередко погибают от запоя. Но это очень большая тема, и не будем ее здесь касаться.)

Наш милый Чегемчик тоже не вполне избежал безумий этого мира. Да, конечно, чегемцы гениально Камуга считали сумасшедшим, но зато к чести чегемцев надо отнести то, что они за всю свою историю ни одного сумасшедшего не объявили гениальным. В этом мои чегемцы молодцы.

Камуг имел такую привычку. Каждый раз перед тем, как идти на мельницу и приступить к лущению кукурузных початков, он ломал надвое каждый початок и половину сломанных початков, принеся на кукурузное поле, зарывал в землю. Когда у него спрашивали, почему он так делает, он не ленился в течение всей своей жизни объяснять людям смысл своего великого открытия.

— Из одного зерна, — говорил Камуг, — в среднем можно получить один хороший кукурузный початок. В одном початке в среднем четыреста кукурузных зерен. Достаточно взять с початка двести зерен, чтобы покрыть расходы на еду землепашца и его семьи, на семенной запас, на содержание плуга, мотыг, серпов. Значит, кому принадлежат остальные двести зерен? Земле. Она работала на твой урожай, она работала половину его, и надо ей вернуть то, что принадлежит ей.

И он неизменно возвращал земле половину сорванных початков. Жена его от этого очень страдала и даже, вопреки его воле, одно время стала откапывать эти сломанные початки, кое-как очищать их и потихоньку скормливать курам. Камуг, узнав об этом, пришел в неслыханную ярость, тем более что жена не сознавалась, как долго она этим занимается, и он не мог определить, сколько он задолжал земле.

Одним словом, он избил жену, что по абхазским обычаям считается очень позорным, и выгнал ее из дому, что тоже не украшает абхазца, но считается более терпимым. Можно сказать, что в поведении Камуга с женой стихийно, в зачаточной форме проявилась идея диктатуры пролетариата, стоящего на страже интересов трудящейся земли.

В следующий раз бедняге Камугу жениться было очень трудно. Как честный человек, сватаясь, он объяснял родственникам своей будущей жены, почему и как он будет распределять урожай кукурузы со своего поля, одновременно, правда, без всякой пользы, пытаясь заразить их своим примером.

— Из одного зерна, — принимал Камуг объяснять им свою теорию, — родственники женщины, к которой он сватался, иногда начинали мрачнеть, иногда трусливо поддакивать, а иногда немедленно прекращали переговоры в зависимости от собственного темперамента и понимания степени опасности безумия Камуга.

Порой Камуг сватался к вдовушкам или девицам, которых родственники уж очень хотели сбыть с рук, и, пытаясь как-нибудь смягчить, облагородить его

версию распределения урожая кукурузы, они намекали ему, что понимают его теорию как неизвестный, но, в сущности, добрый чегемский обычай приносить жертву богу плодородия.

Но Камуг со всей прямоотой (кстати, на определенном этапе свойственной носителям этой идеи) отвергал такую версию и говорил, что он преследует только одну цель — справедливо возратить земле то, что она заработала. Наконец, ему удалось посвятаться к многодетной вдовушке, отец которой, видимо, в знак безразличного неодобрения его теории, велел передать своему будущему зятю:

— Половину урожая с нее уже собрали, пусть попробует собрать вторую половину.

Новая жена Камуга, освоившись в его доме, решила внести поправку в теорию Камуга. Соображения ее, кажется, не лишние какой-то хитрости, остались чегемцам непонятны.



— Раз уж ты решил изводить половину урожая,— сказала она мужу,— зачем его закапывать в землю?... Разбрасывай его просто так по полю...

Камуг, говорят, посмотрел на нее и выразительно постучал себя по лбу.

— Да ты, я вижу, еще глупее, чем та жена,— сказал он,— та хоть курам скормливала кукурузу, заработанную землей, а ты хочешь этим сойкам-пустомелям ее скормить. Не выйдет!

Больше новая жена не вмешивалась в его теорию, но в нее стали вмешиваться дикие кабаны, случайно дорываясь до заработанной землей кукурузы. Жил Камуг немного на отшибе, поблизости от леса. Кстати, там-то, на отшибе, всегда и возникают великие идеи.

По ночам дикие кабаны все чаще и чаще стали посещать его усадьбу. Камуг теперь каждый раз все глубже и глубже закапывал в землю заработанную землей кукурузу. Но дикие кабаны своими погаными длинными рылами все равно докапывались до нее.

Камуг стал зарывать кукурузу в самых разных местах своей усадьбы, но они все равно ее находили. Тогда Камуг стал по всему приусадебному участку

малыми порциями закапывать кукурузу, чтобы не все доставалось кабанам, чтобы и земле кое-что перепало. Но дикие кабаны, эти сухопутные акулы чегемских лесов, в поисках кукурузы к весне перерыли своими рылами весь приусадебный участок Камуга. (Кстати, слово «рыть» не от слова ли «рыло»? То есть то, что роет. Сколь плодороден Чегем! Стоит прикоснуться к его делам, как попутно делаешь небольшие открытия даже в русской филологии.)

Глядя на перерытый дикими кабанам приусадебный участок, Камуга, чегемцы по-своему оценили случившееся.

— Да теперь ему и пахать не надо,— говорили они,— не такой уж он сумасшедший, этот Камуг.

Камугу слышать такое было очень обидно, и он, решив доказать свое полное бескорыстие, взялся за ружье. Он стал по ночам дежурить на своем приусадебном участке и до следующей весны убил пятнадцать кабанов.

Как истинный абхазец, хоть и открыватель всемирной идеи, Камуг свинины не ел. Оттащив за хвост убитого кабана к изгороди, он давал знать местным абхазским эндурцам, и те приходили к нему и по смехотворно низкой цене покупали его добычу.

— Я беру деньги только за порох, пули и бдение,— говорил Камуг.

— Вот что чуднее всего,— рассуждали чегемцы по этому поводу,— какая бы чума на нашу голову ни свалилась, а эндурцам, глядишь, все на пользу.

Измученный ночными бдениями, Камуг приспособил для передышки иногда дежурить свою жену. Но тут восстали чегемские старейшины. Смириться с таким нарушением абхазских обычаев они не могли.

— Женщина, по нашим законам, оскверняет оружие,— говорили они,— а оружие бесчестит женщину. Неужто он этого не знает?

Тем более год тому назад остроглазый охотник Тендел, побывавший в городе, принес оттуда неслышанную весть.

— Светопреставление! — закричал он, вступая в Чегем, и рассказал об увиденном.

Оказывается, он шел вечером по городу и заметил возле одного магазина старуху с ружьем в руках да еще с глазными стеклами на носу, сторожившую магазин. Старуха с ружьем в руках, охраняющая магазин, да еще в очках — это потрясло воображение чегемцев.

Многие чегемцы нарочно ездили в город посмотреть на эту удивительную старуху. Они подолгу стояли поблизости от нее, жалея ее и удивляясь такому варварскому обращению со старой женщиной.

— Чтоб я оплакал тех мужчин, что выставили тебя на позорище,— говорили одни по этому поводу.

— Бедная,— говорили другие,— вместо того чтобы возиться с внучатами, она с ружьем в руках и с глазными стеклами на носу сторожит казенный магазин.

— Что случилось с русскими,— разводил руками кто-нибудь из чегемцев,— какая порча на них нашла, что они своих матерей выставляют сторожить магазины?

— Да они всегда такими были,— находился какой-нибудь скептик.

— Нет,— качал головой кто-нибудь постарше,— мы их помним совсем другими. Кто-то под них подкапывается...

— Уж не эндурцы ли?

Бедная старуха, бдительно следившая за этими непонятными ночными делегациями чегемцев, однажды не выдержала и засвистела в свисток, призывая милиционера.

— Да у нее еще свистулька на шее! — поразились чегемцы, несколько не обеспокоенные ее призывным

свистом, а еще более потрясенные количеством предметов, находящихся при старухе, несовместимых с обликом почтенной старой женщины: ружье, глазные стекла, свистулька.

— Теперь свисти не свисти, — сказал один из чегемцев, — просвистели твою старость твои родственники с мужской стороны, чтоб я их оплакал.

Милиционер, явившийся на призывный свист, к своему несчастью, оказался абхазцем, и ему, вместо того чтобы водворять порядок, пришлось обороняться и от чегемцев, и от сторожихи.

— За что ее так?! — подступились к нему чегемцы. — Она что — сирота?!

Пытаясь объяснить причину, по которой старуху выставили сторожить магазин, милиционер сказал, что дело не в ее сиротстве, а в том, что новый закон теперь признал в городах равенство мужчин и женщин. Такое смехотворное равенство чегемцы никак не могли признать и удивлялись милиционеру, почему он, будучи облеченным властью и при оружии, признает такое глупое равенство.

С другой стороны, сторожиха пыталась узнать о причине любопытства чегемцев и требовала от милиционера решительных мер.

— Они грабить не будут, — успокаивал ее он, — они просто никогда не видели сторожих, немножко дикие горцы.

Когда один из чегемцев, чуть-чуть понимавший порусски, перевел остальным слова милиционера, чегемцы не только не обиделись, но увидели всю эту картину в новом, истинном свете ее безумного комизма.

Неудержимо хохоча и вспоминая отдельные детали этой встречи — особенно им казалось смешным, как она свистела в свисток, раздувая щеки и не сводя с чегемцев глазных стекол, — они отправились ночевать к своему родственнику.

— Мы, жалея бедную старуху, удивлялись их дикости, — смеялись чегемцы, — а они, оказывается, в это время нас считают дикарями! Ха! Ха! Ха!

— Выставить на ночь старуху с ружьем в руках, с глазными стеклами на носу и со свистулькой на шее — уж дичее этого и эндурец не придумает! Ха! Ха! Ха! Ха!

— И наш милиционер туда же! — вспоминали они попытки милиционера объяснить это позорище каким-то там равенством мужчины и женщины, признанным властью в городах.

И вот не прошло и года после такого светопредставления, как в самом Чегеме появился человек, заставляющий свою жену с ружьем в руках подстергать диких кабанов. Этого терпеть было нельзя.

— Ты бы еще купил глазные стекла и выставил бы ее с ружьем, как ту русскую сторожиху, — язвительно заметил один из старцев, когда Камуг вошел в комнату, где сидели старейшины.

— Да повесил бы ей свистульку на грудь, как дитя, — сказал другой.

— Неужто ты не знаешь, — добавил третий, — что по нашим обычаям женщина оскверняет оружие, а оружие бесчестит женщину? Отправить жену в ночь с ружьем — все равно что отправить ее в ночь с чужим мужчиной. Какой ты после этого муж, если отправляешь в ночь собственную жену с чужим мужчиной?!

Но тут самый старый из старейшин властным, но не оскорбительным движением руки остановил старцев и сказал Камугу, склонившему повинную голову, спокойные, мудрые слова.

— По нашим обычаям, сынок, — сказал он, — женщина может взять в руки оружие только в одном случае — если в ее роду не осталось мужчин, которые могли бы отомстить за пролитую кровь. Тогда женщина — герой, и наш народ ее славит в песнях и сказани-

ях. Но чтобы абхазская женщина взяла в руки ружье и стреляла, да еще в такое гяурское животное, как дикая свинья, такого позора мы, сынок, не потерпим. Или покинь село, или оставь жену в покое.

И Камугу пришлось смириться. Истощенный ночными бдениями, бедняга Камуг умер до своего срока. В сущности, его можно причислить к лику великих мучеников идеи.

Никак не оспаривая первенства Маркса в открытии закона о прибавочной стоимости, я думаю, было бы справедливо, если бы и имя нашего гениального самоучки хотя бы и с опозданием вошло в историю. В конце концов он это заслужил своим открытием, своими страданиями и самозабвенной защитой трудящейся земли от паразитов-кабанов.

— Что случилось с русскими? — с каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чегемцы, сколько я их помню.



Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чегемцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием «Амавзолей».

Предание покойника земле для чегемцев настолько важный и неукоснительный акт, что нравственное чувство чегемцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того чтобы лежать в земле и слиться с землей.

Вообще чегемцы к Ленину относились с загадочной нежностью. Отчасти, может быть, это чувство вызвано тем, что они о жизни великого человека толком узнали лишь тогда, когда услышали о его смерти и о несправедливом непредании его праха земле. До этого о существовании Ленина, кроме дяди Сандро и еще, может быть, двух-трех чегемцев, мало знали.

Я думаю, так возник чегемский миф о Ленине. Чегемцы про него говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства темных

сил природы, они не называли его, а говорили: Тот, кто Хотел Хорошего, но не Успел.

По представлению стариков чегемцев, над которым в мое время молодежь втихомолку посмеивалась, Ленин был величайшим абреком всех времен и народов. Он стал абреком после того, как его старшего брата, тоже великого абрека, поймали и повесили по приказу царя.

Его старший брат не собирался становиться абреком. Он собирался стать учителем, как и его отец. Но судьбе было угодно другое. Оказывается, в Петербурге в те времена, как и в Абхазии, тоже бывали всенародные скачки. И вот старший брат Ленина, увлеченный скачками, не заметил, что слишком высывается из толпы и мешает царю Николаю проехать к своему почетному месту, чтобы любоваться скачками. (Чегемские мифотворцы, сами того не заметив, укрупнили фигуру царя Николая за счет Александра III.)

Брат Ленина не хотел оскорбить царя, но так получилось. Люди царя не подоспели вовремя, чтобы очистить дорогу перед царской лошастью, а царь на то и царь, чтобы, не останавливаясь, ехать к своему почетному месту. И когда царь Николай, одетый в белую черкеску и сидя на белой лошади, доехал до брата Ленина, а тот, увлеченный скачущими всадниками, его не заметил, царь при всем народе стегнул его камчой, сплетенной из лвиной шкуры, и поехал дальше.

С этого все началось. Оказывается, род Ленина был очень гордым родом, хотя люди этого рода всегда бывали учителями или метили в учителя. Брат Ленина не мог вынести оскорбления, нанесенного ему при народе даже царем Николаем.

Кстати, по абхазским обычаям самое страшное оскорбление, которое можно нанести человеку, — это ударить его палкой или камчой. Такое оскорбление смывается кровью, и только кровью оскорбителя. Ударил камчой или палкой — значит, приравнял тебя к скоту, а зачем жить, если тебя приравнивали к скоту?!

Кстати, удар камчой или палкой считается нештучным оскорблением, иногда приводящим даже к пролитию крови, и в том случае, если кто-то без разрешения хозяина ударил его лошадь. Особенно возмутительно, если кто-то по невежеству или из присущей ему наглости ударил лошадь, на которой сидит женщина. Конечно, если женщина промолчит, а никто из родственников этого не заметил, все может обойтись мирно. Но если ударивший лошадь вовремя не принес извинений, дело может кончиться очень плохо.

Бывает так. Кавалькада односельчан едет в другое село на свадьбу или поминки. Вдруг лошадь, на которой, скажем, сидит женщина, запрямылась переходить брод, то ли чувствуя, что всадница не очень-то уверена в себе, то ли еще что.

И тут может случиться, что едущий сзади сгоряча, не спросив, стегнул эту лошадь, чтобы она шла в воду. И как раз в это мгновение обернулся кто-то из ее родственников и видел всю эту картину во всей ее варварской непристойности. Нет, тут он, конечно, промолчит, чтобы не разрушать общественного мероприятия, в котором они принимают участие.

Но кристаллизация гнева в душе этого родственника уже началась почти с химической неизбежностью. Однако всадник, легкомысленно ударивший лошадь, на которой сидела женщина, еще может все исправить.

Стоит ему подъехать к омраченному родственнику и сказать:

— Не взыщи, друг, я тут стегнул вашу лошадь невзначай...

— О чем говорить! — отвечает ему тот с вполне искренним великодушием. — Скотина, она на то и скотина, чтобы стегать ее. Выбрось из головы! Не мучься по пустякам!

Но мы отвлеклись. А между тем царь Николай стегнул камчой брата Ленина, совершенно не подозревая, какие грандиозные исторические события повлечет за собой эта мгновенная вспышка царского гнева.

Брат Ленина ушел в абреки, взяв с собой двух-трех надежных товарищей, с тем чтобы кровью царя смыть нанесенное ему на людях оскорбление. Но жандармы его поймали и повесили вместе с его товарищами.

И тогда Ленин еще мальчиком дал клятву отомстить за кровь брата. Конечно, если бы царь Николай был таким же, как Большеусый, он тут же уничтожил бы весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. И тут он дал промаху.

Ленин ушел в абреки, двадцать лет скрывался в сибирских лесах, и жандармы всей России ничего с ним не могли поделать. Наконец, он подстерег царя, убил его и перевернул его власть. По другой версии, он его только ранил, а Большеусый позже его прикончил. Но так или иначе, царь уже не в силах был удерживать власть, и Ленин ее перевернул.

Однако многолетнее пребывание в холодных сибирских лесах подорвало его здоровье, чем и воспользовался Большеусый. Правда, перед смертью Ленин успел написать бумагу, где указывал своим товарищам, что и как делать без него.

Первое, что он там написал, — Большеусого отогнать от власти, потому что он — вурдалак.

Второе, что он там написал, — не собирать силком крестьян в колхозы.

Третье, что он там написал, — если уж совсем не смогут обойтись без колхозов, не трогать абхазцев, потому что абхазцу, глядя на колхоз, хочется лечь и потихоньку умереть. А так как абхазцы хотя и малочисленная, но исключительно ценная порода людей, их надо сохранить. Их надо сохранить, чтобы в дальнейшем при помощи абхазцев постепенно улучшать породу других народов, гораздо более многочисленных, но чересчур простоватых, не понимающих красоту обычаев и родственных связей.

Четвертое, что он там написал, — за всеми государственными делами не забывать про эндурцев и постоянно приглядывать за ними.

Пересказывая завещание Ленина, чегемцы неизменно обращали внимание слушателей на тот неоспоримый факт, что Ленин перед смертью больше всего был озабочен судьбой абхазцев. Как же чегемцам после этого было не любить и не чтить Ленина?

Кстати, весть о завещании Ленина, я думаю, принес в Чегем некогда известный командир гражданской войны дядя Федя, живший в Чегеме то у одних, то у других хозяев. Он иногда запивал с таинственной для Чегема длительностью. А так как в Чегеме все пили, но алкоголиков никогда не бывало, его запой чегемцами воспринимались как ботезнь, присущая русским дервишам.

— Ему голос был, — говорили чегемцы, — поэтому он бросил все и пришел к нам.

Чегемцам это льстило. Подробнее о дяде Феде мы расскажем в другом месте. Это был тихий, мирный человек, в сезон варения водки сутками дежуривший у самогонного аппарата и никогда в это ответственное время не запивавший.

Он в самом деле был легендарным командиром гражданской войны, а потом, после победы революции, стал крупным хозяйственным работником. В отличие от многих подобного рода выдвиженцев он

откровенно признавался своему начальству, что не разбирается в своей работе. Его несколько раз снижали в должности, и вдруг в один прекрасный день он прозрел. Он понял, что в мирной жизни он ничего, кроме крестьянского дела, которым занимался в Курской губернии до германской войны, делать не может.

Сопоставив эту истину с реками крови, пролитыми им в гражданскую войну, с родителями и женой, зарубленными белоказаками в родном селе, он не выдержал.

Грандиозный алкогольный цунами подхватил его, протащил по всей России, переволок через Кавказский хребет, и однажды цунами схлынул, а герой гражданской войны очнулся в Чегеме с чудом уцелевшим орденом Красного Знамени на груди.

Но о нем — в другом месте, а здесь мы продолжим чегемскую легенду о Ленине. Значит, Ленин написал завещание, или бумагу, как говорили чегемцы, но Большеусый выкрал ее и сжег. Однако Ленин, как мудрый человек, хотя и сломленный смертельной болезнью, успел прочесть ее своим родственникам.

После смерти Ленина Большеусый стал уничтожать его родственников, но те успели пересказать содержание ленинской бумаги другим людям. Большеусый стал уничтожать множество людей, чтобы прихватить среди них тех, кто успел узнать о бумаге. И он уничтожил тьму-тьмущую людей, но все-таки весть о том, что такая бумага была, не мог уничтожить.

И вот тело Ленина выставили в домике под названием «Амавролей», — хотя вдова его, по слухам, которые дошли до чегемцев, была против, — проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предадут земле. Такое жестокое упорство властей не могло не найти в головах чегемцев понятного объяснения. И они его нашли. Они решили, что Большеусый, гордясь, что он победил величайшего абрека, каждую ночь приходит туда, где он лежит, чтобы насладиться его мертвым видом.

И все-таки чегемцы не устали надеяться, что даже Большеусый наконец смилостивится и разрешит предать земле несчастные кости Ленина.

И если в Чегем кто-нибудь приезжал из города, куда они давно не ездили, или тем более из России (откуда приезжали те, что служили в армии), чегемцы неизменно спрашивали:

— Что слышно? Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел, собираются предавать земле или нет?

— Да вроде не слыхать, — отвечал пришелец.

И чегемцы, горестно присвистнув, недоуменно пожимали плечами. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, они часто склонны были объяснять этим великим грехом: непреданием земле костей покойника, тоскующих по земле.

И не то чтобы чегемцы день и ночь только об этом и думали, но души многих из них свербил этот позор неисполненного долга.

Бывало, с мотыгами через плечо идут на работу несколько чегемцев. Идут, мирно переговариваясь о том о сем. И вдруг один из них взрывается:

— Мерзавцы!!!

— Кто? — спрашивают у него опешившие спутники.

— Я о тех, кто Ленина в земле не похоронил... — отвечает тот, кто взорвался.

— Так у нас же не спрашивают...

Или, бывало, уютный вечер в какой-нибудь чегемской кухне. Вся семья в сборе в приятном ожидании ужина. Весело гудит огонь в очаге, и хозяйка, чуть отклонив от огня котел, висающий на очажной цепи, помещивает в нем мамалыжную лопаточкой. И вдруг она оставляет мамалыжную лопаточку, выпрямляется и, обращаясь к членам семьи, жалостливо спрашивает:

— Так неужто Того, кто Хотел Хорошего, но не

Успел, так и не предадут земле?

— Эх, — вздыхает самый старший в доме, — не трогай наш большой зуб, лучше готовь себе мамалыгу.

— Ну, так пусть сидят, где сидят! — с горечью восклицает женщина, берясь за мамалыжную лопаточку. И не ясно, что она имеет в виду, — то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа.

Однажды, стоя в кустах лещины, я увидел одинокого чегемца, в глубокой задумчивости проходившего по тропе. Поравнявшись со мной и, разумеется, не видя меня, он вдруг пожал плечами и вслух произнес:

— ...Придумали какой-то Амавролей...

И скрылся за поворотом тропы, как видение.

Или, случалось, стоит чегемец на огромном каштане и рубит толстенную ветку. И далеко вокруг в знойном воздухе раздается долгое, сиротское: Тюк! Тюк! Тюк!

Врубив топор в древесину, распрямится на минуту, чтобы, откинувшись на ствол, перевести дух, и вдруг замечает, что далеко внизу по верхнечегемской дороге проходит земляк. По его одежде он догадывается, что тот идет из города.

— Эй, — кричит он ему изо всех сил, — идущий из города! Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел, предали земле или нет?!

И прохожий озирается, стараясь уловить, откуда идет голос, чувствуя, что откуда-то сверху (не с небес ли?), и, может быть, так и не поймав взглядом стоящего на дереве земляка, он машет отрицательно рукой и кричит, вскинув голову:

— Не-ет! Не-ет!

— Ну так пусть сидят, где сидят! — сплюнув в сердцах, говорит чегемец, и неизвестно, что он имеет в виду, — то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. И снова, выдернув топор, — неизбывное, долгое, сиротское: Тюк! Тюк! Тюк! Тюк!

Смерть Сталина и водворение его в Мавзолей были восприняты чегемцами как начало возмездия. И они сразу же стали говорить, что теперь имя его и слава его долго не продерятся.

Поэтому, узнав о знаменитом докладе Хрущева на двадцатом съезде, они несколько не удивились. В целом одоблив содержание доклада, они говорили:

— Хрущит молодец! Но надо было покрепче сказать о вурдалачестве Большеусого.

И опять чегемцы удивлялись русским.

— Что с русскими, — говорили они, — мы здесь, в Чегеме, и про бумагу, написанную Лениным, знали и про все вурдалачества Большеусого. Как же они об этом не знали?

И несмотря на все превратности жизни, и несмотря на все попытки объяснить им, что такое бывало, что иногда великих людей из любви к ним не предавали земле, чегемцы упорно продолжали ждать, когда же наконец предадут земле Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел.

Но хватит отвлекаться. Будем рассказывать о Харлампо и Деспине, раз уж мы взялись о них говорить. А то эти отвлечения, чувствую, рано или поздно изведут меня до смерти, как извели беднягу Камуга его ночные бдения.

Когда Деспина и тетушка Хрисула уезжали в Анастасовку, мы, дети, и тетя Нуца во главе с Харлампо провожали их до спуска к реке Кодор.

Перед прощанием тетушка Хрисула ставила на землю корзину, наполненную орехами, чурчхелами и кругами сыра. Деспина держала в руках живых кур со связанными ногами. Меня почему-то слегка беспокоило, что вот она берет с собой наших кур, а ведь они никогда не несутся двужелточными яйцами.

Несколько минут длилось горькое прощание влюбленных.

— Харлаμπο,— говорила Деспина, и ее синие глаза наполнялись слезами.

— Деспина,— глухо, с грозной тоской выдыхал Харлаμπο, и скулы его начинали дышать желваками.

— Харлаμπο!

— Деспина! — глухо, сдержанно, с такой внутренней силой говорил Харлаμπο, что куры, чувствуя эту силу, начинали тревожно кудахтать и взмахивать крыльями на руках у Деспины.

— Деспина,— вмешивалась в этот дуэт тетушка Хрисула, сама расстроенная и стараясь успокоить племянницу, которая, приподняв сильную руку, сжимавшую кур, утирала слезы.

— Харлаμπο,— успокаивала тетя Нуца своего па-
стуха и поглаживала его по широкой спине.

Тетушка Хрисула наконец бралась за свою корзину, и они уходили вниз. А мы глядели им вслед, и длинные косы Деспины, позолоченные солнцем, вздрагивали на ее спине, и платок долго синел.

— Эй, гиди, дунья! (Эх, мир!) — говорил Харлаμπο по-турецки и, поворачиваясь, уходил к своим козам.

— Уж лучше бы они совсем не приезжали,— вздыхала тетя Нуца, бог знает о чем задумавшись.

И все мы, опечаленные этим прощанием, омытые им, я думаю, неосознанно гордясь, что на земле существует такая любовь, и неосознанно надеясь, что и мы когда-нибудь будем достойны ее, уходили домой, жалея Харлаμπο и Деспину.

Теперь нам придется изобразить фантастическое любовное безумство, приписанное чекемцами Харлаμπο и, в сущности, являющееся отражением их собственного безумства.

Дело в том, что Харлаμπο на следующий день после умыкания Тали, дочери дяди Сандро, с горя объелся орехов и в состоянии орехового одурения погнался за ее любимой козой, добежал до мельницы, где был перехвачен еще более, чем он, могучим Гераго, связан и погружен в ручей, в котором сутки пролежал с пятипудовым жерновом на животе для противоборства течению и окончательного заземления вонзившейся в него молнии безумия.

Через сутки ореховая одурь испарилась, горячий мозг остыл в ледяной воде, а молния безумия, покинув его тело, заземлилась. Отогревшись у мельничного костра, Харлаμπο пришел в себя и вместе с козой был отправлен в Большой Дом. Один из чекемцев, который тогда был на мельнице и на некотором расстоянии следовавший за ним, ничего особенного в его поведении не обнаружил. Только коза иногда робко оглядывалась.

Вскоре Харлаμπο полностью оправился, и чекемцы как будто забыли про этот случай. Но, выходит, не забыли. На следующий год одна из коз в стаде старого Хабуга оказалась яловой. Явление это достаточно обычное. К несчастью, яловой оказалась именно та коза, за которой гнался Харлаμπο.

— У-у-у! — говорят, сказал один из чекемцев (впоследствии чекемцы никак не могли припомнить, кто именно сказал это первым). — Ясно как день, отчего она ояловела. Да он с ней балует! Да он ни одного козла к ней не подпускает!

Вскоре это открытие стало достоянием всего Чегема. В Большом Доме ни на мгновение не поверили этому слуху, и тетя Нуца, принявшая эту весть как личное оскорбление, насмерть переругалась с несколькими женщинами, пытавшимися на табачной плантации подымать эту тему.

Надо сказать, что многие чекемцы эту весть восприняли с юмором, но были и такие, что не на шутку

обиделись за честь чекемского скота, а через свой скот и за собственную честь.

Они обратились к старейшинам Чегема с тем, чтобы они велели Хабугу изгнать Харлаμπο из села, но старцы заупрямились. Старцы потребовали показаний очевидца, но такового не оказалось в доступной близости. Многие чекемцы оглядывали друг друга, как бы удивляясь, что оглядываемый до сих пор принимался за очевидца, а теперь почему-то не создается.

Впрочем, это их ненадолго смутило. Чекемцы уверились, что, раз весь Чегем говорит об этом, такого и быть не может, чтобы хоть один не видел своими глазами баловство Харлаμπο. Было решено, что теперь, когда дело дошло до старейшин, этот неуловимый очевидец застенялся, чтобы не омрачать отношений со старым Хабугом.

При всем безумии, охватившем Чегем, ради справедливости надо сказать, что чекемцы даже в этом состоянии оказались настолько деликатными, чтобы самому Харлаμπο впрямую не предъявлять своих обвинений.

И только вздорный лесник Омар вконец осатанел, узнав о подозрениях чекемцев. Ни честь козы старого Хабуга, ни честь чекемского скота сами по себе его не интересовали. Но в его дурную башку засела уверенность, что Харлаμπο на козе и даже вообще на козах не остановится, а непременно доберется до его кобылы, которая обычно паслась в котловине Сабида и о привлекательности которой он был самого высокого мнения.

— Увижу — надвое разрублю! — кричал он. — Как разрубал чужеродцев в германскую войну!

Некоторые родственники Омара, стыдясь его вздорности, говорили, что он стал таким в «дикий дивизион», где якобы возле него на фронте разорвался снаряд. Но старые чекемцы, хорошо помнившие его, говорили, что до германской войны он был еще хуже, что, наоборот, в «дикий дивизион» он даже слегка пообтесался.

Лесник Омар множество раз незаметно спускался в котловину Сабида, зарывался там в папоротники и часами следил оттуда за поведением Харлаμπο.

Однажды мы с Чункой ели чернику в котловине Сабида, как вдруг пониже нас на тропе появился Омар и стал быстро подыматься, цепляясь шашкой, висевшей у него на боку, за петли сассапарили, нависавшие над тропой. Он явно возвращался после многочасовой слежки за Харлаμπο.

— Ну что, застукал? — спросил Чунка, издеваясь над Омаром, но тот, конечно, этого не понимал.

Омар обернулся на нас с лицом, перекошенным гримасой сомнения, и несколько раз, раскидывая руки и медленно приближая их друг к другу, показал, что вопрос этот остается на стадии головоломной запутанности.

— Два раза прошел возле моей кобылы, — сказал он мрачно, словно уверенный в преступности его намерений, но в то же время как человек, облеченный властью закона, понимая, что все-таки этого недостаточно, чтобы разрубить его надвое.

— Близко прошел? — спросил Чунка.

— Первый раз метров десять было, — сказал Омар, стараясь быть поточней, — второй раз метров семь.

— Видать, примеривается, — сказал Чунка.

— Разрублю! — крикнул Омар, проходя мимо и гремя шашкой по неровностям кремнистой тропы. — Слыхано ль дело, меня две власти приставили следить за лесом, а этот безродный грек заставляет меня следить за скотом! Поймаю — разрублю!

Но поймать Харлаμπο он никак не мог, и от этого его самого все чаще и чаще сотрясала падающая истошность. Он его не только не мог застать со своей кобылой, но и с козой не мог застать. Однако сама

невозможность поймать его с четвероногой подругой не только не рассеивала его подозрений, а, наоборот, углубляла их, превращала Харлампо в его глазах в коварно замаскированного извращенца-вредителя.

К вечеру, когда Харлампо со стадом возвращался из котловины Сабиды, некоторые чегемцы, тоже возвращавшиеся домой после работы, иногда останавливались, чтобы пропустить мимо себя стадо Харлампо, поглазеть на него самого, на заподозренную козу и по-судачить.

А женщины после работы на табачной плантации или в табачном сарае, несколько отделившись от мужчин, тоже останавливались и с любопытством следили за Харлампо и его козой. Те, что не знали, какая именно коза приглянулась Харлампо, подталкивая других, вполголоса просили показать ее.

— Ты смотри, какую выбрал!

— Вроде бы грустенькая!

— Притворяется!

— Впереди всех бежит — гордится!

— Не, прячется от него!

— Как же! Спрячешься от этого вепря!

Мужчины молча, с угрюмым недоброжелательством оглядывали стадо и самого Харлампо и, пропустив его мимо себя, начинали обсуждать случившееся. Но в отличие от женщин, они не останавливались на интимных психологических подробностях, а напирали на общественное значение постигшей Чегем беды.

— Если мы это так оставим, эндурцы совсем на голову сядут!

— А то не сидят!

— Вовсе рассядутся!

— Да они ж его и подучили!

— А какая им выгода?

— Им все выгода, лишь бы нас принизить!

— Хоть бы этот проклятуший отец Деспины выдал бы наконец за него свою дочь!

— А зачем она ему? Ему теперь весь чегемский скот — Деспина!

— Да он теперь весь наш скот перехарлампит!

— То-то я примечаю, что у нас с каждым годом скотина все больше яловее!

— По миру нас пустит этот грек!

— Неужто наши старцы так и не велят Хабугу изгнать его?!

— Наши старцы перед Хабугом на цыпочках ходят!

— Они велят доказать!

— Что ж нам, рыжебородого карточника приманить из Мухуса, чтобы он на карточку поймал его с козой?

— Как же, поймаешь! Он свое дело знает!

— А через сельсовет нельзя его изгнать?

— А сельсоветчикам что? Они скажут: «Это политике не мешает...»

— Выходит, мы совсем осиротели?

— Выходит...

Харлампо молча проходил мимо этих недоброжелательно молчащих чегемцев, с сумрачной независимостью бросая на них взгляды и показывая своими взглядами, что он и такие унижения предвидел, что все это давно было написано в книге его судьбы, но ради своей великой любви он и это перетерпит.

Иногда среди этих чегемцев оказывались те парни, которые раньше предлагали ему овладеть Деспиной и тем самым вынудить ее отца выдать дочь за Харлампо. И сейчас они напоминали ему своими взглядами, что напрасно он тогда не воспользовался их советом, что, воспользуясь он в свое время их советом, не было бы этих глупых разговоров. Но Харлампо и эти взгляды угадывал и на эти взгляды с прежней твердостью отрицательным движением головы успевал отве-

чать, что даже и сейчас, окруженный клеветой, он не жалеет о своем непреклонном решении дожидаться свадьбы с Деспиной.

Однажды, когда мы с Харлампо перегоняли стадо домой, из зарослей папоротников выскочил Омар и, весь искореженный яростью бесплодной слежки, со струйкой высохшей пены в углах губ (видно, ярость давно копилась), дергаясь сам и дергая за рукоятку шашки, побежал за нами, то отставая (никак не мог выдернуть шашку), то догоняя, и, наконец догнав, с выдернутой шашкой бежал рядом с нами, тесня Харлампо и осыпая его проклятиями.

— Греческий шпионка! — кричал он по-русски. — Моя лошадь! Секим-башка!

Сейчас это выглядит смешно, но я тогда испытал внезапно отяжелевший мое тело физиологический ужас близости отвратительного, нечеловеческого зрелища убийства человека. Единственный раз вблизи я видел лицо погромщика, хотя, разумеется, тогда не знал, что это так называется. И самое страшное в этом лице были не глаза, налитые кровью, не струйки засохшей пены в углах губ, а выражение своей абсолютной, естественной правоты. Как будто бы человек на наших глазах перестал быть человеком и выполняет предназначение переставшего быть человеком.

К этому ужасу перед возможным убийством Харлампо еще добавлялся страх за себя, боязнь, что он на Харлампо не остановится, ощущение того, что он и меня может рубануть после Харлампо. Как-то трудно было поверить, что он после убийства Харлампо снова сразу станет человеком и перестанет выполнять предназначение переставшего быть человеком, и было подлое желание отделиться, отделиться, отделиться от Харлампо.

И все-таки я не отделился от него, может быть, потому, что вместе со всеми этими подлыми страхами я чувствовал с каждым мгновением вдохновляющую, вырывающую из этих страхов красоту доблести Харлампо!

Да, единственный раз в жизни я видел эллинскую доблесть, я видел поистине сократовское презрение к смерти, и ничего более красивого я в своей жизни не видел!

Наверное, метров пятьдесят, пока мы не поднялись до молельного ореха, Омар, изрыгая проклятия, теснил Харлампо, взмахивая шашкой перед его лицом, иногда стараясь забежать вперед, то ли для того, чтобы было удобней рубить, то ли для того, чтобы остановить Харлампо перед козой.

Но Харлампо, не останавливаясь, продолжал свой путь, иногда окриком подгоняя отставшую козу, иногда рукой отстраняя трясущуюся перед его лицом шашку, отстраняя не с большим выражением заинтересованности, чем если бы это была ольховая ветка, нависшая над тропой. И он ни разу не взглянул в его сторону, ни разу! И только желвак на его скуле, обращенной ко мне, то раздувался, то уходил, и он время от времени горестно и гордо кивал головой, давая знать, что слышит все и там, наверху, тоже слышат все и понимают все, что терпит Харлампо!

На подступах к сени молельного ореха Омар отстал от нас, издали продолжая кричать и грозиться. И вдруг мне тогда подумалось на мгновение, что священная сень молельного ореха своей силой остановила его. И Харлампо, продолжая идти за козами, бросил на меня взгляд, который я тогда до конца не понял и который лишь сейчас понимаю как напоминание: «Не забудь!»

По детской чуткости я потом много ночей терзался подлостью своего страха и ясным, унижительным сознанием своей неспособности вести себя так, как вел Харлампо. Я тогда не понимал, что только великая

мечта может породить великое мужество, а у Харлампо, конечно, была эта великая мечта.

До старого Хабуга, безусловно, доходили отголоски этих безумных слухов, хотя и в сильно ослабленном виде. Когда в Большом Доме заговаривали об этом, тетя Нуца то и дело выглядывала в дверь, чтобы посмотреть, нет ли его поблизости. Чегемские глупцы, а, к сожалению, их в Чегеме тоже было немало, при виде старого Хабуга делали единственное, что может сделать глупец со своей глупостью, — скромно проявлять ее.

Но однажды один из них не удержался. Несколько чегемцев стояли поблизости от Большого Дома, по-видимому, в ожидании, когда Харлампо пройдет со своим стадом. И тут на дороге появился старый Хабуг. Он нес на плечах огромную вязанку ветвей фундука — корм для козлят. И когда он прошел мимо них, шелестя холмом свежих ореховых листьев и почти покрытый ими, и, может, именно из-за этой прикритости его осмелев, один из ожидающих Харлампо выскочил на дорогу и крикнул вслед уходящему Хабугу, как бы ослабленному этой огромной, шумящей листьями кладью, как бы отчасти даже буколизированному ею:

— Так до каких же нам пор терпеть твоего козлоблуда!!!

Старый Хабуг несколько мгновений молча продолжал идти, и холм ореховых листьев за его спиной равномерно вздрагивал. Потом из-под этой движущейся роши раздался его спокойный голос:

— Вы бы себя поберегли от усатого козла, чем заниматься моими козами...

Опешив от неожиданности ответа, этот чегемец долго стоял, стараясь осознать слова старого Хабуга, и, наконец осознав, всплеснул руками и плачущим голосом крикнул ему вслед:

— Так не мы ж его содержим в Кремле!

В конце концов слухи о козлоблудии Харлампо докатились до Анастасовки, хотя в Большом Доме не исключали, что Омар тайно туда уехал и там обо всем рассказал.

Однажды к вечеру в Большом Доме появились тетушка Хрисула и Деспина. Уже издали по их лицам было ясно, что они о чем-то знают. Деспиночка похудела, и ее синие глазки словно выцвели и теперь казались гораздо бледней ее косынки.

Тетушка Хрисула начала было жаловаться, но старый Хабуг остановил ее и сказал, что сначала надо поужинать, а потом обо всем поговорить. Тетушка Хрисула тихо присела у очага на скамью и, глядя на огонь, сидела, подпершись худенькой, будто птичья лапка, ладонью, и скорбно покачивала головой. Деспина сидела на тахте и грустно отворачивалась, когда Чунка пытался с ней заигрывать.

Ничего не подозревавший Харлампо пригнал стадо, вошел во двор с дровами на плече и, издав свой обычный очаголюбивый грохот, сбросил их у кухонной стены. Услышав этот грохот, тетушка Хрисула еще более скорбно закачала головой, словно хотела сказать: он этим грохотом очаголюбия тоже хотел нас обмануть.

Войдя на кухню и увидев Деспину, опустившую голову, когда он вошел, и тетушку Хрисулу, которая даже не повернулась в его сторону, он понял, что они все знают, и сумрачно замкнулся.

Почти молча сели ужинать, и — о боже! — тетушка Хрисула едва притронулась к еде.

— Мир перевернулся, — сказал Чунка по-абхазски, — тетушка Хрисула малоежкой сделалась!

— Да замолчи ты! — прикрикнула на него тетя Нуца и воткнула в дымящуюся мамалыгу тетушки Хрисулы большой кусок сыру. Тетя Нуца очень волновалась и хотела как-нибудь смягчить ее.

Пожужинав, вымыли руки, и все расселись у очага на большой скамье, а Харлампо сел отдельно на кушетке и этим слегка напоминал подсудимого.

Тетушка Хрисула начала. Это был долгий греческий разговор с горькими взаимными упреками, с постоянными печальными жестами тетушки Хрисулы в сторону Деспины. Мне показалось, что мелькнуло и упоминание о двухжелточных яйцах. Деспина время от времени всплакивала и терла свои голубые глазки концом голубого платка.

В глазах Харлампо горел сомнамбулический огонь отчаяния. Голос его делался все резче и резче. Никогда таким голосом он не говорил с тетушкой Хрисулой. Это было восстание демоса против аристократов!

Он представил перечень унижений, пережитых им из-за жестокого упрямства отца Деспины, ее патеро! На пальцах для полной наглядности он перечислил годы насильственной разлуки с любимой и, перечисляя, все выше и выше подымал свой голос:

— Эна! Диа!! Трио!!! Тесара!!!! Пенде!!!!

Пять загнутых пальцев отметили неимоверные страдания пяти лет. Но и этого не хватило, пришлось загнуть еще три пальца на другой руке. Он застыл на некоторое время с приподнятыми руками и загнутыми в мощный кулак пальцами одной из них и почти готовым кулаком второй руки. Казалось, еще два года, и Харлампо набросится с кулаками на отца Деспины и всех аристократов Анастасовки, если там еще есть аристократы.

(Я вижу Харлампо так ясно, как будто все это было вчера. И опять никак не могу избавиться от навязчивого ощущения его сходства с обликом нашей интеллигенции. Вот так же и она, в пересчете на исторические сроки ее терпения, не пройдет и пятидесяти лет, как набросится на своих аристократов!)

Тетушка Хрисула не без понимания выслушала могучий выпад Харлампо, она как бы признала, что восстание против аристократов имело некоторые основания.

Однако она не растерялась и сама пошла в атаку. Иногда они оба, как к судье, обращались к дедушке Хабугу, переходя на турецкий язык, хотя он и по-гречески понимал хорошо. Тетя Нуца тоже время от времени вставлялась, пытаясь на своем чудовищном турецком языке защищать Харлампо. Когда она особенно коверкала слова, Чунка в ужасе хватался за голову, показывая, что такой выговор обязательно уробит дело Харлампо.

Обвинение тетушки Хрисулы сводилось к тому, что теперь отец Деспины не захочет иметь дело с Харлампо, а другие греки не захотят жениться на Деспине.

«Кто такая Деспина?» — по словам тетушки Хрисулы, будут спрашивать греки из других сел.

«Деспина, — будут отвечать им греки из Анастасовки, — это та «аристократико корнице», чей жених предпочел ей козу».

— Кондрепесо, Харлампо?! — обращалась тетушка Хрисула к Харлампо, который тоже как бы отчасти признавал значительность доводов тетушки Хрисулы.

Разговор был долгим, сложным, запутанным. Окачивается, тетушка Хрисула, перед тем как явиться в Большой Дом, инкогнито пришла на мельницу и узнала у Гераго о том, что Харлампо, гонимая за козой, прибежал на мельницу.

Харлампо и дедушка Хабуг объяснили ей, что дело его с козой ограничилось этой бесцельной и безвредной беготней.

Зачем, зачем, вопрошала тетушка Хрисула, ему надо было бегать за козой, когда в Анастасовке его дожидается невеста, белая, как снег, и невинная, как ангелица? Услышав ее слова, Деспина снова всплакнула.

Харлампо сказал, что все это получилось потому,

что он объелся орехов и заболел ореховой дурью. Тетушка Хрисула презрительно отрицала само существование такой болезни. И она привела доказательство. Тетушка Хрисула сказала, что, когда они в последний раз уходили с Деспиной из Большого Дома в Анастасовку, она по дороге съела почти полкорзины грецких орехов и никакой ореховой дурью не заболела.

— Правда, Деспина? — обратилась она к племяннице, но отозвался Чунка.

— Конечно, правда! — воскликнул он по-турецки. — Кто же в этом усомнится!

— Нет, ты не видел, — сказала тетушка Хрисула, взглянув на Чунку. — Деспина видела.

Деспина, грустно кивнув головой, подтвердила слово тетушки Хрисулы. И тут Харлампо, видимо, решил окончательно расплеветаться с аристократами. По-турецки, чтобы всем была понятна дерзкая прямота его слов, он сказал, что она не заболела ореховой дурью, потому что и она, и ее брат и так от рождения безумны. (Делидур!)

— Да, — подтвердила тетушка Хрисула, горестно качая головой, — Хрисула, конечно, безумная, раз она разрешила своей невинной овечке обручиться с этим дьяволом.

— Ну, от овечки до козы не так уж далеко! — крикнул Чунка по-абхазски.

— Да замолчи ты, бессовестный! — замахнулась тетя Нуца на него.

Деспина снова беззвучно заплакала и снова стала утирать свои синие глазки концом своего синего платка.

И тут старый Хабуг сказал свое слово. Он сказал, что отделяет Харлампо тридцать коз в счет его будущей работы. Он сказал, что рядом с усадьбой дяди Сандро он высмотрел хороший участок для Харлампо. Он предложил там выстроить дом и этой же осенью сыграть свадьбу и поселить в нем молодых. Он сказал, что дрань и доски они начнут заготавливать с Харлампо с завтрашнего дня.

Медленно бледнее, Харлампо медленно встал с кушетки. Выражая взглядом безусловную власть над Деспиной, власть, выстраданную восемью годами ожиданий, он протянул непреклонную руку в сторону старого Хабуга и сказал непреклонным голосом:

— Вот твой отец, Деспина! Другого отца у тебя нет, Деспина! Филисе тон патеро су, Деспина! (Поцелуй своего отца, Деспина!)

И Деспина вскочила, Деспина расплакалась, Деспина рассмеялась и мгновенно преобразилась в прежнюю цветущую, веселую девушку. Она подбежала к старому Хабугу и, наклонившись, нежно обняла его и поцеловала в обе щеки. Старый Хабуг осторожно отстранил ее от себя, как переполненный сосуд, угрожающий пролиться на него непристойной для его возраста влагой молодого счастья.

— Теперь меня, Деспиночка! — крикнул Чунка по-русски.

И Деспина, взглянув на Чунку, весело расхохоталась, и тетушка Хрисула тоже мгновенно преобразилась в прежнюю тетушку Хрисулу и совсем прежним голосом предупредила племянницу:

— Дес-пи-на!

Преображение ее было столь удивительным, что все рассмеялись.

Через пять месяцев Харлампо справил свадьбу в своем новом доме, и тамадой на свадьбе был, конечно, дядя Сандро. На свадьбе было выпито много вина, спето много греческих и абхазских песен. Чунка рядом с тетушкой Хрисулой танцевал сиртаки, пытаясь или делая вид, что пытается рассказать о том, как они с Деспиной рвали инжир, и тетушка Хрисула с негодованием бросалась на него и закрывала ему

рот. Разумеется, тетушка Хрисула на этой свадьбе всех переговорила, переела, но перепить дядю Сандро ей все-таки не удалось.

По сложным психологическим соображениям старый Хабуг вместе с тридцатью отделенными козами отдал и ту, заподозренную в особых симпатиях Харлампо. Оставь он ее у себя, дурноязыкие стали бы говорить, что он это сделал, чтобы не расстраивать семейную жизнь Харлампо.

Мне запомнилась картина, может быть, самого безоблачного семейного счастья, которую я видел в своей жизни. Вместе с несколькими женщинами мы, мальчики, идем от табачной плантации к табачному сараю. У женщин на плечах большие корзины с табаком.

Вот мы проходим мимо дома Харлампо. Харлампо стоит в загоне среди коз и придерживает за рога ту злополучную козу, наконец-то родившую козленка. А Деспина, беременная Деспина, с большим животом, в широком цветастом платье, с подойником в руке, присаживается на корточки возле козы и начинает ее доить. А Харлампо сумрачно и победно озирается на нас, и я чувствую, что теперь сумрачность Харлампо — это маска, защищающая его счастливую жизнь от глаза судьбы. Глядя на нас, он как бы приглашает обратить внимание на строгое, классическое, естественное, которое только могло быть и есть, расположение их фигур возле козы.

— Чего это он охраняет козу? — говорит одна из женщин, не поленившись остановиться, и осторожно, чтобы удержать огромную корзину в равновесии, оборачивается к другой.

— Еще бы, — говорит другая с такой же корзиной на плече, — козе же обидно...

Но она вдруг осекается, может быть, покоренная могучим, спокойным струением гармонии этой ветхозаветной идиллии.

Харлампо придерживает козу за рога, и сквозь сумрачную маску его лица я чувствую, чувствую неудержимое, победное клочкотание его счастья. И в моей душе смутно брезжит догадка, что к такому счастью можно прийти только через такие страдания. И сейчас, вспоминая эту картину и вспоминая то изумительное, сладостно растекающееся в крови чувство благодарности чему-то непонятному, может быть, самой жизни, которое я тогда испытал, глядя на Харлампо и Деспину, я думаю, у человека есть еще одна возможность быть счастливым — это умение радоваться чужому счастью. Но взрослые редко сохраняют это умение.

Через три года у Харлампо было трое детей. Первую, девочку, в честь тетушки называли Сулой. Целыми днями тетушка Хрисула возилась с детьми. Сама Деспина к этому времени стала лучшей чегемской низальщицей табака, но сравняться с Тали она, конечно, не могла. Однако для молодой аристократической женщины, рождающей каждый год по ребенку, это было немалым достижением.

После того, как Деспина родила третьего ребенка, тетушка Хрисула пришла в Большой Дом и сказала, что в течение одного года собирается дежурить у постели Деспины, и просила кого-нибудь из женщин Большого Дома время от времени подменять ее. Когда у нее спросили, зачем она должна дежурить у постели Деспины, она отвечала, что надо не допускать Харлампо к постели Деспины, чтобы та отдохнула от беременности, хотя бы на год.

Тетя Нуца справилась у старой Шазины: принято ли по нашим обычаям дежурить не только у постели больного, но и у постели замужней женщины? Та отвечала, что по нашим обычаям это тоже принято, но разрешается дежурить только близким родствен-

никам, и поэтому обитательницы Большого Дома не могут сторожить у постели Деспины.

— Буду дежурить одна, пока сил хватит, — вздохнув, сказала тетушка Хрисула.

Но тетушка Хрисула если и дежурила, то недолго, потому что грянула Отечественная война и всю молодежь Чегема вместе с Харлампю забрали в армию.

В отличие от многих наших близких, в отличие от бедняги Чунки, которого убили в начале войны на западной границе, Харлампю вернулся домой. Да, он вернулся, и жизнь его была счастлива вплоть до 1949 года, когда его вместе с Деспиной, и детьми, и тетушкой Хрисулой, и всеми греками Черноморья выслали в Казахстан.

...Грузовик возле правления колхоза. К этому времени машины стали подыматься до Чегема. Кузов, переполненный несколькими отъезжающими семьями. Рыдания женщин уезжающих и женщин, прощающихся с ними.

Шагах в двадцати от машины на бревнах уселись нахохленные, отчужденные, как орлы за вольером, чегемские старцы. Уже не постукивая, как обычно, посохами о землю, а угрюмо опершись о них, они неодобрительно поглядывают в сторону машины, изредка перебрасываясь словами.

Они как бы осознают, что происходящее должно было быть ими остановлено, но, понимая, что не в силах ничего сделать, они чувствуют гнет вины за собственное молчание, оскверненность своей духовной власти.

...Зареванная Деспина то и дело спрыгивает с кузова в толпу, чтобы обняться с теми, с кем не успела попрощаться. Тетушка Хрисула в черном платье стоит в кузове и кричит что-то непонятное, воздев худую руку к небесам. (Отцу народов мало было тысяч русских крестьянок, высланных в Сибирь, которых он, надо полагать, пробовал на роль боярыни Морозовой для картины нового, неведомого Сурикова, ему еще понадобилось тетушку Хрисулу попробовать на эту роль.)

Двое бледных, растерянных автоматчиков в кузове и внизу еще более бледный, с трясущимися губами офицер, старающийся унять лезущих, кричащих, протягивающих руки в кузов машины, спрыгивающих на землю и вновь водворяемых в кузов.

И над всем этим ревом, заплаканными лицами, протянутыми руками — сумрачное, бесслезное лицо Харлампю, с желваками, то и дело сокращающимися под кожей щек, с глазами, обращенными к чегемцам. Он покачивает головой, как бы напоминая о пророческом смысле своего всегдашнего облика. Он как бы говорит: да, да, я это предвидел и потому всю жизнь своим сумрачным обликом готовился к этому.

Офицер, отчаявшись отогнать чегемцев от машины, что-то крикнул автоматчикам, и они, спрыгнув вниз и держа перед собой автоматы в горизонтальном положении, как шлагбаумы, стали отжимать толпу. Но так как задние не отходили, толпа не отжималась, а сжималась. И словно от самого сжатия толпы в воздухе сгушалось электричество спертого гнева. И офицер, вероятно, лучше других чувствовавший это, пытался опередить возможный взрыв нервного напряжения.

И все-таки взрыв произошел. Два мальчика-подростка, абхазец и гречонок, обнявшись, стояли у машины. Один из солдат несколько раз пытался отцепить абхазского мальчика от его уезжающего друга. Но мальчики не разнимали объятий. И тогда солдат, тоже, вероятно, под влиянием нервного напряжения, толкнул мальчика прикладом автомата.

На беду, тут же стояли двое дядей и старший брат мальчика. Все трое пыхнули разом! Брат мальчика

и один из дядей выхватили ножи, а другой дядя вырвал из кармана немецкий вальтер.

Женщины завyli. Оба солдата, прижавшись спиной к кузову машины, выставили автоматы, а офицер, стоявший рядом с ними, забыв о своем пистолете, все повторял, как пластинка с иглой, застрявшей в борозде:

— Вы что?! Вы что?! Вы что?!

Брат мальчика все норовил выбрать мгновение и сбоку наброситься с ножом на солдата, ударившего мальчика. Первый дядя, держа его под прицелом своего вальтера и угрожая им, пытался его отвлечь, чтобы создать такое мгновение. Второй дядя грозил ножом второму автоматчику, державшему под прицелом того, что грозил вальтером первому солдату. Обе стороны, не сговариваясь, разом распределили, что кому делать.

И неизвестно, чем бы это все кончилось, если б на крики женщин, поняв, что в толпе случилось что-то ужасное, старейшина Чегема не поднялся бы с места. Он всадил свой посох в землю, расправил свои белые усы и пошел в сторону толпы, не меняя на лице выражения угрюмой, отчужденной нахохленности.

Он шел ровным, спокойным шагом, словно уверенный в том, что если то, что случилось в толпе, можно ввести в разумные рамки, то оно, то, что случилось, и так его подождет. А если невозможно обуздать разумом то, что случилось, тогда и торопиться некуда.

Люди расступались, когда он, все еще нахохленный, вошел в толпу, которая пыталась ему рассказать суть случившегося, и он, видно, сразу же поняв эту суть, теперь только брезгливо отмахивался от лишнего шума.

Ничего не говоря, он подошел к этим трем и, мгновенно определив степень опасности каждого, не ожидая сопротивления и даже не задумываясь о возможности сопротивления, небрежно вырвал нож из руки брата мальчика, потом из руки первого дяди пистолет, потом из руки второго дяди нож и все это, почти не глядя, отбросил в сторону, как железный мусор, как отбрасывает крестьянин к изгороди камни, вынутые из пахоты.

Потом он обернулся к мальчику, из-за которого все это произошло, и с размаху шлепнул его ладонью по голове. У мальчика с головы слетела войлочная шапочка, но он, не поднимая ее, повернулся и пошел сквозь толпу, нагнув голову и, видимо, сдерживая слезы обиды. Так и ушел, ни разу не оглянувшись.

— Ты бы у них отнял автоматы, а мы бы поглядели, — нервно крикнул владелец вальтера, — а то привыкли над нами куражиться!

Толпа неодобрительно зашумела.

— Солдат — казенный человек, — сказал старец, обращаясь к толпе, — он делает, что ему сказали... На Большеусого, видать, снова нашло вурдалачество... Время, в котором стоим, такое, что, даже если тебя палкой ударят, надо смолчать...

— Эх, время, в котором стоим, — вздохнули в толпе.

Старец повернулся и пошел к своим товарищам, дожидавшимся его, приподняв нахохленные головы и не проявляя никаких внешних признаков любопытства.

— В машину! — крикнул офицер солдатам и сам вскочил в кабину, стараясь опередить толпу.

Солдаты взлетели в кузов, но толпа опять успела облепить его.

Машина засигналила и тихо тронулась. Грянул прощальный рев, а офицер, высунув руку в окно, конвульсивно махал ею, чтобы остающиеся отцепились, и продолжал махать, пока они окончательно не отстали.

...Сегодня не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится, и слух мой осиротел. Я с детства привык к нашему маленькому Вавилону. Я привык слышать в воздухе родины абхазскую речь, русскую речь, грузинскую речь, мингрельскую речь, армянскую речь, турецкую речь, эндурскую речь (да, да, дядя Сандро, эндурскую тоже!), и теперь, когда из этого сладостного многоголосия, из брызжущего свежестью щебета народов выброшены привычные голоса, нет радости слуху моему, нет упоения воздухом родины!

...Вот так Харлампо и Деспина исчезли из нашей жизни навсегда. Но я надеюсь, они сильные люди и там, на сухой казахстанской земле, укоренились, зажили своим домом, своим хозяйством, и тетушке Хрисуле, надо думать, нашлось что пожевать. Но в Казахстане, по-моему, нет инжира, а тетушка Хрисула так любила инжир, особенно черный.

Впрочем, с тех пор прошло столько времени, что тетушка Хрисула, конечно, уже умерла, и я уверен, что светлая душа ее сейчас в садах Эдема вкушает столь любимый ею черный инжир.

Дядя Сандро и раб Хазарат

Этот рассказ я услышал от дяди Сандро, когда мы сидели за столиком под тентом в верхнем ярусе ресторана «Амра». Кажется, я повторяюсь, слишком часто упоминая верхний ярус этого ресторана. Но что делать, в нашем городе так мало осталось уютных мест, где, особенно в летнюю жару, можно спокойно посидеть под прохладным бризом, слушая шлепающие и глухие звуки, которые издают ребячьи тела, срываясь с вышки для прыжков в воду, слушая их мокрые, освежающие душу голоса, созерцая яхты, иногда с цветными парусами, набитыми ветром до плодово-телесной выпуклости, в наклонном полете (якобы мечта Пизанской башни) сострегивающие мякную гладь залива.

Кстати, о Пизанской башне. Разглядывание ее во всяких альбомах и на любительских снимках всегда вызывало во мне безотчетное раздражение, которое почему-то надо было скрывать. Сам-то я таких альбомов не держу и тем более никогда не имел возможности сам сфотографировать ее. Так что в том или ином виде ее постоянно мне кто-нибудь демонстрировал, и каждый раз надо было благодарно удивляться ее идиотскому наклону.

Однако сколько можно падать и не упасть?! Я считаю так: если ты Пизанская башня, то в конце концов или рухнешь, или выпрямись! Иначе какой воодушевляющий пример устойчивости для всех кривобоких душ и кривобоких идей!

В ночных кошмарах, правда, чрезвычайно редких, я всегда вижу один и тот же сон. Как будто меня привезли в Италию, надежно привязали в таком месте, где я день и ночь вынужден созерцать Пизанскую башню, приходя в круглосуточное бешенство от ее бессмысленного наклона и точно зная, что на мой век ее хватит, при мне она не рухнет.

Этот ночной кошмар усугубляется тем, что какой-то итальянец, вроде бы Луиджи Лонго, однако почему-то не признающийся в этом, три раза в день приносит мне тарелку спагетти и кормит меня, заслоня спиной Пизанскую башню и одновременно читая лекцию о еврокоммунизме. И мне вроде до того неловко слушать его, что я еле сдерживаю себя от желания крикнуть:

— Амиго Лонго, отойдите, уж лучше Пизанская башня!

Во сне я прекрасно говорю по-итальянски, однако же молчу, потому что очень вкусными мне кажутся эти неведомые спагетти. И я вроде каждый раз уговариваю себя:

— Вот съем еще одну ложку и скажу всю правду!

И оттого, что я ему этого не говорю и у меня не хватает воли отказаться от очередной ложки, я чувствую дополнительное унижение, которое каким-то образом не только не портит аппетита, но даже усугубляет его.

И я вынужден выслушивать моего лектора до конца, до последней макаронины, а уж потом, за последней ложкой, какая-то честность или остатки этой честности мешают мне сказать ему все, что я думаю. Если б я хоть одной ложкой спагетти пожертвовал, еще можно было бы сказать ему всю правду, а тут нельзя, стыдно, ничем не смог пожертвовать.

И вот он уходит, и тут из-за его спины появляется эта кривобокая башня. Недавно я узнал от друзей, что какой-то польский инженер разработал и даже осуществил проект выпрямления Пизанской башни. Конечно, такой проект должен был сотворить именно поляк. Конечно, в Польше всё давно выправили, и его тоска по выпрямлению должна была обратиться на Пизанскую башню.

Сейчас мне вдруг пришло в голову: а что, если наклон Пизанской башни был знаком, показывающим некий градус отклонения всей земной жизни от божьего замысла, и теперь мы лишены даже этого призрачного ориентира? Или так: а что, если бедняга Пизанская башня, в сущности, правильно стояла, а это наша земля со всеми нашими земными делами под ней скособочилась?

Итак, мы в верхнем ярусе ресторана «Амра». Действующие лица: дядя Сандро, князь Эмухвари, мой двоюродный брат Кемал, фотограф Хачик и я.

Цель встречи? На такой следовательский вопрос я бы вообще мог не отвечать, потому что цели могло и не быть. Но на этот раз была.

Дело в том, что мой двоюродный брат Кемал, бывший военный летчик, а ныне мирный диспетчер Мухусского аэропорта, находясь в своей машине, мягко говоря, в нетрезвом состоянии, был задержан автоинспектором.

В таком состоянии я его несколько раз видел за рулем, и ему ни разу не изменили его точные рефлекс-ы военного летчика и могучая нервная система.

При мне несколько раз его останавливали автоинспекторы, догадываясь о неблагополучии в машине скорее по чрезмерному шуму веселья на заднем сиденье, чем по каким-то нарушениям.

В таких случаях он обычно, не глядя на автоинспектора и одновременно воздействуя на него своим наполеоновским профилем, тем более что профиль винных запахов не издает, так вот, в таких случаях он, не глядя, сует ему не водительские права, а книжку внештатного корреспондента журнала «Советская милиция».

Книжка воздействует магически. Но на этот раз она не могла сработать. Дело было ночью, и он в машине был один. А когда он, выпивший, ночью в машине едет один, к его точным рефлексам бывшего военного летчика незаметно подключается сдвинутый во времени рефлекс ночного бомбардировщика: ему кажется, что война еще не кончилась и он летит бомбить Кенигсберг, который давно уже восстал из своих руин и, незаметно смягчив в советской транскрипции готическую остроугольность своего названия, превратился в Калининград.

В сталинские времена за один этот его запоздалый рефлекс могли посадить на десять лет. Но в наше чудесное время его только остановил автоинспектор, потому что он, согласно своему запоздалому рефлекс-

су, старался выжать из своих «Жигулей» самолетную скорость.

Кемал затормозил. Ему бы дотерпеть, пока автоинспектор подойдет, и показать ему книжку внештатного корреспондента журнала «Советская милиция». Но он, затормозив, уснул за рулем столь безмятежным сном, что его разбудили только утром в помещении автоинспекции.

Но тут уже в игру вступил сам начальник автоинспекции Абхазии. Пока нарушитель спал, был составлен образцово-показательный акт, и, когда Кемал, проснувшись, все еще исполненный своего несокрушимого благодушия, попытался показать свою магическую книжку, у начальника хватило самолюбия не ретироваться.

Кемала лишили водительских прав чуть ли не на полгода. При этом издевательски оставили при нем удостоверение внештатного корреспондента журнала «Советская милиция», в данной комбинации теряющее всякий смысл. Однако он, будучи человеком крайне ленивым по части ходьбы, с таким наказанием никак не мог смириться.

Тут-то мы и обратились за помощью к дяде Сандро. Дядя Сандро свел его с князем Эмухвари. Князь Эмухвари в недалеком прошлом работал директором фотоателье, но к этому времени, как говорят спортсмены, сгруппировался и открыл свою частную фото-контору.

Конечно, Кемал знал князя и до этого. Но как человек, основную часть своей жизни проведший в Центральной России, где если и оставались еще кое-какие аристократы, они не проявляли ни малейшего желания приближаться к военным аэродромам, на которых или возле которых проходила его жизнь, — впрочем, если б они и проявили такое странное желание, кто бы их подпустил туда? — и вот он, будучи человеком крайне флегматичным, с некоторым консерватизмом реакции на жизненные впечатления, решил, что с влиянием аристократии в стране давно покончено, и не придавал никакого значения своему знакомству с князем.

И тут дядя Сандро, как любимец самой жизни, указал ему на его чересчур отвлеченное понимание законов истории.

Начальник автоинспекции оказался выходцем из деревни, где княжил до революции один из дальних родственников нашего князя. Видно, хорошо княжил, потому что и такого родства было достаточно. Дело быстро уладили.

Пару слов о флегматичности Кемала, так как потом я об этом могу забыть. Конечно, он флегма, но слухи о его флегматичности сильно преувеличены. Так, сестра моя, например, рассказывает, что, когда он звонит по телефону, особенно по утрам, она по долгим мыкающим звукам узнает, что на проводе Кемал. И она якобы говорит ему:

— Кемальчик, соберись с мыслями, а я пока сварю себе кофе.

И она якобы успевает сварить и снять с огня кофе, пока он собирается с мыслями, а иногда даже поджарить яичницу. Я думаю, с яичницей преувеличение, а турецкий кофе, конечно, можно приготовить, пока он собирается с мыслями.

Он, безусловно, флегма, но если его как следует раскошегарить, он становится неплохим рассказчиком. Мне смутно мерещится, что он заговорит в этом нашем повествовании, но не скоро, а так, поближе к концу. Так что наберемся терпения. Вообще, имея дело с Кемалом, прежде всего надо набраться терпения.

...Ах, как я хорошо помню его первый послевоенный приезд в наш дом! Он приехал тогда еще стройный, бравый офицер с толстенькой веселой хохотуш-

кой-женой и бледно-голубым грустным томиком стихов Есенина.

Я, конечно, уже знал стихи Есенина, но — видеть их изданными, держать в руках этот томик?! Книжка тогда воспринималась, как бледная улыбка выздоровления тяжело больной России.

Помню непрерывный смех его жены-хохотушки и погромыхивание его хохота, когда я, тогдашний девятиклассник, прочитал ему собственную «Исповедь», которую я написал немедленно после чтения «Исповеди» Толстого, не только потрясенный ею и даже не столько потрясенный ею, сколько удивленный открывшейся мне уверенностью, что у меня не меньше оснований исповедоваться.

Кемал устроился работать на одном из наших аэродромов, потом они что-то там с хохотушкой-женой не поладили и разошлись. Жена его уехала в Москву, а Кемал женился еще раз, уже окончательно. К этому времени стало ясно, что насчет томика Есенина я ошибался.

После XX съезда, когда кинулись искать абхазскую интеллигенцию и выяснилось, что она почти полностью уничтожена Берией, а национальную культуру вроде надо бы двигать, Кемала срочно вытащили с аэродрома и назначили редактором местного издательства, где он довольно быстро дослужился до главного редактора. Он был для этого достаточно начитан, имел неплохой вкус и хорошо чувствовал абхазский язык.

У него было несколько столкновений с начальствующими писателями, и я его предупредил, что это плохо кончится.

— Ограничь свою задачу, — сказал я ему, уже будучи газетным волчонком, — помощью молодым талантливым писателям. Не мешай начальствующим, иначе они тебя сожрут.

Он посмотрел на меня своими темными воловьими глазами, как на безумца, который предлагает посадить за штурвал самолета необученного человека только потому, что этот человек — начальник. И напрасно.

Примерно через год он написал обстоятельную рецензию на книгу одного начальствующего писателя, доказывая, что книга бездарна. Тот поначалу не очень удивился его рецензии, считая, что рукой рецензента двигает могучая противоборствующая группировка. В провинции у власти всегда две противоборствующие группировки.

И лишь через год, установив, что Кемал с противоборствующей группировкой даже не знаком, начальствующий писатель забился в падучей гнева. Однако, оправившись, он взял себя в руки и стал систематически напускать на него своих интриганов-холуев. Благодаря могучему флегматичному устройству характера Кемала он года два отбивался и отмахивался от этих интриг, как медведь от пчел. А потом все же не выдержал и заколол в сторону аэродрома, где, к этому времени растолстев и потеряв взлетную скорость, устроился диспетчером.

И так как он до сих пор там работает, мы вернемся к нашему сюжету, то есть к нашему походу в ресторан «Амра» (верхний ярус) после успешного династического давления князя Эмухвари на не вполне марксистскую психику начальника автоинспекции.

Может создаться впечатление, что Кемал повел всех угощать. Но это совершенно ошибочное впечатление. Кемал так устроен, что тот, который делает ему доброе дело, считает для себя дополнительным удовольствием еще и угостить его.

Такова особенность его обаяния. В чем ее секрет? Я думаю, придется возвратиться к Пизанской башне. В отличие от этой башни, которую мы вспомнили действительно случайно, а теперь якобы случайно

к ней возвращаемся, сама фигура Кемала, мощная, низкорослая, вместе с его спокойным, ровным голосом, раскатистым смехом, обнажающим два ряда крепких зубов, производит впечатление исключительной устойчивости, прочности, хорошо налаженной центровки.

Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры и которую я сейчас открыл и даю ей название — комплекс Пизанской башни. (Прошу зафиксировать приоритет советской науки в этом вопросе.)

Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть, и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все еще держится.

И вот человек с этим пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, еще есть явления и люди прочные, крепкие, надежные. И человека временно отпускает гнет его пизанского комплекса, и он отдыхает в тени Кемала и, естественно, старается продлить этот отдых.

Вот так мы шли в ресторан «Амра», когда у самого входа встретили тогда еще неизвестного фотографа Хачика. Увидев князя, он раздраженно дощелкал своих клиентов и бросился обнимать его с радостью грума, после долгой разлуки встретившего своего любимого хозяина. Хачик был так мал, словно постарел, не выходя из подросткового возраста и тем самым как бы сохранив право на ревность.

И, конечно, он поднялся с нами в ресторан и уже никому не давал платить, в том числе и Кемалу, если бы, конечно, ему пришлось в голову пытаться платить.

Во время застолья Хачик несколько раз провозглашал красноречивые тосты за своего бывшего директора и говорил, что за сорок лет у него ни до этого, ни после этого не было такого директора.

Князь Эмухвари снисходительно посмеивался. В своих дымчатых очках он был похож на итальянского актера времен неореализма, играющего роль голливудского актера, попавшего в итальянский городок, где его помнят и любят по старым картинам.

Я пытался выяснить у него, чем ему так полюбился князь-директор, но Хачик, с гневным удивлением взглянув на меня, махал рукой в сторону князя и кричал:

— Хрустальная душа! Простой! Простой!

Правда, когда князь вышел, Хачик, видимо, пытаясь отвязаться от моих расспросов, сказал:

— За пять лет работы князь ни разу ни у одного фотографа деньги не попросил! Что надо — получал! Но сам не просил! Простой! А другие директора, не успеешь вечером прийти в ателье, вот так трясут: деньги! А он простой! Ни разу не попросил! Хрустальная душа!

Дядя Сандро так прокомментировал его слова:

— Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий.

И дядя Сандро, конечно, прав. Простота есть безусловное следствие сознания внутренней полноценности. Неудивительно, что это сознание чаще, хотя и не всегда, свойственно людям аристократического происхождения. Мещанин всегда непрост, и это — следствие сознания внутренней неполноценности. Если же он благодаря особой одаренности перерастает это сознание, он прост и естествен, как Чехов.

Однако вернемся к нашим застольям. Все началось с бутылки армянского коньяка и кофе по-турец-

ки, ну, а потом, как водится, пошло. За время застолья Хачик раз десять фотографировал нас в разных ракурсах при одном неперемennom условии: чтобы в центре фотографии оказывался князь. Иногда он к нам присоединял кофевара Акопа-ага.

Этот высокий старик с коричневым лицом, как бы иссушенным кофейными парами и долгими странствованиями по Ближнему Востоку, откуда он репатрировался, время от времени присаживался к нашему столу и заводил речь об армянах. Его горячий армянский патриотизм был трогателен и комичен. По его словам, получалось, что армяне — ужасный народ, потому что ничего хорошего не хотят делать для армян. Его горькие претензии к армянам обычно начинались с Тиграна Второго и кончались Тиграном Петросяном, по легкомыслию, с его точки зрения, прошаляпившим шахматную корону. Этот вроде бы не очень грамотный старик знает историю Армении, как биографию соседей по улице.

Сейчас он присел за наш столик, рассеянно прислушиваясь к беседе, чтобы собраться с мыслями и встать в очередную паузу.

— Теперь возьмем, — начал Акоп-ага, дождавшись ее, — футбольную команду «Арабат». С теперешним тренером армяне никогда не будут чемпионами. Папазян взял и поставил хавбек. Но Папазян когда бил хавбек? Папазян родился форвард и умрет форвард. А он его поставил хавбек. Почему? Потому что пришел на поле растущий Маробян. Хорошо, да, растущий Маробян поставь на место Папазяна, но Папазян зачем надо хавбек? Папазян переведи на правый край, он одинаково бьет и с правой, и с левой. А правый край поставь хавбек или скажи: «Иди домой, Ленин-акан!» — потому что пользы от него нету, где бы он ни стоял. Вот это неужели сам не мог догадаться? Я ему написал, но разве этот чатлах меня послушает? Даже не ответил. Вот так армяне топят друг друга.

Продолжая поварчивать на тренера, Акоп-ага собрал пустые чашки из-под выпитого кофе, поставил их на поднос и ушел за стойку.

Во время застолья речь зашла о знаменитых братьях Эмухвари, деревенских родственниках князя. Дело началось с кровной мести. Три брата Эмухвари, отчаянные ребята, около семи лет, пока их всех не убили, держали в страхе кенгурийскую милицию. Это было в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Позже, на политических процессах тридцать седьмого года, почему-то о них вспомнили, и они посмертно проходили на этих процессах как английскими шпионами.

— Но как они могли быть английскими шпионами, — сказал дядя Сандро, — когда эти деревенские князья даже не знали, где Англия?

Князь улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. И вот в связи с этим делом братьев Эмухвари дядя Сандро рассказал свою историю.

— Вот вы думаете, — начал он, разглаживая усы, — что я своих всегда защищаю, а эндурцев ругаю. Но это неправильно. Я, как Акоп-ага, страдаю душой за наших. И потому я говорю: и раньше, в старые времена, у абхазцев было немало дурости, из-за которой народ наш страдал, и сейчас среди абхазцев не меньше дурости, только теперь она имеет другую форму.

Раньше главная дурость была — это кровная месть. Некоторые роды полностью друг друга уничтожали из-за этого. Нет, я не против кровной мести, когда надо. Это было полезно. Почему? Потому что человек, который против другого человека плохое задумал, знал, что тот человек, против которого он задумал плохое, сам на себе не кончается. За него отомстят его родственники. И это многие плохие дела останавливало, потому что знали: человек сам на себе не кончается.

Но иногда даже стыдно сказать, из-за каких глупостей начиналась кровавая месть. Над Чегемом в трех километрах от нашего дома жила прекрасная семья Баталба. Это было еще лет за пятьдесят до моего рождения. И семья эта дружила с родом Чичба из села Кутол. Обе семьи дружили и любили друг друга, как близкие родственники.

Каждый год, когда чичбовцы перегоняли скот на альпийские пастбища, они по дороге останавливались у своих кунаков, несколько дней там кутили, веселились, а потом дальше в горы гнали стадо. Благодаря была, такое время было.

И вот однажды остановились в доме своих кунаков, а вместе с ними был их гость. Он болел малярией, и они взяли его на альпийские луга, чтобы он там окреп и избавился от своей болезни. Тогда так было принято.

И вот они остановились у баталбовцев, хозяин зарезал быка, и они дня два кутили, а когда собрались в дорогу, он им навьючил на осла две хорошие бычьи ляжки.

И это очень не понравилось старшему из чичбовцев, он был строгий старик. Но он ничего не сказал и уехал со своими, погнал стадо в горы. Теперь, почему не понравилось? Потому что, по нашим обычаям (тогда соблюдали, сейчас кто вспомнит?), когда у тебя хороший гость и ты ему что-то зарезал и вы это зарезанное покушали, в дорогу нельзя давать от того, что уже зарезали. Надо специально резать что-нибудь еще, чтобы дать в дорогу. Так было принято.

Баталбовцы тут, конечно, сделали ошибку. Потому что отнесли к чичбовцам, как к близким людям, и дали им две бычьи ляжки от быка, которого уже кушали. Но они забыли, что вместе с чичбовцами был их гость, который, конечно, промолчал, но он не мог не знать, что эти две ляжки от уже зарезанного быка, которого они кушали. И чичбовцам, особенно старшему, было стыдно перед гостем за эти ляжки от быка, которого они уже кушали.

И вот они едут в горы, гонят перед собой сотни овец и коз, а старший чичбовец долго молчал, но наконец не выдержал.

— Эти баталбовцы, — сказал он, — оказывается, нас за людей не считают! Как нищим, бросили нам остатки со своего стола! Но они об этом пожалеют!

Гость, конечно, пытался его успокоить, но тот затаил обиду. И вот так у них пошло. А баталбовцы, между прочим, ничего не подозревают, потому что в те времена сплетни не было и им никто ничего не сказал. Они, бедные, думают: хорошо встретили гостей, хорошо проводили. Какой там хорошо! Но они ничего не знали: сплетни не было тогда еще среди абхазцев.

И вот опять представители этих семей встречаются на одном пиршестве. И тут молодой баталбовец опять допускает ошибку. Когда начали петь, так получилось, что лучших певцов собрали в одном месте. И этот молодой баталбовец оказался рядом с тем старым чичбовцем, который уже считал себя оскорбленным, а теперь этот молодой баталбовец запел возле него. И это было ошибкой, конечно.

Молодой должен был спросить у старого чичбовца: — Не беспокоит ли мое пение вас? Может, мне отойти подальше?

И тогда старый ответил бы ему скорее всего:

— Ничего, сынок, пой. Лишь бы нас хуже пения ничего не беспокоило.

Так обычно говорят. Но этот молодой баталбовец ничего не сказал, потому что про старую обиду не знал, а сейчас и подвыпил и считал этого старика как своего близкого человека.

И вот каждую ошибку отдельно еще, видно, можно

было перетерпеть, а две эти ошибки вместе взорвали старика, как атомная бомба.

— Что ты мне в ухо поешь! — оказывается, крикнул старик. — Да вы, баталбовцы, я вижу, совсем нас за людей не считаете!

С этими словами он выхватил кинжал и убил на месте этого юношу. Тут, конечно, крик, шум, женщины. Кое-как загасили, но разве такое надолго можно загасить? Через два дня старика убил отец этого юноши.

И вот так у них пошло. Разве это не дурость? В таких случаях или находят старые, почтенные люди из обоих сел и они собирают лучших представителей обоих родов и примиряют их. Или один из родов не выдерживает и, как рой из улья, покидает родное село и переселяется куда-нибудь подальше. Или они друг друга уничтожают.

И так получилось, что от баталбовцев остались четыре брата и мать. И в семье чичбовцев тоже остались четыре брата и мать. Но у чичбовцев младший брат был еще слабенький — тринадцать лет ему было. И больше ни у той, ни у другой семьи не было близких родственников. Только очень дальние.

И вот так они живут уже лет десять. Никто никого не трогает, и многие решили, что наконец, может быть, через стариков уладят между собой это дело.

А, между прочим, выстрел был за баталбовцами. И вдруг в то лето самый яростный, самый храбрый из баталбовцев, Адамыр, ушел со скотом на летние пастбища, а другие три брата остались дома. И это могло быть признаком, что баталбовцы хотят мира, мол, вот мы самого сильного нашего парня послали на альпийские луга, мы хотим мира, мы не боимся за свой дом.

Но чичбовцы поняли это по-другому. Нервы у них не выдержали. Чем ждать выстрела от наших врагов, решили они, воспользуемся тем, что Адамыр ушел на летние пастбища, убьем этих трех братьев, потом убьем Адамыра и, наконец, спокойно заживем.

И они так и сделали. Неожиданно напали на дом баталбовцев, убили трех братьев и угнали весь скот, который оставался дома. А один из чичбовцев, самый смелый, пошел в горы, чтобы опередить горевестника и там убить Адамыра.

Но Адамыр в это время покинул пастухов и ушел охотиться на туров. И там, у ледников, оставался два дня. А этот чичбовец целый день подстерегал его, не понимая, почему его нет среди остальных пастухов. К вечеру он подошел к балаганам, где жили пастухи, и спросил у них, куда делся их товарищ.

И пастухи, конечно, почувствовали, что дело плохо, но что там внизу случилось, они не знали. Они сказали этому чичбовцу, что Адамыр ушел через перевал в гости к своему кунаку-черкесу и вернется только через неделю. Чичбовцу ничего не оставалось делать, и он ушел вниз, в Абхазию. Ничего, думает, нас четыре брата, а он теперь один.

И вот на следующий день, в полдень, приходит горевестник и рассказывает пастухам, какое страшное горе случилось внизу. И пока пастухи думали, как подготовить Адамыра, он сам показался на горе и стал спускаться к балаганам.

С туром на плечах, сам, как тур, спускается к балаганам и издает крик: мол, почему вы меня не встречаете? Радуетесь удачной охоте, не знает, что его ждет. И вот он уже близко от балаганов, метрах в тридцати, и пастухи медленно идут навстречу, а он кричит и не понимает, почему пастухи не бегут. Обычно в таких случаях положено помочь удачливому охотнику. Но они не подбегают.

И вдруг он видит среди них чегемца и чувствует, что пастухи ему не радуются. И он останавливается метрах в десяти от них и смотрит на человека, поднявше-

гося из Чегема, и чувствует страшное и боится этого. Наконец сбрасывает с плеч тура и спрашивает:

— Что дома?

И горевестник рассказывает ему об этом ужасе. И пастухи говорят, что один из чичбовцев приходил и спрашивал его.

— Передай,— сказал Адамыр горевестнику,— что через два дня, отомстив за братьев, приду их оплакать. А если не приду, значит, и меня вместе с ними оплачьте!

И не сходя с места зарядил свое ружье, повернулся, перешагнул через убитого тура и пошел вниз. Трехдневный путь прошел за одни сутки, догнал того чичбовца, который приходил за ним. Убил его, взвалил на плечи, как тура, и, пройдя еще километров десять до ближайшего жилья, крикнул хозяина, чтобы он сохранил труп от осквернения до прихода родственников, и, положив его у ворот, пошел дальше.

Уже к рассвету он подошел к дому чичбовцев, поджег коровник, и, когда коровы стали мычать, пытаясь выбежать из огня, братья выскочили из дому. Двух старших Адамыр убил, а младшего, совсем еще мальчика, не стал убивать, а связал ему руки и сказал матери:

— Твои сыновья уничтожили моих братьев. Я последнего твоего сына не буду убивать, но он всю жизнь будет моим рабом. Властям пожалуетесь, на месте убью, а потом что хотят пусть делают.

Итак, он, отомстив за своих братьев, пригнал бедного мальчика к гробам своих братьев и оплакал их, держа одной рукой веревку, к которой был привязан мальчик. И он дал слово братьям до смерти держать рабом последнего чичбовца. Мальчика звали Хазарат.

И люди дивились этому случаю. Некоторые хвалили Адамыра, что он не убил мальчика, некоторые сердились, что он хочет сделать из него раба, а некоторые говорили, что это он сгоряча так решил, а потом остынет и отпустит мальчика.

Но он его не отпустил и около двадцати лет держал в сарае на цепи, как раба. Нашим чегемским старикам это очень не понравилось, но они ничего не могли с ним поделать. Такой он был яростный, одичавший человек. Если бы он жил в самом Чегеме, они бы его, конечно, изгнали из села, но он жил в стороне и никому не подчинялся. Они только ему передали, чтобы он не появлялся в Чегеме.

А власти в те времена вообще на это мало внимания обращали. Если в долинном селе кровник убивал врага и не уходил в лес, его арестовывали. Если уходил в лес, его даже не искали. Но если кто-то убивал полицейского или писаря, они во что бы то ни стало старались найти убийцу и наказать его. А тут еще бедная мать Хазарата боялась, что он убьет его, и никому не жаловалась.

Адамыр так и не женился, потому что абхазцы стыдились отдавать за него своих дочерей, хотя он несколько раз сватался.

— А как отдашь за него дочь,— рассуждали они,— приедешь в гости к дочери, а там раб. А зачем мне это?

И так они жили много лет, а потом умерла мать Адамыра, и они остались вдвоем — Адамыр и его раб Хазарат.

Несколько раз в году бедная мать Хазарата посещала своего сына, приносила ему хачапури, жареных кур, вино. Все это Адамыр ей разрешал. Еще он ей разрешал один раз в году стричь ему волосы и бороду и три раза в году разрешал ей купать его. И так, бывало, мать придет к сыну, дня два посидит возле него, поплачет и уедет.

И вот, когда мне исполнилось восемнадцать лет, я решил освободить Хазарата. Вообще, когда человек

молодой, ему всегда хочется освободить раба. Несмотря на молодость, я был уже тогда очень хитрый. Но как освободить? Адамыр больше чем на один день никуда не уезжал. А когда уезжал, собаки никого близко к дому не подпускали.

И вот я потихоньку от домашних сошелся с Адамыром. Если бы отец узнал об этом, он бы меня выгнал из дому. Он Адамыра вообще за человека не считал. Наши абхазцы знали, что есть рабство, и иногда турки нападали и уводили людей в рабство, но чтобы абхазец сам у себя держал раба, этого не знали. И вот я постепенно сошелся с Адамыром, делая вид, что интересуюсь охотой, а про раба не спрашивал. Охотник он был редкий, что такое усталость и страх, не понимал. И вот уже мы с ним несколько раз были на охоте, уже собаки ко мне привыкли и он тоже привык. Потому что хотя и свирепый человек, но скучно все время одному.

И однажды перед охотой он мне говорит:

— Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.

— Хорошо,— говорю, как будто не интересуюсь Хазаратом.

И он мне дает котел молока и полчурека.

— А ложку,— говорю,— не надо?

— Какую ложку,— кричит,— слей молоко ему в корыто и брось чурек!

И вот я, наконец, вхожу в этот сарай. Вижу, в углу на кукурузной соломе сидит человек, одетый в лохмотья, с бородой до пояса, и глаза сверкают, как два угля. Страшно. Рядом с ним вижу длинное корыто, а с этой стороны под корыто камень подложен. Значит, наклонено в его сторону. Из этого я понял, что Адамыр тоже к нему слишком близко не подходит. Я уже слышал, что Хазарат однажды, когда Адамыр слишком близко к нему подошел, напал на него, но Адамыр успел вытащить нож и ударить. Рана на Хазарате зажила быстро, как на собаке, но с тех пор Адамыр стал осторожнее. Об этом он сам людям рассказывал.

Я сливаю Хазарату молоко в корыто и говорю ему: — Лови чурек!

Я так говорю ему, потому что неприятно человеку на землю хлеб бросать, а подойти, конечно, боюсь.

Бросаю. Он — хап! — поймал на лету, и тут я услышал, как загремела цепь. К ноге его была привязана толстая цепь.

Он начал кушать чурек и иногда, наклоняясь к корыту, хлебать молоко. Это было ужасно видеть, и я окончательно решил его освободить. Особенно ужасно было видеть, как он хлебает молоко, жует чурек и иногда смотрит на меня горящими глазами, а стыда никакого не чувствует, что при мне все это происходит. Привык. Человек ко всему привыкает.

И так все это длится несколько месяцев, я все присматриваюсь, чтобы устроить побег Хазарата. И боюсь, чтобы Адамыр про это не узнал, и боюсь, чтобы мои домашние не узнали, что я хожу к Адамыру.

И теперь уже Адамыр ко мне привык и каждый раз перед охотой говорит:

— Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.

И я его кормлю. Он ему кушать давал то же самое, что сам ел. Только в ужасном виде. Молоко и мацони сливал в корыто, а если резал четвероногого — бросал ему кусок сырого мяса. Возле него лежало несколько кусков каменной соли, какую скоту дают у нас.

Сейчас, как я слышал, некоторые дураки из образованных кушают мясо в сыром виде. Думают, полезно. Но люди тысячелетиями варили и жарили мясо, неужели они бы не догадались кушать его в сыром виде, если б это было полезно?

Теперь, что делал Хазарат? Он делал только два дела. Он молол кукурузу, руками крутил жернова. Они рядом с ним стояли. От этого у него были могучие руки. И еще он плел корзины. Прутья ему сам Адамыр приносил. Эти корзины Адамыр продавал в Анастасовке грекам, потому что чегемцы у него ничего не брали.

За несколько месяцев Хазарат ко мне привык, и хотя глаза у него всегда сверкали, как угли, я знал, что он меня не тронет, и близко к нему подходил. Он с ума не сошел и разговаривал, как человек.

И однажды я встретил его бедную мать и тогда еще больше захотел его освободить. Она постелила полотенце на кукурузной соломе, положила на него курятину, хачапури, поставила бутылку с вином и два стакана.

Мы с ним ели вместе, хотя мне, честно скажу, было это неприятно. А как может быть приятно кушать, когда рядом яма, где он справлял свои телесные дела? Правда, рядом с ямой деревянная лопаточка, которой он все там засыпает. Но все же неприятно. Но я ради его матери сел с ним кушать. А бедная его мать, пока я рядом с ним сидел, все время гладила меня по спине и сладким голосом приговаривала:

— Приходи почаще, сынок, к моему Хазарату, раз уже мы попали в такую беду. Ему же, бедняжке, скучно здесь... Приходи почаще, сынок...

А в это время Адамыр в другом конце сарая стругал ручку для мотыги. Оказывается, он услышал ее слова.

— А мне тоже скучно без моих братьев,— сказал он, не глядя на нас и продолжая ножом стругать ручку для мотыги.

— Эх, судьба,— вздохнула старушка, услышав Адамыра.

И я вдруг почувствовал, что мне всех жалко. В молодости это бывает. И Хазарата жалко, и Адамыра жалко, и больше всех жалко эту старушку.

Особенно мне ее жалко стало, когда я увидел в тот день, что она стирает и латает белье Адамыру. Она ему старалась угодить, чтобы он смягчился к ее сыну. Но он уже не мог ни в чем измениться.

Однажды на охоте Адамыр мне сказал:

— Некоторые думают, что я держу раба для радости. Но раба держать нелегко, и радости от него нет. Иногда ночью просыпаюсь от страха, что он сбежал, хотя умом знаю, что он сбежать не мог. За одну ночь о жернов нельзя перетереть цепь. Я уже проверил. А днем я всегда замечу, если он ночью цепь перетирал. Да если и перетрет, куда убежит? Сарай заперт. А если выйдет из сарая, собаки разорвут. И все-таки не выдерживаю. Беру свечу, открываю дверь в сарай и смотрю. Спит. И сколько раз я его ни проверял, никогда не просыпается. Так крепко спит. А я просыпаюсь каждую ночь. Так кому хуже — мне или ему?

— Тогда отпусти его,— говорю,— и тебе полегчает.

— Нет,— говорит,— я перед гробом братьев дал слово. Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву.

И вот, значит, я приглядываюсь, присматриваюсь, как освободить Хазарата. Сарай, в котором он привязан, из каштана. На дверях большой замок, а ключ всегда в кармане у Адамыра. Но он изредка уезжал на день или на ночь. И я так решил: сделаю подкоп, напильником перепилю ему цепь, выведу его, чтобы собаки не разорвали, и отпущу на волю. А потом, когда Адамыр вернется, если будет бушевать, я ему подскажу, что, наверное, мать Хазарата принесла ему напильник в хачапури, а подкоп он сам устроил своей деревянной лопатой и от собак как-то отбилась. Я, конечно, знал, что он мать Хазарата не тронет.

Вот так я решил, и однажды Адамыр мне сам на охоте говорит:

— Слушай, Сандро, приди ко мне завтра вечером и покорми собак. Мне надо завтра ехать в Атары, я приеду послезавтра утром.

— Хорошо,— говорю.

И вот на следующий день еле дождался вечера. Наши все поужинали и легли спать. Тогда я тихонько встал, взял из кухни фонарь, напильник и пошел к дому Адамыра.

Иду, а самому страшно. Боюсь Адамыра. Боюсь — может быть, он что-то заподозрил о моих планах, притаился где-то и ждет. И я решил до того, как начинать подкоп, обшарить его дом. А если он дома и спросит, что я так поздно пришел, скажу: вспомнил, что собаки не кормлены.

Собаки за полкилометра, почуяв человека, с лаем выскочили навстречу, но, узнав меня, перестали лаять. Я вошел во двор Адамыра, огляделся как следует, потом зашел на кухню, оттуда в кладовку, потом обшарил все комнаты, но его в доме не было.

Тогда я прошел на скотный двор и увидел, что там лежат его три коровы. Вошел в коровник, повыше поднял фонарь и увидел, что там пусто. Тогда я вернулся на кухню, достал чурек, которым собирался кормить собак, но не стал их кормить, а набил кусками чурека оба кармана. Я это сделал для того, чтобы передать чурек Хазарату. Чтобы, когда мы выйдем из сарая и собаки начнут нападать, он им кидал чурек и этим немного собак успокаивал.

Потом я снова вошел в кладовку, снял со стены корзину, которой собирают виноград, вышел на веранду с корзиной и фонарем и, подняв лопату Адамыра, пошел к сараю, где сидел Хазарат.

Теперь, для чего корзина? Виноградная корзина, она узкая и длинная, для того, чтобы потом, когда прокопаю ход, всю землю перетащить в сарай.

Если землю не перетащить в сарай, Адамыр догадается, что Хазарату кто-то помогал снаружи. И через это он может меня убить.

Ставлю фонарь на землю и начинаю копать точно в том месте, где была привязана цепь с той стороны сарая. Копаю, копаю и удивляюсь, что Хазарат не просыпается. В самом деле, думаю, крепко спит. Наконец, все же проснулся.

— Кто ты? — спрашивает, и слышу, как зашевелился в кукурузной соломе.

— Это я, Сандро,— говорю.

— Что надо?

— Прокопаю,— говорю,— тогда узнаешь.

И вот через час я раздвинул рукой кукурузную солому, осторожно поставил фонарь и сам вылез в сарай.

Хазарат сидит, и глаза, вижу, горят, как у совы.

— Вот,— говорю,— напильник. Мы перепилим цепь, и ты уйдешь на волю.

— Нет,— мотает он головой,— Адамыр со своими собаками меня все равно выследит.

— Не выследит,— говорю,— ты за ночь уйдешь в другое село, а там он и след потеряет.

— Нет,— говорит,— я отвык ходить. Далеко не смогу уйти. А близко он со своими собаками меня все равно поймает.

— Не поймает,— говорю,— а если ты боишься идти один, я пойду с тобой до Джерды и спрячу тебя там у наших родственников. Потом я вернусь к себе домой, а ты пойдешь, куда захочешь.

— Нет,— говорит,— я так не хочу.

— Тогда что делать? — говорю.

Он думает, думает, а глаза горят — страшно.

— Если хочешь мне помочь,— наконец говорит он,— принеси метра два цепь. Мы привяжем ее к этой цепи, и больше мне ничего не надо.

— Зачем,— говорю,— тебе это?

— Я немножко буду ходить по ночам и привыкну. А потом ты мне поможешь убежать.

— Но ведь он проверяет твою цепь,— говорю,— он сам мне рассказывал.

— Нет,— говорит,— первые пятнадцать лет проверял, а теперь уже не проверяет.

Сколько я его ни уговаривал бежать сейчас — не согласился. И тогда я решил сделать, что он просит.

— Топор,— говорит,— принеси, чтобы сдвинуть кольца.

И вот я среди ночи почти бегу домой, залезаю в наш сарай, достаю из старой давилки, где лежит всякий хлам, цепь, примерно такую, как он просил. Возвращаюсь назад, беру топор Адамыра на кухонной веранде и вползаю в сарай. Пока я ходил, он перепилил напильником свою цепь и распилил два кольца с обеих сторон. Я даже удивился, как он быстро все успел. У него были могучие руки от ручной мельницы.

Он взял мою цепь, вставил ее с обеих сторон в кольца, а потом, поставив эти кольца на жернов, обухом топора сдвинул их концы, чтобы ничего не видно было.

— Больше,— говорит,— ничего не надо. Иди! Когда ноги мои окрепнут, я тебе дам знать.

— Может,— говорю,— оставь тебе напильник?

— Нет,— говорит,— больше ничего не надо! Все! Все! Иди! Только с той стороны как следует землю затопчи, чтобы хозяин ничего не заметил.

И вот я, взяв топор и фонарь, осторожно вылезаю наверх. И потом быстро, быстро заваливаю землю в дыру, а потом как следует затаптываю ее, чтобы ничего не было заметно. Собаки крутятся возле меня, но, думаю, слава богу, собаки говорить не умеют. И тут я вспомнил, что у меня в карманах чурек, и разбрасываю его собакам.

В последний раз с фонарем хорошенько осмотрев место, где копал, понял, что ничего не заметно, стряхнул с лопаты всю землю и отнес ее вместе с топором и корзиной назад. Все положил туда, где лежало, и так, как лежало. Потушил фонарь и бегом домой. Дома тоже, слава богу, никто ничего не заметил.

И вот проходит время, а я пока сам побаиваюсь идти к Адамыру. Прошло дней пятнадцать—двадцать. Однажды брат Махаз, он в тот день с козами проходил недалеко от усадьбы Адамыра, говорит:

— Сегодня весь день были собаки Адамыра.

— Это и раньше бывало,— говорят наши,— он иногда уходит на охоту с одной собакой, а другие скучают.

И так об этом забыли. А через неделю слышим, женщина кричит откуда-то сверху, и крик этот приближается к нашему дому. Все, кто был дома, вышли, но никто ничего не может понять.

Крик женщины означает горе. Но он идет прямо с горы над верхнечегемской дорогой, а там никто не живет. Мы с отцом и двумя братьями, Кязымом и Махазом, быстро поднимаемся навстречу голосу женщины. Минут через пятнадцать встречаем мать Хазарата. Щеки разодраны, идет без дороги, по колючкам, ничего не видит. Смотрит на нас, но ничего не может сказать, только рукой показывает в сторону дома Адамыра.

Мы бежим туда, я не знаю, что думать, но все-таки поглядываю на Кязыма, потому что он прихватил с собой винтовку. Вбегаем во двор, а собак почему-то не видно и не слышно.

Я первым открыл сарай. Дверь была просто прикрыта. И вот что мы видим. Мертвый Адамыр лежит на спине, и лицо у него ужасное от страдания, которое он испытал перед смертью. Вся шея в синих пятнах, и голова, как у мертвой курицы, повернута.

А Хазарат лежит на кукурузной соломе, руки сложил на груди, а лицо спокойное-спокойное, как у святого. Он был до того худой, что отец сдернул цепь с его ноги, она уже не держалась. И тогда я вдруг вспомнил слова Адамыра: «Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву».

Так и получилось, как он говорил.

— Видно,— сказал мой отец,— Адамыр забылся и слишком близко подошел к Хазарату. А тот кинулся на него и задушил. И потом сам умер от голода, потому что некому было дать ему поесть.

Только я один знал, почему это случилось. Но, конечно, никому ничего не сказал. Между прочим, отец мой, царство ему небесное, был настоящий хозяин. Таких сейчас нет вообще. Несмотря на этот ужас, который мы увидели, он узнал свою цепь! Вижу, вдруг приподнял одной рукой и смотрит, смотрит на свет — там было узкое окно без стекла, — ничего не может понять. Он хочет повыше поднять цепь, чтобы разглядеть как следует, а цепь привязана, не идет. А он сердится, и мне смешно, хотя страшное рядом. Потом отбросил и пожал плечами.

И тут неожиданно снаружи раздался выстрел.

Выбегаем и видим: Кязым стоит возле скотного двора и стреляет в собак Адамыра. Одну за другой убил шесть собак. Оказывается, собаки, одурев от голода, напали в загоне на собственную корову, разодрали ее и съели. А потом убили еще двух коров, хотя уже скушать их не могли. Вот так одна дикость дает другую дикость, а эта дикость дает третью дикость.

Бедную мать Хазарата сопровождали в ее село вместе с телом сына. Несчастного Адамыра тоже предали земле рядом с его братьями, и на этом кончился его род, заглох окончательно когда-то большой, хлебосольный дом. А потом и дом вместе с сараем постепенно растащили какие-то люди.

И вот с тех пор я много думал про Хазарата. Я думал: почему он в ту ночь не ушел со мной? И я понял, в чем дело. Он боялся, что если уйдет, то не сумеет отомстить. А меня обманул, что разучился ходить. Он ходить мог, но, зная, что Адамыр всегда вооруженный и собаки могут пойти по следу, не хотел рисковать.

Он хотел удлинить цепь и неожиданно прыгнуть на Адамыра и задушить его своими могучими руками, а больше он ни о чем не думал. Он не думал, что умрет с голоду, не думал, что сам освободиться не сможет, он только думал об одном — отомстить за свое унижение. И тогда я понял: раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно — отомстить, затоптать того, кто его топтал. Вот так, дорогие мои, раб хочет только отомстить, а некоторые глупые люди думают, что он хочет свободу, и через эту ошибку многое получалось, — закончил дядя Сандро свою сентенцию и с далеко идущим намеком разгладил усы.

Кемал расхохотался, а князь многозначительно кивнул головой в мою сторону, дескать, учись мудрости у дяди Сандро.

— А то, что этих бедных князей Эмухвари обвинили как английских шпионов,— добавил дядя Сандро,— это просто глупость. Они даже не знали, что есть такая страна Англия. А я был в Англии в тридцатых годах вместе с ансамблем Панцулая. Нас возили по стране, и я заметил, что Англия — неплохая страна. Прекрасные пастбища я там заметил, но овец почему-то не было. А для коз Англия не годится. Коза любит заросли колючек, кустарники любит, а овца любит чистые пастбища. Не пойму, почему они овец не разводят.

— Разводят,— сказал я, чтобы успокоить дядю Сандро.

— А-а-а,— кивнул дядя Сандро удовлетворенно,— значит, послушались меня. Лет двадцать тому назад сюда приезжал английский писатель по имени Пристли. Ты слышал про такого?

— Да,— сказал я.

— Читал?

— Да,— сказал я.

— Ну как?

— Да так, дядя Сандро,— сказал я,— ничего особенного.

Дядя Сандро засмеялся не совсем приятным для меня смехом.

— Я уже заметил,— сказал дядя Сандро,— вот эти пишущие люди интересно устроены, никогда про другого ничего хорошего не скажут. А вот я, когда танцевал в ансамбле, всегда признавал, что Пата Патарая — первый танцор, хотя на самом деле я уже лучше него танцевал... Но дело не в том. Этому При-



стли тогда у нас прекрасную встречу устроили. Показали ему лучший санаторий, показали ему самого бодрого должителя, самый богатый колхоз, и меня, конечно, с ним познакомили. Я был тамадой за столом. И он сидел рядом со мной, вернее, между нами сидела переводчица. И мы с ним разговорились. Я ему тогда сказал, что был в Англии и видел там хорошие пастбища, но овец не видел. И я ему подсказал, чтобы английские фермеры овец разводили.

— А он что? — спросил я.

— А он,— отвечал дядя Сандро,— сказал: хорошо, я им передам. И еще он вот что сказал. Фермерам, говорит, я передам про овец. Но у нас в парламенте и так слишком много овец сидит. Значит, критикует свое правительство. Тогда я понял, почему его так хорошо у нас встречают. А теперь я у тебя спрашиваю: ты, находясь в чужой стране, хотя бы про обком можешь сказать, что там козы сидят? При этом учти, что козы умнее овец.

— Нет,— сказал я.

— Э-э-э,— сказал дядя Сандро.

Князь улыбнулся, а Кемал расхохотался. Хачик отскочил от стола и с колена запечатлел эту картину.

Мы выпили по рюмке. Акоп-ага принес свежий кофе, и, когда снял чашечки с подноса и приподнял его, поднос сверкнул на солнце, как щит. Акоп-ага присел за стол и, поставив поднос на колени, придерживал его руками и, время от времени постукивая по нему ногтем, прислушивался к тихому звону.

Кемал обычно посещал другие значные места и поэтому плохо знал Акопа-ага. Мне захотелось, чтобы он послушал ставшую уже классической в местных кругах его новеллу о Тигранакерте.

— Акоп-ага,— сказал я,— я долго думал, почему Тигран Второй, построив великий город Тигранакерт, дал его сжечь и разграбить римским варварам? Неужели он его не мог защитить?

И пока я у него спрашивал, Акоп-ага горестно кивал головой, давая знать, что такой вопрос не может не возникнуть в любой мало-мальски здоровой голове.

— О, Тигранакерт,— вздохнул Акоп-ага,— все пиль и пепель... Это был самый красивый город Востокам. И там били фонтаны большие, как деревьям. И там били деревьям, на ветках которых сидела персидская птица под именем павлинка. И там по улицам ходили олени, которые, видя мужчин, вот так опускали глаза, как настоящие армянские девушкам. А зачем? Все пиль и пепель.

Может, Тигранакерт бил лучи, чем Рим и Вавилон, но мы теперь не узнаем, потому что фотокарточкам тогда не било. Это случилось в шестьдесят девятом году до нашей эры, и, если б Хачик тогда жил, он бил би безработным или носильщиком... Фотографиям тогда вобще не знали, что такой.

Но разве дело в Хачике? Нет, дело в Тигране Втором. Когда этот римский гётферан Лукулл окружил Тигранакерт, Тигран взял почти все войска и ушел из города. Тигран-джан, зачем?!

Это бил великая ошибка великого царя. Тигранакерт имел крепкие стен, Тигранакерт имел прекрасная вода, такой соук-су, что стакан залпом никто не мог выпить, и Тигранакерт имел запас продуктам на три года и три месяца! А зачем? Все пиль и пепель!

Тигран-джан, ты мог защитить великий город, но надо было сначала вигнать всех гётферанов-греков, потому что они оказались предателями. Зачем грекам армяне? И они ночью по-шайтански открыли воротам, и римские солдаты все сожгли, и от города остался один пиль и пепель.

А пока они окружали его, что сделал Тигран? Это даже стыдно сказать, что он сделал. Он послал отряд, который прорвался в город, но вивиз что? Армянский народ, да? Нет! Армянских женщины и детей? Да? Нет! Вивиз свой гарем, своих пилядей, вот что вивиз! Это даже стыдно для великого царя!

О, Тигран, зачем ты построил Тигранакерт, а если построил, зачем дал его на сжигание римским гётферанам?! Все пиль и пепель!

...Пока он излагал нам историю гибели Тигранакерта, к нему подошел клиент и хотел попросить кофе, но Хачик движением руки остановил его, и тот, удивленно прислушиваясь, замер за спиной Акопа-ага.

— Сейчас проси! — сказал Хачик, когда Акоп-ага замолк, скорбно глядя в непомерную даль, где мирно расцветал великий Тигранакерт с фонтанами большими, как деревья, с оленями застенчивыми, как девушки, и с греками, затаившимися внутри города, как внутри троянского коня.

— Два кофе можно? — спросил человек, теперь уже не очень уверенный, что обращается по адресу.

— Можно,— сказал Акоп-ага, вставая и кладя на поднос пустые чашки,— теперь все можно.

Немного поговорив о забавных чудачествах Акопа-ага, мы вернулись к рассказу дяди Сандро о Хазарате.

Версия дяди Сандро о причине, по которой Хазарат отказался уходить с ним, была оспорена Кемалом.

— Я думаю,— сказал Кемал, отхлебывая кофе и поглядывая на дядю Сандро темными глазами,— твой Хазарат за двадцать лет настолько привык к своему сараю, что просто боялся открытого пространства, хотя, конечно, и мечтал отомстить Адамыру. Вообще природа страха бывает удивительна и необъяснима.

Помню, в сорок четвертом году наш аэродром базировался в Восточной Пруссии. Однажды я со своим другом Алешей Старостиным пошел прогуляться подальше от нашего поселка. Мы с ним всю войну дружили. Это был великолепный летчик и прекрасный товарищ. Мы с ним на книгах сошлись. Мы были самые читающие летчики в полку, хотя, конечно, и выпить любили, и девушек не пропускали. Но сошлись мы на книгах, а в ту осень увлекались стихами Есенина, и у нас у обоих блокноты были исписаны его стихами.

И вот, значит, погода прекрасная, мы гуляем и проходим через какие-то немецкие хуторки. Дома красивые, но людей нет, почти все сбежали. На одном хуторке мы остановились возле такого аккуратенького двухэтажного домика, потому что около него росла рябина вся в красных кистях.

И вот, как сейчас вижу его, Алеша с хрустом нагибает эту рябинку — не выдержала его русская душа, — и сам он весь хрустящий от ремней и молодости, такой он перед моими глазами, обламывает две ветки и отпускает дерево.

Одну ветку протягивает мне, и мы стоим с этими ветками, поклевываем рябину и рассуждаем о том, где же располагались батраки, если кругом помещичьи дома.

И вдруг открывается дверь в этом доме, и оттуда выходит старик и зовет нас:

— Русс, заходить, русс, заходить!

Вообще-то нас предупреждали, чтобы мы насчет партизан были начеку, но мы ни хрена не верили в немецких партизан. Да и откуда взяться партизанам в стране, где каждое дерево ухожено, как невеста?

— Пошли?

— Пошли.

И вот вводит нас старик в этот дом, мы поднимаемся наверх и входим в комнату. Смотрю, в комнате две женщины — одна совсем девушка лет восемнадцати, а другая явно юнгфрау лет двадцати пяти. Я сразу глаз положил на ту, которая постарше, она мне понравилась. Но для порядка говорю своему дружку, я же его знаю как облупленного:

— Выбери, какая тебе нравится?

— Молоденькая, чур, моя! — говорит.

— Идет!

Видю, и они обрадовались нам, оживились.

— Кофе, кофе, — говорит юнгфрау.

— Я, я, — говорю.

По-немецки значит «да».

И вот она нам приготовила кофе, надо сказать, кофе был паршивейший, вроде из дубовых опилок сделанный. Но что нам кофе? Молодые, очаровательные девушки, вижу, на все готовы. И старик, конечно, не против. Они боялись наших, и заручиться дружбой двух офицеров значило обезопасить себя от всех остальных.

Одним словом, посидели так, и я говорю:

— Абенд. Консервы. Шнапс. Брод. Шоколад.

— О! — загорелись глаза у обеих. — Данке, данке.

Они, конечно, поголаживали. И вот мы вечером приходим, приносим с собой спирт, консервы, колбасу, хлеб, шоколад. Сидим, ужинаем, пьем. А старик, оказывается, в первую мировую войну был у нас в плену и немного говорит по-русски. Но лучше бы он

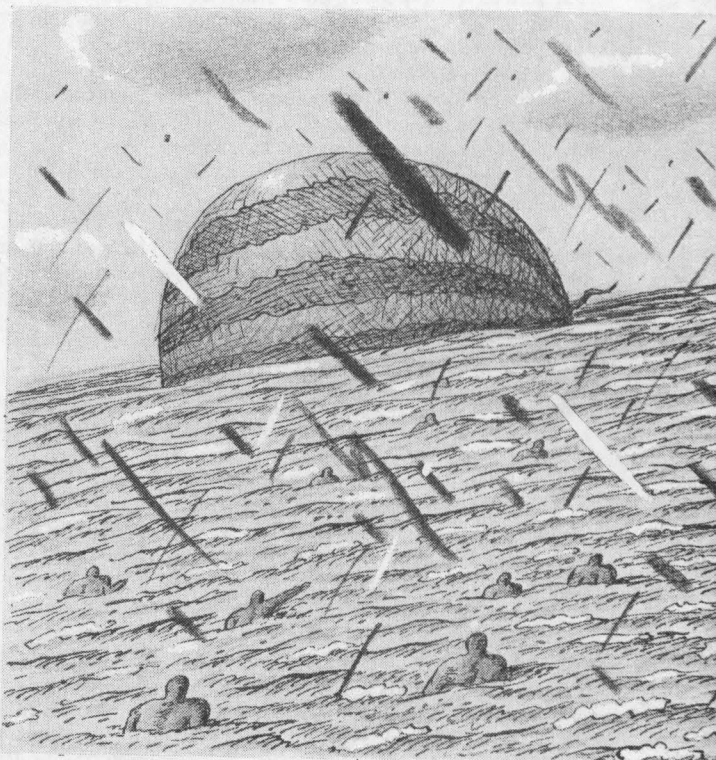
совсем не говорил. Пугается, хочет все объяснить, а на хрена нам его объяснения? И все доказывает, что он антифашист. Они теперь все антифашистами сделались, так что непонятно, с кем мы воевали столько времени.

То ли дело эти молодые немочки, все с полуслова понимают... Мы с Алешей выпили как следует, наши барышни тоже подвыпили, и мы пошли танцевать под патефон. На каждой пластинке написано «Нур фюр дойч» — значит, только для немцев. И я, когда ставлю пластинку, нарочно спрашиваю:

— Нур фюр дойч?

— Найн! Найн! — смеются обе.

Ну, раз найн — пошли танцевать. Наконец старик опьянел и уже стал молотить такую околесицу, что его и племянницы перестали понимать. Он был их дядей. А нам он еще раньше надоел. Так что мы обрадова-



лись, когда моя юнгфрау повела его вниз укладывать спать.

Теперь мы одни. Попиваем, танцуем, одним словом, кейфуем. Ну, я так слегка прижимаю мою немочку и спрашиваю:

— Нур фюр дойч?

— Шельма, шельма, — смеется она, — русиш шельма!

— Найн, — говорю, — кавказиш шельма.

— О, шёнсте Кауказ! — говорит.

Мы с Алешей остались на ночь в двух верхних комнатах. Так начался наш роман, который длился около двух месяцев, с перерывами, конечно, на боевые вылеты. Пару раз ребята из аэродромной службы сунулись было к нам, но, быстро оценив обстановку, ретировались. Свои ребята, сразу все усекли.

И вот мы приходим однажды к нашим девушкам. Мою звали Катрин, я ее Катей называл, а молоденькую звали Гретой...

Тут дядя Сандро перебил Кемала.

— Ты совсем русским стал, — сказал он, — зачем ты называешь имя своей женщины при мне?

— А что? — спросил Кемал.

— Вот до чего ты глупый, — сказал дядя Сандро, — ты же знаешь, что это имя моей жены. Надо было тебе изменить его, раз уж ты решил рассказывать при мне.

— Ну, ладно, — захохотал Кемал, — я ее больше не буду называть.

— Дурачок, — сказал дядя Сандро, — раз уж назвал, теперь некуда деться, рассказывай дальше.

— Так вот, — продолжал Кемал, поглядывая на дядю Сандро все еще смеющимися глазами, — однажды мы, как обычно, заночевали у наших подружек. Часа в три ночи просыпаюсь и выхожу из дома. Захотелось покурить на воздухе.

Вдруг слышу, подкатывает мотоцикл, останавливается, и двое, я их различаю по шагам, поднимаются в дом.

Вот, черт, думаю, попались, как идиоты! У меня пистолет под подушкой, а сам я стою за домом в трусах, майке и тапках. Трудно представить более глупую ситуацию. Да еще слегка под балдой. На ночь спирту тяпнули, конечно. Вот, думаю, смеялись про себя, когда нам говорили про бдительность и партизан, и нá тебе! Напоролись! Неужели наши подружки оказались предательницами? Нет, не могу поверить! И мне нравится моя... как там ее ни называй...

— Называй, называй, чего уж прятаться! — встал дядя Сандро.

— Да, — продолжал Кемал, — и мне нравится моя Катя, и я, чувствую, ей нравлюсь, а эти вообще без ума друг от друга. Значит, нас этот антифашист предал? И товарища бросить не могу, и буквально голым — ха! ха! — не хочется попадаться немцам в руки.

Ну, ладно, думаю, была не была! Высунул на улицу. Никого. Стоит немецкий мотоцикл с коляской. Подошел к двери, слышу, раздаются голоса, но ничего понять невозможно.

Единственно, что я понял, — голоса доносятся с той стороны, где спит мой товарищ. И я решил подняться и проскочить в свою комнату, пока они у Алексея. Главное — добраться до пистолета. Но, конечно, я понимал: если нас девушки предали — нам хана, потому что в этом случае моя сразу же должна была отдать им пистолет. Но делать нечего, тихо открываю дверь и быстро поднимаюсь по лестнице.

И вдруг слышу, из комнаты Алексея доносится русская речь! Сразу отпустило! Стою на лестнице и с удовольствием слушаю русскую речь, не понимая, о чем там говорят. И только примерно через полминуты очухался, начинаю улавливать интонацию. Слышу, очень резкий голос доносится. Ага, думаю, патруль. Ну, нас патрулями не испугаешь. Вхожу в комнату. Моя Катя, вижу, бледная, в ночной рубашке, стоит посреди комнаты и тихо говорит:

— Русиш командирен, русиш командирен...

Тогда я открываю дверь и сильным голосом кричу через лестничную площадку:

— Что там случилось, Алексей?!

— Да вы тут не один! — слышу голос, и потом распахивается дверь, и на площадке появляется какой-то майор, а за ним солдат.

— Безобразие! — говорит майор и оборачивается к Алексею, а тот уже одетый стоит в комнате. — Почему вы не сказали, что вы здесь не один?

Бедняга что-то залепетал. Видно, он решил хотя бы прикрыть меня, если уж сам попался.

— Потрудитесь одеться! — приказал майор.

А я вижу, этот майор — штабная крыса. Мы, фронтовики, с одного взгляда узнавали человека, который живого боя не видел, хоть увешивай его орденами до пупа.

И еще я вижу, мой Алексей, храбрейший летун,

четырежды раненный, дважды посадивший горящий самолет, дрожит перед этим дерьмом.

Вы ведь знаете, меня из себя трудно вывести, но тут я психанул.

— Товарищ майор, — говорю стальным голосом, — прошу вас немедленно покинуть помещение!

Вижу, растерялся, но форс держит. Оглядывается на Алексея, понимает, что он старший лейтенант, а по моему виду ни хрена не поймешь.

— Ваше звание? — спрашивает.

Я поворачиваюсь, подхожу к кровати, вытаскиваю из-под подушки пистолет и снова к дверям.

— Вот мое звание! — говорю.

— Вы бросьте эти замашки, — отвечает он, — сейчас не сорок первый год!

— Конечно, — говорю, — благодаря вашей штабной заднице сейчас не сорок первый год!

— Я вынужден буду доложить обо всем в вашу часть, — говорит и спускается вниз по лестнице. Солдат за ним.

— Докладывайте, — говорю, — а что вы еще умеете!

Они вышли. Мы молчим. Мотоцикл затарахтел и затих.

— Ты, — говорит Алексей, — с ним очень грубо обошелся. Теперь нас затаскают.

— Не бойся, — говорю, — нас с тобой достаточно хорошо знает наше начальство. Подумаешь, у немочек заночевали...

— Но ты же угрожал ему пистолетом, — говорит он, — ты понимаешь, куда он это может повернуть?

— А мы скажем, что он врёт, — отвечаю я, — скажем, что он сам хотел остаться с бабами и от этого весь сыр-бор. Чего это он в три часа ночи шныряет на мотоцикле?

— Конечно, — говорит Алексей, — теперь надо так держаться. Но ты напрасно нахальничал с ним.

Я-то понимаю, что ему теперь неловко перед своей Греточкой. Слов, конечно, они не понимали, но все ясно было и без слов: я выгнал майора, который заставил его одеться.

И я, чтобы смягчить обстановку, разливаю спирт, и мы садимся за стол. Сестрицы расщебетались, а Греточка поглядывает на меня блестящими глазами, и темная прядка то и дело падает на лоб. Хороша была, чертовка!

Одним словом, выпили немного и разошлись по комнатам.

— Майор гестапо? — спрашивает у меня Катя.

— Найн, найн, — говорю.

Этого еще не хватало. Но вижу — не верит.

Через день у нас боевой вылет. Я благополучно приземлился, поужинал в столовке со своим экипажем, а потом подхожу к Алексею, он почему-то сидит один, и говорю:

— Отдохнем и со свежими силами завтра к нашим девочкам.

Вижу, замаялся.

— Знаешь, Кемал, — говорит, — надо кончать с этим.

— Почему кончать? — спрашиваю.

— Затаскают. Потом костей не соберешь.

— Чего ты боишься, — говорю, — если он накапал на нас, уже ничего не изменишь.

— Нет, — говорит, — все. Я — пас.

— Ну, как хочешь, — говорю, — а я пойду. А что сказать, если Грета спросит о тебе?

— Что хочешь, то и говори, — отвечает и одним махом, как водку, выпивает свой компот и уходит к себе.

Он всегда с излишней серьезностью относился к начальству. Бывало, выструнится и с таким видом выслушивает наставления, как будто от них зависит,

гробанется он или нет. Я часто вышучивал его за это.

— Ты дикарь, — смеялся он в ответ, — а мы, русские, поджилками чужим, что такое начальство.

Ну что ж, вечером являюсь к своим немочкам. По дороге думаю: что сказать им? Ладно, решаю, скажу — заболел. Может, одумается.

Прихожу. Моя ко мне. А Греточка так и застыла, и только темная прядка, падавшая на глаза, как будто еще сильнее потемнела.

— Алеша?! — выдохнула она, наконец.

— Кранк, — говорю, — Алеша кранк.

Больной, значит.

— Кранк одер тотен? — строго спрашивает она и пытливо смотрит мне в глаза. Думает, убить, а я боюсь ей сказать.

— Найн, найн, — говорю, — грипп.

— О, — просияла она, — дас ист нихтс.

Ну, мы опять посидели, выпили, закусили, потанцевали. Моя Катя несколько раз подмигивала мне, чтобы я танцевал с ее сестрой. Я танцую и вижу, она то гаснет, то вспыхивает улыбкой. Стыдно ей, что она так чувствует. Ясное дело, девушка втрескалась в него по уши.

Моя Катя, как только мы остались одни, посмотрела на меня своими глубокими синими глазками и спрашивает:

— Майор?

Ну, как ты ей соврешь, когда в ее умных глазках вся правда. Я пожал плечами.

— Бедная Грета, — говорит она.

Забыл сейчас, как по-немецки.

— Ер либт, — говорю, — ер либт Грета!

— Я, я, — говорит она и что-то добавляет, из чего можно понять, что он любит, но страх сильнее.

— Майор папир? — спрашивает она и показывает рукой, мол, написал донос. Немцы хорошо все понимают.

Я опять пожал плечами, а потом показываю на дверь, говорю:

— Ер ист кранк... — Он больной, значит.

— Да говори ты прямо по-русски! — перебил его дядя Сандро. — Что ты обкаркал нас своими «кар! кар! кар!»?

— Так я лучше вспоминаю, — сказал Кемал, поглядывая на дядю Сандро своими невозмутимыми воловьими глазами.

— Ну ладно, говори, — сказал дядя Сандро, как бы спохватившись, что, если Кемал сейчас замолкнет, слишком много горячего уйдет, чтобы его снова раскочегарить.

— Да, м-м-м, — замыкал было Кемал, но довольно быстро нашел колено рассказа и двинулся дальше.

— Одним словом, я еще надеюсь, что он одумается. На следующий день встречаю его и не узнаю. За ночь почернел.

— Что с тобой? — говорю.

— Ничего, — говорит, — просто не спал. Как Грета?

— Ждет тебя, — говорю, — я сказал, что ты болен.

— Она поверила?

— Она да, — говорю, — но сестра догадывается.

— Лучше сразу порвать, — говорит, — все равно я жениться не могу, а чего резину тянуть?

— Глупо, — говорю, — никто и не ждет, что ты женишься. Но пока мы здесь, пока мы живы, почему бы не встречаться?

— Ты меня не поймешь, — говорит, — для тебя это обычная гулянка, а я первый раз полюбил.

Тут я разозлился.

— Мандраж, — говорю, — надо называть своим именем, нечего выпендриваться.

И так мы немного охладели друг к другу. Я еще пару раз побывал у наших подружек и продолжаю

врать Греточке, но чувствую, не верит и вся истаяла. Жалко ее, и нам с Катей это мешает.

Мне и его жалко. Он с тех пор замкнулся, так и ходит весь черный. А между тем нас никуда не тянут. И я думаю: майор оказался лучше, чем мы ожидали. Через пару дней подхожу к Алексею.

— Слушай, — говорю, — ты видишь, майор оказался лучше, чем мы думали. Раз до сих пор не капнул, значит, пронесло. Я же вижу, ты не в своей тарелке. Ты же гробанешься с таким настроением!

— Ну и что, — говорит, — неужто ребята, которых мы потеряли, были хуже, чем мы с тобой?

Ну, думаю, вон куда поплыл. Но виду не показываю. Мы, фронтовики, такие разговоры не любили. Если летчик начинает грустить и клевать носом — того и жди, заштопорит.

— Конечно, нет, — говорю, — но война кончается. Глупо погибнуть по своей вине.

Вдруг он сморщился, как от невыносимой боли, и говорит:

— Кстати, можешь больше не врать про мою болезнь. По-моему, я ее видел сегодня в поселке, и она меня видела.

— Хватит ерундить, — говорю, — пошли сегодня вечером, она же усохла вся, как стелек.

— Нет, — говорит, — я не пойду.

Теперь уже самолюбие и всякое такое мешает. Он очень гордый парень был и в воздухе никому спуска не давал, но и мандраж этот перед начальством у него был.

И вот я в тот вечер опять прихожу к девушкам со всякой едой и выпивкой. Подымаюсь наверх и не обращаю внимания на то, что нет большого зеркала, стоявшего в передней. Захожу в комнату, где мы обычно веселились, и вижу, обе сестрички бросаются ко мне. Но моя Катя как бешеная, а у Греточки личико так и полыхает радостью. У меня мелькнуло в голове, что Алексей днем без меня все-таки зашел.

— Майор ист диб! — кричит Катя, то есть вор, и показывает на комнату. — Майор цап-царап! Аллес цап-царап!

— Я, я, — восторженно добавляет Греточка, показывая на голую комнату — ни венских стульев, ни дивана, ни шкафа, ни гобелена на стене, один стол, — майор ист диб! Майор ист нихт гестапо! Заге Алеша! Заге Алеша!

Значит, скажи Алеше.

— Это возмущательно! — кричит старик. — Цап-царап домхен антифашистик!

Сейчас это звучит смешно, но тогда я впервые почувствовал, что кровь в моих жилах от стыда загустела и остановилась. Конечно, бывало всякое, и мы об этом прекрасно знали. Но одно дело, когда где-то кого-то грабят, а другое дело, когда ты знаешь этих людей, да еще связан с женщиной, которая рассчитывала на твою защиту. Никогда в жизни я не испытывал такого стыда.

А главное, Греточка вся расслаилась, глаза лучатся, невозможно смотреть. Она решила, что раз майор очистил их дом, значит, он не может быть энкеведешником, а раз так, Алеше нечего бояться. Как объяснить ей, что все сложнее, хотя майор и в самом деле был штабистом.

Так вот, значит, почему он шнырял в три часа ночи на мотоцикле: смотрел, где что лежит. Только поэтому и не накапал на нас.

Я сказал Грете, что обо всем расскажу Алеше, и старику соврал, что буду жаловаться на майора. Надо же было их как-нибудь успокоить. Девушки притащили откуда-то колченогие стулья, мы поужинали, и я со стариком крепко выпил.

На следующий день я все рассказал Алексею и вижу: он немного ожил.

— Хорошо,— говорит,— завтра пойдем попрощаемся. Кажется, на днях нас перебазировут.

Но мы так и не попрощались с нашими девушками. Нас перебазировали в ту же ночь. Новый аэродром находился в двухстах километрах от этого местечка.

Алексей все еще плохо выглядел, и меня не покидало предчувствие, что он должен погибнуть. И я, честное слово, облегченно вздохнул в тот день, когда его ранило. Рана была нетяжелая, и вскоре его отправили в госпиталь, в Россию.

На этот раз мы жили в небольшом городке. Однажды с ребятами вышли из кафе и поджидаем у входа товарища, который там замешкался.

— Кемал,— говорит один из ребят,— эта немочка с тебя глаз не сводит.

Я оглянулся, смотрю: шагах в пятнадцати от нас стоит немочка, приятная такая с виду, и в самом деле мне улыбается. Ясно, что мне. Я, конечно, слегка подшофе и тоже улыбаюсь ей как дурак и подхожу познакомиться.

Господи, это же Катя! Как это я ее сразу не узнал! Сейчас она была в пальто, в шапке, а я ее никогда такой не видел. Оказывается, она меня искала!

Ну, я прощаюсь с ребятами и снова захожу в кафе.

— Как Грета? — спрашиваю.

— О, Грета трауриг,— вздыхает она и качает головой.

Я объяснил ей, что Алеша ранен и отправлен в тыл. Мы переночевали в квартире у женщины, где она остановилась. Ночью она несколько раз плакала, вздыхала и повторяла:

— Шикзаль...

Значит, судьба. Я почувствовал, что она хочет что-то сказать, но не решаетесь. Утром, когда мы встали, она сказала, что беременна. Смотрит исподлобья своими внимательными, умными глазками и спрашивает:

— Киндер?

Ну, что я мог ей ответить?! Разве можно ей объяснить, что это посложнее, чем выгнать майора?!

— Найн,— отрезаю, и она опустила голову.

В тот же день мы расстались, и я ее больше никогда не видел. А с Алексеем мы увиделись через тридцать лет на встрече ветеранов нашего полка.

Мы все, приехавшие со всех концов страны ветераны, остановились в одной гостинице, где в тот вечер предстоял банкет во главе с нашим бывшим командиром полка, теперь генералом. Все это время я ничего об Алексее не знал, даже не знал, жив ли он.

Заняв номер, спустился к администратору и спросил у него, не приехал ли Алексей Старостин. Он посмотрел в свою книгу и кивнул: да, приехал, живет в таком-то номере.

Подымаюсь к нему, примерно часа за два до банкета. Смотрю: елки-палки, что время делает с нами! Разве я когда-нибудь узнал бы в этом облысевшем, как и я, человеке того молодого, как звон, красавца летчика в далеком сорок четвертом году, обламывавшего ветки прусской рябины в красных кистях! А он смотрит на меня и, конечно, не узнает: мол, что от меня хочет этот лысый толстяк? Я расхохотался, и тут он меня узнал.

— А-а-а,— говорит,— Кемал! Только зубастая пасть и осталась!

Ну, мы обнялись, поцеловались, и я его повел в свой номер. Я с собой привез хорошую «Изабеллу». Сидим, пьем, вспоминаем минувшие дни. И, конечно, вспоминаем наших немочек.

— Ах, Греточка! — говорит он, вздыхая.— Ты даже не представляешь, что это было для меня! Ты не представляешь, Кемал! Я потом демобилизовался, женился, летал на пассажирских, у меня, как и у тебя, двое взрослых детей. Сейчас работаю на-

чальником диспетчерской службы, пользуюсь уважением и у райкома, и у товарищей, а как подумаю, диву даюсь. Помнишь, у Есенина: «Жизнь моя? или ты приснилась мне?» Кажется, там, в Восточной Пруссии, в двадцать четыре года закончилась моя жизнь, а все остальное — какой-то странный, затянувшийся эпилог! Ты понимаешь это, Кемал?

И надо же, бедный мой Алексей прослезился. Ну, я его, конечно, успокоил, и тут он вдруг заторопился на банкет.

— Да брось ты, Алеша,— говорю,— посидим часок вдвоем. Наши места никто не займет, а они теперь на всю ночь засели.

— Ну что ты, Кемал,— говорит,— пойдем. В двадцать ноль-ноль генерал будет открывать торжественную встречу. Неудобно, пошли!

Ну, что ты ему скажешь? Пошли. Такой он был человек, а летчик был первоклассный, в воздухе ни хрена не боялся!

На этом Кемал закончил свой рассказ и оглядел застольцев, медленно переводя глаза с одного на другого.

— Слава богу, кончил,— сказал дядя Сандро,— еще бы немножко, и мы бы заговорили по-немецки!

Все рассмеялись, а князь разлил коньяк по рюмкам и сказал:

— И по работе он не так уж далеко ушел от тебя.

— Да,— сказал Кемал,— начальник диспетчерской службы, особой карьеры не сделал.

— Он не должен был бросать эту девушку, пока их не перевели в другое место,— сказал дядя Сандро и, чуть подумав, добавил: — А ты понял, почему он в последний раз согласился прийти попрощаться с ней?

— Ясно, почему,— ответил Кемал,— он понял, что майор на нас не накапал и, значит, за нами никто не следит.

— Дурачок,— в тон ему отозвался дядя Сандро,— твой же рассказ я тебе должен объяснять. Когда он согласился пойти попрощаться со своей девушкой, он уже знал, что в ту же ночь вас переведут в другое место.

— Нет,— засмеялся Кемал,— такие вещи держали в строгой секретности.

— Как нет, когда да! — возразил дядя Сандро.— Я же лучше знаю! Он вертелся возле начальства, и кто-то ему тихо сказал.

— Оставьте человека! — вступился за него князь, подымая рюмку.— Он, бедняга, и так наказан судьбой. Лучше выпьем за Кемала, угостившего нас хорошим фронтовым рассказом.

— Кто чем угощает, а Кемал рассказом,— уточнил дядя Сандро, насмешливо поглядывая на Кемала.— отбивает хлеб у своего дяди. Только «кар!» нам больше не надо!

— А мне жалко этого человека,— сказал маленький Хачик,— бедный, любил... Потому плакал... Если б не любил, не плакал...

— Да нет,— начал Кемал возражать, но, неожиданно замолкнув, сунул палец в ухо и стал с нескрываемым наслаждением прочищать его. Движения Кемала напоминали движения человека, пахтающего масло, или водопроводчика, пробивающего своей «грушей» засор в раковине умывальника.

Кемал довольно долго, морщась от удовольствия, прочищал таким образом ухо, полностью отключившись от присутствующих, что присутствующим почему-то было обидно. Дядя Сандро молча с укором глядел на него, как бы улавливая в его действиях еще четко не обозначенный абхазским сознанием, но уже явно раздражающий оттенок фрейдистского неприличия.

— Что нет?! — наконец не выдержал дядя Сандро.

Кемал преспокойно вынул палец из уха, оглядел его кончик, словно оценивая на глазок качество спехтанного масла, видимо, остался этим качеством доволен, потому что на лице его появилась гримаса безразличного недоумения, явно вызванная огорчительной разницей между удовольствием от самого процесса пахтания и прямо-таки убогим результатом его. С этим выражением он вытащил другой рукой из кармана платок, вытер им палец, сунул платок в карман и как ни в чем не бывало закончил фразу:

— ...Просто его слегка развезло от «Изабеллы», он чересчур приналег на нее...

Как и всякий мужчина, много увлекавшийся женщинами, Кемал не придавал им особого значения.

— Акоп-ага,— крикнул Хачик,— еще прошу по кофе!

— Сейчас будет,— ответил Акоп-ага, глянув в нашу сторону из-за стойки, на которой была расположена его большая жаровня с горячим песком для приготовления кофе по-турецки.

— Извини, пожалуйста,— сказал Хачик, обращаясь ко мне,— ты здесь самый молодой. Вон там арбузы привезли. Принеси два арбуза — хочу сделать фото: «Князь с арбузами».

— Да ладно,— сказал князь,— обойдемся без арбузов.

— Давай, давай,— вступился Кемал за Хачика,— это хорошая идея. Князь с арбузами, а мы с князем.

На том конце ресторанной палубы, уже как бы и не ресторанной, продавали арбузы. С детства мне почему-то всегда чудилось, что в арбузе заключена идея моря. Может, волнообразные полосы на его поверхности напоминали море? Может, совпадение времени — праздник купания в море с праздником поедания арбузов, часто на берегу, на виду у моря? Или огромность моря и щедрость арбуза? Или и там, и там много воды?

На трех помостах вышки для прыжков, бронзовые загаром и непрерывно галдя, толпились дети и подростки. Те, что уже прыгнули, что-то выкрикивали из воды, а те, что стояли на помостах вышки, что-то кричали тем, что уже барахтались в море.

Одни прыгали лихо, с разгону, другие медлили у края помоста, оглядывались, чтобы их не столкнули, или свою нерешительность оправдывали боязнью, что их столкнут.

И беспрерывно в воду летели загорелые ребячьи тела — головой, солдастиком, изредка ласточкой. Короткий, бухающий звук правильно вошедшего в воду тела и длинный, шлепающий звук неточного приведения с призвуком дошлепывающих ног. Постоим, полюбуемся, послушаем: бух! бух! шлеп! шлеп! перешлеп! бух!

Я тоже сюда приходил в наше предвоенное детство. Тогда здесь была совсем другая вышка для прыжков: она увенчивалась бильярдной комнатой, и самые храбрые из ребят докарабкивались до крыши бильярдной и прыгали оттуда.

Вглядываясь в те далекие годы, я вижу этих ребят, но не вижу среди них себя. Жалко, но не вижу.

Сюда, на территорию водной станции «Динамки», как мы тогда говорили, никого не пускали, кроме тех, кто посещал секции плавания и прыжков.

Но больше половины ребят ни в каких секциях не состояли и приходили сюда снизу, по брускам доплывая до плавательных мостков, а потом оттуда по железной лестнице наверх и на вышку. Так приходил сюда и я.

Но это было довольно утомительно: с берега по сваям и железным проржавевшим, иногда с острыми зазубринами перекадинам карабкаться метров восьмидесяти. Так что я иногда подолгу простаивал возле входа на водную станцию, которую стерегла груз-

ная и пожилая, как мне тогда казалось, женщина.

Дело в том, что почти ежедневно бильярдную посещал один парень с нашей улицы. Ему было лет двадцать, и звали его Вахтанг. Но почти все, и взрослые, и дети, называли его ласково-любовно — Вахтик.

Закончив играть, он покидал территорию водной станции деловито-праздничной походкой, как бы означающей: я только что закончил очень нужное и очень приятное дело и сейчас же возьмусь за другое, не менее нужное и не менее приятное дело. В эти минуты я старался стоять так, чтобы он меня сразу заметил, и он всегда меня сразу замечал. Заметив меня, он что-то с улыбкой говорил женщине, стерегущей проход, и она, расцветая от его улыбки, пропускала меня.

Иногда, когда я вот так дожидался его, он подкапывал откуда-то сзади, и я чувствовал его добрую руку, ласково лежащую на мою голову или шутиливо-крепко, как арбуз, сжимающую ее, и я при этом всегда старался улыбнуться ему, показывая, что мне нисколько не больно. Мы, не останавливаясь, проходили мимо стражницы, и она, расцветая от его улыбки, оживала до степени узнавания меня.

И тем более меня всегда удивляла тяжелая тоска ее неузнавания, когда его не было. Не то чтобы я просился, но я стоял возле нее, и она могла бы вспомнить, что я — это я, и пропустить меня. Ну, хорошо, соглашался я мысленно, пусть не пропускает, но пусть хотя бы узнает. Нет, никогда не узнавала. И стоило появиться Вахтангу, стоило положить ему руку на мою голову, как женщина оживлялась, словно включала лампочку памяти, и теперь мимоходом окидывала меня узнающим взглядом.

Я почему-то навсегда запомнил его летним, только летним, хотя видел его во все времена года. Вот он в шелковой, голубой рубашке навывпуск, в белых брюках, в белых парусиновых туфлях празднично ступает по деревянному настилу пристани, и рубашка на нем то свободно плещется, то мелко-мелко вскипает под бризом, и вдруг на мгновение прилипает к его стройному, крепкому телу.

И я вижу его — тогда так воспринималось, но оно и было таким — хорошее лицо с якобы волевым подбородком, но я уже тогда понимал, что его волевой подбородок смеется над самой идеей волевого подбородка, потому что он весь — воплощение достигнутого счастья или достижимого через пять минут: только выйдет через проход, а там уже его ждет девушка, а чаще девушки.

— Ах, извините, девушки, за-дер-жался! — говорил он в таких случаях и, вскинув руку, мимоходом бросал взгляд на часы, лихо сдвинутые циферблатом на кисть, и неудержимо смеялся, смеялся вместе с девушками, как бы пародируя своим замечанием образ жизни деловых людей.

Интересно, что Вахтанг и его друзья, целыми днями игравшие в бильярд на водной станции, почти никогда не купались. Чувствовалось, что это для них пройденный этап. Но однажды в жаркий день они вдруг гурьбой высыпали из своей бильярдной и, скинув фланелевые одежды, оказались стройными, мускулистыми, крепкими парнями.

Они буйно веселились, как великолепные животные неизвестной породы, прыгая с вышки то ласточкой, то деля сальто, переднее и заднее, то, выстрелив стойку на краю трамплина, вертикально протыкали воду. Видно, все они были спортсменами в какой-то предыдущей жизни.

Потом уже в воде играли в пятнашки. Ловко ныряли, прячась друг от друга, и я тогда впервые увидел, как Вахтанг под толщей воды плавает спиной, чтобы следить глазами за парнем, нырнувшим за ним.

Мощными, ракетными толчками, каждый раз заворачивающими его в пузырящееся серебро пены, он все дальше и дальше уходил в глубь зеленоватой воды, а потом исчезал.

Парень, гнавшийся за ним, вынырнул и, стоя на одном месте, озирался, стараясь не пропустить Вахтанга, когда он выскочит из глубины. Через долгое мгновение Вахтанг все же вынырнул за его спиной и, крикнув: «Оп!» — нахлобечил ему на шею горсть песка, поднятого со дна.

Ходила легенда, что Вахтанг однажды на спор прыгнул в море из окна бильярдной. Одно дело прыгать с плоской крыши, там есть небольшой разгон, а тут можно было, не дотянув до воды, запросто грануться о деревянный настил пристани. Вполне возможно, что он и в самом деле прыгнул из окна бильярдной, он был храбр легкой, музыкальной храбростью.

Вахтанг и его друзья весело бултыхались возле водной станции, а потом, как бы не сговариваясь, но подчиняясь какому-то инстинкту, всей стаей поплыли в открытое море, вернулись и один за другим, подтягиваясь на поручнях мускулистыми руками, пошлепывая друг друга, отряхивались, фыркали, подпрыгивали на одной ноге и мотали головой, чтобы выплеснуть воду из ушей, а потом с гогом, подхватив свои одежды, словно опаздывая на бильярд, как опаздывают на поезд, побежали наверх, громко стуча пятками по крутой деревянной лестнице.

Где они? Затихли, сгинули, отгуляв и откутив, а я их еще помню такими — кумиров нашей предвоенной золотой молодежи, в чьих аккуратных головках с затейливо подбритыми затылками еще миражировал образ Дугласа Фербенкса!

Семья Вахтанга жила на нашей улице не очень давно. При мне строился их маленький нарядный дом, при мне выросла живая ограда из дикого цитруса трифолиаты, при мне рядом с их домом вырос маленький домик, соединенный с основным общей верандой.

— Когда Вахтик женится... молодоженам, — обрывок разговора его отца с кем-то из соседей.

При мне в их саду возвели качели с двумя голубыми люльками.

— Когда у Вахтика будут дети...

Они жили втроем, отец, мать и сын. По представлениям обитателей нашей улицы, они были богачами. Добрыми богачами. Отец Вахтанга был директором какого-то торгового предприятия. Больше мы ничего о нем не знали. Да больше и не надо было знать, и вообще дело было не в этом.

По воскресеньям или после работы отец Вахтанга, надев на себя какой-то докторский халат и напялив очки, возился в своем маленьком саду. Он подвязывал стебли роз к подпоркам, стоя на стремянке, обрезал ненужные ветви фруктовых деревьев и усохшие плети виноградных лоз. Хотя отец Вахтанга был грузином, то есть местным человеком, в такие минуты он почему-то казался мне иностранцем.

В будни отец и сын часто встречались на улице. Отец возвращался с работы, а сын шел гулять. Обитатели нашей улицы, к этому времени высыпавшие на свои балкончики, крылечки, скамеечки, с удовольствием, как в немого кино, потому что слов не было слышно, следили за встречей отца и сына.

Судя по их позам, отец пытался остановить сына и осторожно выяснить, где и как он собирается провести вечер. И сын, все время слегка порываясь и в то же время с ироническим почтением склоняясь к отцу — угадывалось, что часть иронии сына относится к осторожным попыткам отца проникнуть в тайны его времяпрепровождения, — как бы говорил ему: «Папа, ну, разве можно останавливать человека,

когда он собирается окунуться в праздник жизни?»

Наконец, они расходились, и отец, улыбаясь, смотрел ему вслед, а сын, обернувшись, махал рукой и шел дальше. Интересно, что во время этих встреч сын никогда не просил у отца деньги. А ведь все знали, что Вахтанг во всех компаниях раньше всех и щедрее всех расплачивается. Было ясно, что в их доме никому и в голову не может прийти, что от сына надо прятать деньги. Было ясно, что для того отец и работает, чтобы сын мог красиво сорить деньгами.

Отпустив сына, отец шел дальше своей небыстрой, благостной походкой, устало улыбаясь и доброжелательно здороваясь со всеми обитателями улицы. Он шел, овеивая лица обитателей нашей улицы ветерком обожания.

— Мог бы, как нарком, на машине приезжать...

— Не хочет — простой.

— Нет, сердце больное, потому пешком ходит.

— Золото, а не человек...

Вероятно, на нашей улице были люди, которые завидовали или не любили эту семью, но я таких не знал. Если были такие, они эту зависть и нелюбовь прятали от других. Я только помню всеобщую любовь к этой семье, разговоры об их щедрости и богатстве. Так, старший брат моего товарища Христо, помогавший своему отцу в достройке вахтанговского дома, рассказывал сказочные истории о том, как у Вахтанга кормят рабочих. Поражало обилие и разнообразие еды.

— Один хлеб чего стоит! — говорил он. — Вот так возьмешь — от корки до корки сжимается, как гармошка. Отпустишь — дышит, пока не скушаешь!

Конечно, Богатый Портной тоже считался на нашей улице достаточно зажиточным человеком. Но в жизни Богатого Портного слишком чувствовалась грубая откровенность первоначального накопления.

Здесь было другое. Родители Вахтанга, видимо, были богаты достаточно давно и, во всяком случае, явно не стремились к богатству. Для обитателей нашей улицы эта семья была идеалом, витриной достигнутого счастья. И они были благодарны ей уже за то, что могут заглядывать в эту витрину.

Конечно, все они или почти все стремились в жизни к этому или подобному счастью. И все они были в той или иной степени биты и потасканы жизнью и в конце концов смирились в своих домах-пристанях или коммунальных квартирах. И они, любясь красивым домом, садом, благополучной жизнью семьи Вахтанга, были благодарны ей хотя бы за то, что их мечта не была миражем, была правильная мечта, но вот им просто не повезло. Так пусть хоть этим повезло, пусть хотя бы дадут полюбоваться своим счастьем, а они не только дают полюбоваться своим счастьем, от щедрот его и соседям немало перепадает.

Иногда поздно вечером, если я с тетушкой возвращался с последнего сеанса кино, мы неизменно видели, как отец и мать Вахтанга, сидя на красивых стульях у калитки, ждут своего сына.

Обычно между ними стоял тонконогий столик, на котором тускло зеленела бутылка с боржоми и возвышалась ваза с несколькими аппетитно чернеющими ломтями арбуза.

Взяв в руки ломоть арбуза и слегка наклоняясь, чтобы не обрызгаться, отец Вахтанга иногда ел арбуз, переговариваясь с тетушкой. Но главное — как он ел! В те времена он был единственным человеком, виденным мною, который ел арбуз вяло! И при этом было совершенно очевидно, что здесь все честно, никакого притворства! Так вот что значит богатство! Богатые — это те, которые могут есть арбуз вяло!

Обычно в таких случаях тетушка всегда заговаривала с ними на грузинском языке, хотя и они, и она прекрасно понимали по-русски. И это тогда так осо-

знавалось: с богатыми принято говорить на их языке. Поговорив и посмеявшись с ними, тетушка бодрее, чем обычно, хотя и обычно у нее достаточно бодро стучали каблучки, шла дальше. И это тогда понималось так: приобщенность к богатым, даже через язык, взбадривает. И еще угадывалось, что приток новых сил, вызванный общением с богатыми, надо благодарно им продемонстрировать тут же. Вот так они жили на нашей улице, и казалось, конца и края не будет этой благодати. И вдруг однажды все разлетелось на куски! Вахтанг был убит на охоте случайным выстрелом товарища.

Я помню его лицо в гробу, ожесточенное чудовищной несправедливостью, горестно-обиженное, словно его, уверенного, что он создан для счастья, вдруг грубо столкнули в такую неприятную, такую горькую, такую непоправимую судьбу.

И он в последний миг, грянувшись в эту судьбу, навсегда ожесточился на тех, кто, сделав всю его предыдущую жизнь непрерывной вереницей ясных, счастливых, ничем не замутненных дней, сейчас так внезапно, так жестоко расправился с ним за его безоблачную юность.

Казалось, он хотел сказать своим горько-ожесточенным лицом: если б я знал, что так расправятся со мной за мою безоблачную юность, я бы согласился малыми дозами всю жизнь принимать горечь жизни, а не так сразу, но ведь у меня никто не спрашивал...

Лица обитателей нашей улицы, которые приходили прощаться с покойником, выражали не только искреннее сочувствие, но и некоторое удивление и даже разочарование. Их лица как бы говорили:

— Значит, и у вас может быть такое ужасное горе?! Тогда зачем нам было голову морочить, что вы особые, что вы счастливые?!

Почему-то меня непомерностью горя подавила не мать Вахтанга, беспрерывно плакавшая и кричавшая, а отец. Застывший, он сидел у гроба и изредка с какой-то сотрясающей душу простотой клал руку на лоб своего сына, словно сын заболел, а он хотел почувствовать температуру. И дрожащая ладонь его, слегка поерзав по лбу сына, вдруг успокаивалась, словно уверившись, что температура не опасная, а сын уснул.

Отец не дожил даже до сороковин Вахтанга, он умер от разрыва сердца, как тогда говорили. Казалось, душа его кинулась догонять любимого сына, пока еще можно ее догнать. Тогда по какой-то детской закругленности логики мне думалось, что и мать Вахтанга вскоре должна умереть, чтобы завершить идею опустошения.

Но она не умерла ни через год, ни через два и, продолжая жить в этом запустении, стояла у калитки в черном, траурном платье. А годы шли, а она все стояла у калитки, уже иногда громко перекрикиваясь с соседями по улице и снова замолкая, стояла возле безнадежно запылившихся кустов трифолиаты, ограждающих теперь неизвестно что. Она и сейчас стоит у своей калитки, словно годами, десятилетиями ждет ответа на свой безмолвный вопрос:

— За что?

Но ответа нет, а может, кто его знает, и есть ответ судьбы, превратившей ее в непристойно располневшую, неряшливую старуху. Жизнь, не жестокость уроков твоих грозна, а грозна их таинственная недоговоренность!

Я рассказываю об этом, потому что именно тогда, мальчишкой, стоя у гроба, быть может, впервые пронзенный печалью неведомого Экклезиаста, я смутно и в то же время сильно почувствовал трагическую ошибку, которая всегда была заключена в жизни этой семьи.

Я понял, что так жить нельзя, и у меня была надежда, что еще есть время впереди и я догадаюсь,

как жить можно. Как маленький капиталист, я уже тогда мечтал вложить свою жизнь в предприятие, которое никогда, никогда не лопнет.

С годами я понял, что такая хрупкая вещь, как человеческая жизнь, может иметь достойный смысл, только связавшись с чем-то безусловно прочным, не зависящим ни от каких случайностей. Только сделав ее частью этой прочности, пусть самой малой, можно жить без оглядки и спать спокойно в самые тревожные ночи.

С годами эта жажда любовной связи с чем-то прочным усилилась, уточнялось само представление о веществе прочности, и это, я думаю, избавляло меня от многих форм суеты, хотя не от всех, конечно.

Теперь, кажется, я добрался до источника моего отращения ко всякой непрочности, ко всякому проявлению пизанства. Я думаю, не стремиться к прочности — уже грех.

От одной прочности к другой, более высокой прочности, как по ступеням, человек подымается к высшей прочности. Но это же есть, я только сейчас это понял, то, что люди издавна называли твердью. Хорошее, крепкое слово!

Только в той мере мы по-человечески свободны от внутреннего и внешнего рабства, в какой сами с наслаждением связали себя с несокрушимой Прочностью, с вечной Твердью.

Обрывки этих картин и этих мыслей мелькали у меня в голове, когда я выбирал среди наваленных арбузов и выбрал два больших, показавшихся мне безусловным воплощением прочности и полноты жизненных сил.

Из моря доносился щебет купающейся ребятни, и мне захотелось швырнуть туда два-три арбуза, но, увы, я был для этого слишком трезв, и жест этот показался мне чересчур риторичным. Вот так, когда нам представляется сделать доброе дело, мы чувствуем, что слишком трезвы для него, а когда в редчайших случаях к нам обращаются за мудрым советом, оказывается, что именно в этот час мы лыка не вяжем.

Подхватив арбузы, я вернулся к своим товарищам. Акоп-ага уже принес кофе и, упершись подбородком в ладонь, сидел задумавшись.

— Теперь мы сделаем карточку «Князь с арбузом», — сказал Хачик, когда я поставил арбузы на стол.

— Хватит, Хачик, ради бога, — возразил князь.

Но любящий неумолим.

— Я знаю, когда хватит, — сказал Хачик и, расставив нас возле князя, велел ему положить руки на арбузы и щелкнул несколько раз.

Мы выпили кофе, и Кемал стал резать арбуз.

Арбуз с треском раскалывался, опережая нож, как трескается и расступается лед перед носом ледокола. Из трещины выпрыгивали косточки. И этот треск арбуза, опережающий движение ножа, и косточки, выщелкивающие из трещины, говорили о прочной зрелости нашего арбуза. Так оно и оказалось. Мы выпили по рюмке и закусили арбузом.

— Теперь возьмем Микояна, — сказал Акоп-ага, — когда Хрущев уже потерял власть, а новые еще не пришли, бил такой один момент, что он мог взять власть... Возьми, да? Один-два года, больше не надо. Сделай что-нибудь хорошее для Армении, да? А потом отдай русским. Не взял, не захотел...

— Вы, армяне, — сказал князь, — можете гордиться Микояном. В этом государстве ни один человек дольше него не продержался у власти.

— Слушай, — с раздражением возразил Акоп-ага, — лаяй-лаяй, конференция мне не надо! Зачем нам его

виласть, если он ничего для Армении не сделал? Для себя старался, для своей семьи старался...

Акоп-ага, поварчивая, собрал чашки на поднос и ушел к себе.

— Когда он узнал, что я диспетчер,— сказал Кемал, улыбаясь и поглядывая вслед уходящему кофевару,— он попросил меня особенно внимательно следить за самолетами, летящими из Еревана. Он сказал, что армянские летчики слишком много разговаривают за штурвалом, он им не доверяет...

— Народ, у которого есть Акоп-ага,— сказал дядя Сандро,— никогда не пропадет!

— Народ, у которого есть дядя Сандро,— сказал князь,— тоже никогда не пропадет.

— Разве они это понимают? — сказал дядя Сандро, кивая на нас с Кемалом, вероятно, как на наилучших представителей народа.

— А что делать народам, у которых вас нет? — спросил Кемал и оглядел застольцев.

Воцарилось молчание. Было решительно непонятно, что делать народам, у которых нет ни Акопа-ага, ни дяди Сандро.

— Мы все умрем,— вдруг неожиданно крикнул Хачик,— даже князь умрет, только фотокарточки останутся! А народ, любой народ, как вот это море, а море никогда не пропадет!

Мы выпили по последней рюмке, доели арбуз и, поднявшись, подошли к стойке попрощаться с Акопом-ага.

— То, что я тебе сказал, помнишь? — спросил он у Кемала, насыпая сахар в джезве с кофе и на миг озабоченно вглядываясь в него.

— Помню,— ответил Кемал.

— Всегда помни,— твердо сказал Акоп-ага и, ткнув в песочную жаровню полдюжины джезвеев, стал, двигая ручками, поглубже и поуютнее зарывать в горячий песок медные ковшки с кофе.

Мы стали спускаться вниз. Я подумал, что Акоп-ага и сам никогда не пропадет. Его взыскующая любовь к армянам никому не мешает, и никто никогда не сможет отнять у него этой любви. Он связал себя с прочным делом и потому непобедим.

Примерно через месяц на прибрежном бульваре я случайно встретил Хачика. Мне захотелось повести его в ресторан и угостить в благодарность за фотокарточки. Часть из них князь передал Кемалу, а тот — мне.

Но Хачик меня не узнал, и — так как он уже был достаточно раздражен непонятливыми клиентами, которых он располагал возле клумбы с кактусами и все заталкивал крупного мужчину поближе к мощному кактусу, а тот пугливо озирался, не без основания опасаясь напороться на него,— я не стал объяснять, где мы познакомились.

Я понял, что он совсем как та женщина, стоявшая у входа на водную станцию «Динамо», видел нас только потому, что мы были озарены светом его возлюбленного князя Эмухвари. Я уже отошел шагов на десять, когда у меня мелькнула озорная мысль включить этот свет.

Я оглянулся. Маленький Хачик опять заталкивал своего клиента, большого и рыхлого, как гипсовый монумент, поближе к ошеренному кактусу, а тот сдержанно упирался, как бы настаивая на соблюдении техники безопасности. Женщины, спутницы монумента, не выражая ни одной из сторон сочувствия, молча следили за схваткой.

— Хрустальная душа! — крикнул я.— Простой, простой!

Хачик немедленно бросил мужчину и оглянулся на меня. Мужчина, воспользовавшись свободой, сделал небольшой шаг вперед.

— А-а-а! — крикнул Хачик, весь расслабившись ра-

достью узнавания.— Зачем сразу не сказал?! Этот гётферан мне совсем голову заморочил! Хорошо мы тогда посидели! Гиде князь?! Если увидишь — еще посидим! Ты это правильно заметил: хрустальная душа! Простой! Простой!

Я пошел дальше, не дожидаясь, чем закончится борьба Хачика с упорствующим клиентом. Я был уверен, что Хачик победит.

Море обаяния

— Тебе хорошо,— сказал мне как-то один мой московский коллега,— ты пишешь о маленьком народе. А нам куда трудней. Попробуй опиши многомиллионную нацию.

— Ты же из Смоленщины,— ответил я,— вот и пиши, как будто все начала и концы сходятся в Смоленской области.

— Не получится,— сказал он, немного подумав, и с придыханием добавил:— Тебе хорошо, хорошо... Всё горы, всё детство, всё Чегем... Да и редакторы к тебе снисходительней... Мол, всё это там, где-то на далёкой окраине происходит, ладно, пусть пишет.

Это ко мне снисходительны?! Лучше оставим эту тему. Но как объяснить, что у меня свои дьявольские трудности? Тем более эта несчастная склонность к сатире. Маленький народ... Как бы все друг друга знают, все приглядываются друг к другу: кого он изобразил на этот раз? И обязательно кого-нибудь угадывают или придумывают. А там жалобы, угрозы и тому подобное.

Я разработал целую систему маскировки прообразов. Деятелям районного масштаба сам лично перекрашиваю волосы, наращиваю усы или, в редких случаях, начисто сбрываю. Деятелям более крупного калибра — пластическая операция, не меньше!

Полная рокировка должностных лиц. Партийного бюрократа перевожу на место хозяйственного бюрократа, отчего некоторым образом проигрываю качество, но укрепляю собственную живучесть.

Все равно узнают или, что еще хуже, внушают кому-нибудь, что он узнан и оклеветан при помощи правды. Моих эндурцев тоже неправильно понимают. Это же не какая-нибудь определенная народность или жители определенной местечка — все мы порой бываем эндурцами. Иногда подолгу. Я, например, был чистейшим эндурцем, когда связал свою жизнь с писательским делом.

А что если перейти на Москву? Для пробы опишу один случай, а там посмотрим.

В тот день я был приглашен на литературный вечер. Я пытался было уклониться, но директриса студенческого клуба несколько раз повторила:

— Вас, именно вас больше всех ждут.

И я дрогнул: слаб человек, тщеславен. Каждый раз вот так заманивают, а потом видишь, что и писателей больше чем достаточно, да и тебя, собственно говоря, никто особенно не ждал.

Я сунул стихи в кожаную папку, застегнул «молнию» и вышел на улицу. Теплый августовский день близился к закату. Сидя на скамейке возле нашего дома, лифтерши мирно беседовали, время от времени рассеянно поглядывая на свои подъезды. Так пастухи в наших краях поглядывают на свое стадо: не слишком разбрелось? Нет, не слишком.

Наша лифтерша, заметив меня, спросила глазами: не поздно ли вернусь? Я мотнул рукой, сжимающей папку, показывая, что с такой штукой надолго не разгуляешься.

Я миновал переулочек и вышел на нашу узкую, но бойкую улицу. С машиной мне сразу не повезло. Все

такси оказывались заняты, а леваки почему-то не брали. Впереди, шагах в двадцати от меня, стояла компания из четырех человек. Они тоже, ожидая попутной машины, голосовали, но и их никто не брал.

Вдруг я поймал радостный взгляд человека, идущего навстречу мне по кромке тротуара. Взгляд его был настолько родственно-узнающим, требующим немедленного общения, что я растерялся. Я никак не мог припомнить этого человека. Писатель из наших домов? Поэт? Прозаик? Мне ничего не оставалось, как выразить взглядом не менее радостное узнавание, одновременно стараясь не промахнуться и не выдать, что я не могу его припомнить.

По его возбужденному взгляду и нарастающему счастью приближения я понял, что дело рукопожатием не ограничится. Так и оказалось. Мы расцеловались, и тем горячее я ответил на его поцелуй, чтобы скрыть свое постыдное неузнавание. Отчмокавшись, он откинул голову и посмотрел на меня с поощрительной радостью. Тут я догадался, что этот человек прочел только что опубликованный мной рассказ и сейчас будет делиться со мной впечатлениями. Я приготовился проявить мудрую снисходительность к похвалам.

— Видал? — спросил он, — Гришу в «Известиях» напечатали.

— Да? — кисло удивился я. — Очень приятно.

Какой Гриша? Что за Гриша? Сын! Мелькнула догадка. Видно, одна из модных в наше время писательских династий. Вывел сына на орбиту и радуется.

— Ты представляешь! — воскликнул он. — Опубликовали, и так широко!

— А сколько ему лет? — спросил я, полагая, что такую подробность его семейной жизни я имел право не знать.

— Грише? — удивился он. — Сорок семь!

Видимо, лицо мое что-то выразило, но он это не так понял.

— Да ты что, думаешь, Гриша все еще пьет?! — воскликнул он победно. — Бросил! Бросил! Два года в рот не берет — и вот тебе результаты! Я так рад за него, так рад! Сейчас иду лечить Джуну, Джуну подзаболела...

— Так вы экстрасенс! — сказал я, как бы окончательно вспоминая его.

— Почему экстрасенс? — удивился он и с улыбкой добавил: — Экстрасенсу лечиться у экстрасенса все равно, что цыганке гадать у цыганки. Я обыкновенный врач... Да вы что, забыли? Мы же десять лет назад сидели у Гриши. Он тогда у себя в коммуналке выставил свои картины. А сегодня четыре репродукции дали в «Известиях». Я так рад за него, так рад!

И тут я все вспомнил. Да, да, так оно и было. Действительно, десять лет назад я сидел у этого милого художника, и там в самом деле был этот врач. Меня так и обдало теплом. Какое счастье, что в мире существуют люди, способные так радоваться чужим успехам! Наконец мы распрощались с этим человеком, и он полетел дальше.

Настроение у меня значительно улучшилось. Я решил, что такая встреча к добру. Однако машина все не попадалась. Боясь опоздать на вечер, я решил обойти компанию, стоявшую впереди меня, благо никакой стоянки тут не было. Легко преодолевая легкие укоры совести, я прошел мимо них, пересек квартал и почти на самом углу остановил пустое такси.

Водитель согласился меня взять, но кивком головы показал, что ему надо переехать перекресток. Светофор мигнул, таксист переехал перекресток и остановился. Теперь он был гораздо ближе к тем парням, которые стояли впереди меня. Один из них стал подходить к такси.

Я тоже двинулся к такси и вдруг почувствовал всю сложность своего положения. С одной стороны, я уже договорился с таксистом, а с другой стороны, я обогнал тех, что стояли впереди меня. Но, с третьей стороны, здесь вообще никакой стоянки нет и я мог оказаться впереди них, если б дом мой был в следующем квартале. Если б...

И я решил уступить: все-таки они стояли впереди меня. Тогда зачем я продолжал идти? Возможно, надеялся, что таксист их не возьмет, если место, куда они едут, его не устраивает. И такое бывает. А возможно, подсознательно я хотел насладиться скромным благородством своего отказа.

Когда я поравнялся с такси, большой мордатый парень из этой компании, наклонившись к шоферу со стороны улицы, что-то ему говорил. По-видимому, шофер ему ответил, что машина уже занята.

— Ничего, шляпа подождет, — громко сказал мордатый, явно имея в виду меня, хотя я был без шляпы и никогда ее не носил.

Тут что-то вспыхнуло во мне, что со мной бывает крайне редко. Видимо, сыграло роль, что я готовился к благородному акту передачи такси. Я сказал, что за хамство можно и в морду схлопотать. Парень молча обошел машину и сел рядом с шофером, даже не взглянув на источник угрозы, что источнику угрозы было довольно обидно.

Такси тронулось, и парень отъехал к своим друзьям. Я снова перешел перекресток и в начале следующего квартала стал дожидаться попутной машины. Но не дождался и пошел вперед. Я боялся опоздать. Метрах в тридцати от меня на краю улицы стоял какой-то парень и голосовал. Такси по-прежнему проходили с пассажирами. Леваки порой останавливались возле этого парня, но, не договорившись, ехали дальше. Они останавливались и передо мной, но и меня не брали. Черт его знает, куда они ехали!

Я понял, что опаздываю, и опять решил пройти вперед. Навряд ли этот парень спешил так же, как я. И вообще, какое тут может быть правило, если нет стоянки? Но неприятно. А что делать, если спешишь?

Так или иначе я обогнал этого парня и решил остановиться подальше от него, чтобы он меня не видел. Но только я обогнал его шагов на двадцать, как появился частник в пустой машине. Я не удержался и проголосовал. Левак остановился, но, узнав, куда я еду, не взял меня. Машина отъехала, и вдруг с тротуара раздался женский голос:

— Вы некрасиво поступили! Вон человек ожидал раньше вас, а вы его обошли! Некрасиво!

— Я спешу! — бросил я в ее сторону и зашагал вперед.

Женщина шла по тротуару и продолжала ворчать. Видя, что она не смолкает, я убыстрил шаг. Но и она поспешила, стараясь ворчать параллельно моему ходу. Если я приостанавливался и голосовал, она тоже останавливалась и, дождавшись моего очередного провала, продолжала меня уличать. Начинался какой-то кошмар. Я подумал, не побежать ли, но и бежать было стыдно. Именно перед ней.

И вдруг рядом со мной неожиданно остановились «Жигули». Я даже не голосовал. Я заглянул в окно. За рулем сидел мой давний институтский приятель, знаменитый Борис Борзов.

— Тебе куда? — спросил он, сверкнув на меня своими лучистыми крими глазами.

Я назвал место.

— Садись, я в тот же район, — сказал он.

Я оглянулся на женщину, не зная, как она будет действовать дальше. Но она только взглянула на меня, молча перенесла кошелку в правую руку, кото-

рой до этого жестикулировала в мою сторону, и пошла дальше.

Я открыл дверцу. На переднем сиденье стояли бутылка с шампанским и коробка с тортом. Он взял в руки и то, и другое и переложил на заднее сиденье, позаботившись так уложить бутылку, чтобы она не скатилась.

— Что, в гости? — спросил я, усаживаясь рядом с ним.

— В гости к любовнице, — сказал он, ослепив меня белозубой улыбкой и стараясь понять впечатление, которое произвело это известие. Поняв или скорее не поняв, добавил: — Можешь поздравить меня. Диссер защитил.

За последние двадцать лет мы с ним несколько раз встречались в кафе «Националь», куда он заходил с друзьями. Я знал, что он кандидат биологических наук и работает сейчас в каком-то научно-исследовательском институте.

— Так ты же давно кандидат наук, — сказал я.

— Докторскую, балда, докторскую! — воскликнул он, полыхнув на меня своими яркими, как в юности, глазами. — Если бы не враги, я бы уже был академиком!

— На какую же тему у тебя диссертация? — спросил я.

— Сейчас узнаешь, — ответил он. — Кстати, чтобы не забыть. Ты можешь мне устроить постоянный пропуск в ЦДЛ?

— Нет, — сказал я, — даже временный не могу устроить.

— А в Дом кино? — спросил он.

— Тем более, — сказал я, — я к ним не имею никакого отношения.

— Ладно, — тряхнул он своей аккуратной головой, — найдем нужного человечка и без тебя!

— Так на какую же тему у тебя диссертация? — спросил я снова.

— «Бесскорлупные яйца — революция в продуктивности яйценосок». Опыты нашей лаборатории имеют огромное народнохозяйственное значение!

Он бросил на меня одну из своих двусмысленных улыбок, приглашая порадоваться его достижениям и одновременно намекая, что эти достижения — следствие открытого лично им таинства общечеловеческой глупости. Он приглашал порадоваться за него в обоих направлениях, стараясь угадать, улавливая ли я чудо их сочетания.

— Как так — бесскорлупные яйца? — спросил я и мельком с некоторой тревогой подумал, что тема козлотура, видимо, будет преследовать меня всю жизнь.

— Ну, ты витаешь в облаках, — сказал он, поглядывая то на меня, то на дорогу и начиная весело заводить, как, бывало, в студенческие времена, — а мы делом заняты, делом! Вот вкратце суть проблемы на доступном тебе языке. В настоящее время хорошая несушка дает около двухсот пятидесяти яиц в год. Если в редких случаях триста — bravo! Bravo! Когда мы доведем свои опыты до конца, курица будет нести яйца, правда, бесскорлупные, в три раза больше, чем сейчас! Мы зальем страну бесскорлупными яйцами! И тогда закапает, наконец, над моей усталой головой золотой дождь. И горе той руке, которая попытается в этот момент водрузить надо мной зонт! В чем суть? Яйцекладка подчинена строгому ритму. Яйцо проходит по яйцеводу не менее двадцати одного часа, и овуляция не наступает, пока не снесено очередное яйцо. Ты, дикарь, конечно, не знаешь, что такое овуляция. Запомни: выход яйцеклетки из яичника! А нельзя ли ускорить формирование яйца и тем самым уменьшить интервалы между снесенными яйцами? Вот вопрос, поставленный нашей лаборатори-

ей, а точнее, твоим, как ты знаешь, непокорным слугой. И ответ на него уже частично получен. Напомню тебе то, чего ты никогда не знал, — путь яйца по яйцеводу. Яйцо относительно быстро проходит воронку (у Борзова никаких претензий), белковый отдел и перешеек, но надолго, трагически долго задерживается в матке. Деятнадцать часов! Почему? Поэтому что здесь, именно здесь, оно проходит сложный процесс образования скорлупы.

...Я слушал его и вдруг вспомнил наше первое знакомство. В институте мы учились с ним на разных факультетах и жили в разных комнатах общежития. Лично мы еще не были знакомы, но я, конечно, как и весь институт, знал о нем: Борзов-гуляка, Борзов-пижон, Борзов-хохмач.

Летом я его встретил в родном городе при довольно необычных обстоятельствах. Поздно вечером я гулял по набережной. И вдруг вижу: толпа подростков окружает какого-то человека с явно недоброй целью. Было довольно темно. Внезапно из толпы раздался знакомый голос:

— Борзов задний ход не дает! Налетайте, шакалы!

Я подбежал, протиснулся в толпу и увидел Борзова, стоящего с воздетым кулаком. Остекленевшие глаза, бешеное лицо. Юнцы, смутно узнавая меня как местного человека, неохотно расступились. Я вывел его из толпы. Они бы его, конечно, растерзали.

Борзов был вдребадан пьян. Таким я его видел в первый и последний раз. Обычно он почти не пил. К нам подошла плачущая девушка. Оказывается, он был с ней. Она сказала, что Борзов сам первым стал задирается с этой компанией подростков.

Вместе с девушкой я проводил его до гостиницы «Рица», удивляясь, как ему удалось в летний сезон снять там номер. Позже я таким вещам перестал удивляться: он мог всё.

После этого я проводил девушку. Она была приезжая и жила на частной квартире. Она мне сказала, что Борзов купил на базаре бутылку чачи и с этого все началось. Девушка была хороша и так трогательно переживала случившееся! Я уверил ее, что он, видимо, отравился, что он никогда в жизни не был таким. Кажется, она немного успокоилась.

На следующий день свежий, подтянутый, хорошо одетый, он гулял со мной и моими друзьями по набережной. О вчерашнем дне он ничего не помнил — ни девушки, ни выпивки, ни возбужденных юнцов. Сейчас он очаровывал нас рассказами о своих спортивных достижениях. Кстати, он сказал, что мастер спорта по плаванию.

— Каким стилем ты плаваешь? — спросил я.

— Всеми, — сказал он, на миг замешкавшись.

— А в каком стиле ты мастер?

— Во всех! — радостно ответил он.

Мне это показалось странным. Но ведь мы на следующий день собирались встретиться на пляже! Не мог же он не знать, что коренные черноморцы как-нибудь разберутся, насколько человек хорошо плавает.

И мы в самом деле на следующий день встретились на пляже, и я первым вошел в воду и отплыл, дожидаясь его в море. Стройный, крепкий, в модных плавках, он вошел в воду и поплыл ко мне, выворачивая голову то налево, то направо, честными континентальными саженками. Ни о каком стиле не могло быть и речи.

— А как же мастер спорта? — спросил я, когда он подплыл. В море как-то легче пренебречь деликатностью хозяина местности. Море смывает земные условности.

— А-а-а! — воскликнул он, сверкнув на меня своими яркими глазами, и так бесшабашно ударил рукой по воде, что я тут же простил ему эту наивную ложь.

Веселый компанеец, рассказчик фантастических историй, он за четыре-пять дней обаял всех моих друзей и знакомых. В застолье он обычно ревниво следил, не остался ли кто-нибудь не охваченным его обаянием. Если таковой оставался, он работал исключительно на него, пока тот не сдавался. Кстати, за это время он усвоил двадцать— тридцать грузинских и абхазских слов, которые он, ко всеобщему удовольствию, очень уместно употреблял. Пока мои друзья обсуждали, куда бы его вывезти, чтобы подвергнуть более длительным застольным испытаниям, он вдруг исчез. Как потом выяснилось, он очаровал капитана теплохода «Грузия», и тот его пригласил в рейс до Одессы.

На следующий год мы жили в одной большой комнате общежития, и я мог к нему поближе присмотреться. Конечно, он был отчаянный вун. Но самое фантастическое в его фантастических историях заключалось в том, что они иногда точно подтверждались.

Он был года на два старше нас, а выглядел еще более зрелым молодым человеком. По его словам, он эти два года проплавал юнгой по северным морям. Возможно, именно там он научился травить, если вообще не придумал себе этой романтической части своей биографии.

Однажды он сказал, что прекрасно владеет гипнозом и может загипнотизировать любого человека.

— Загипнотизируй меня,— сказал я мастеру гипноза.

— Ложись на койку,— кивнул он мне.

Дело происходило в общежитии. Я лег на свою койку. Ребята шумной толпой окружили нас. Он приказал всем притихнуть и начал колдовать надо мной, утробным голосом произнося успокаивающие слова. Я лежал с закрытыми глазами и изо всех сил подавлял волны смеха. Наконец я ровно задышал, делая вид, что уснул.

— Готов! — сказал он ребятам и приказал мне встать.

Я встал, якобы безвольно подчиняясь ему.

— Ты потерял письмо от любимой,— сказал он плотоядным голосом,— она тебе этого никогда не простит. Пролезь под всеми койками и найди его, иначе ты погиб!

Под приглушенный смех ребят и сам давясь от смеха, я пролез под всеми койками, стараясь запомнить, кто что при этом говорит, чтобы потом, когда буду его разоблачать, приводить эти реплики как доказательство.

Следующее задание было куда трудней. По предложению одного из студентов он заставил меня хлебать немыслимую бурду, которую готовил себе один наш студент. Было подозрение, что он нарочно готовит себе такую мерзость, чтобы никто не посмел притронуться к его стряпне.

— Ты голоден,— воскликнул Борзов,— ты три дня ничего не ел. Перед тобой прекрасное кавказское харчо! Ешь! Только дуй, дуй на ложку! Харчо горячее!

Мне ничего не оставалось, как сесть за стол и, дую на ложку, хлебать холодную баланду, почмокивая переваренной морковкой и похрустывая недоваренной картошкой. Даже сейчас, вспоминая об этом, я вздрагиваю. Уже под общий хохот ребят, давясь, я съел полкотелка, но тут он надо мной сжалился и велел снова лечь на койку. Я лег, прислушиваясь к действию баланды на мой желудок.

Он приказал двум студентам так расставить стулья, чтобы я, опираясь пятками на край одного стула и упираясь затылком в край другого стула, мог, не прогибаясь и не проваливаясь, возлегать между двумя стульями.

Этим же студентам он велел поднять меня и водрузить между стульями. Меня действительно водрузили, и я чувствовал невероятную боль в затылке и животе. Не от баланды, конечно, а от напряжения этой ужасной позы. Но я решил играть до конца и с минуту терпел это чудовищное напряжение. Я боялся только одного: как бы он еще не уселся на мой живот, демонстрируя силу гипноза. Но, слава богу, этого не произошло, и он, наконец, мазанув меня рукой по лбу, приказал:

— Просыпайся, ты в кругу друзей!

Я с удовольствием провалился между стульями и вскочил под хохот и аплодисменты.

Растопырив руки и лучась своими яркими глазами, Борзов неподвижно стоял посреди комнаты, как на арене цирка.

— Твой гипноз липа,— воскликнул я,— я все делал нарочно!

— Вот как,— ответил Борзов, нисколько не смущаясь и еще ярче залучившись глазами,— тогда вытянись между стульями сам!

Я придвинул стулья приблизительно так, как они стояли. Зацепился пятками за край одного сиденья, придерживая себя руками, уперся головой в край другого сиденья, отпустил руки и рухнул между стульями. Что за черт! Нестерпимая боль в затылке и в пояснице не давала мне продержаться и несколько секунд. Я пробовал удержаться подольше и каждый раз проваливался между стульями.

Ребята хохотали.

— Если не было гипноза,— кричали некоторые,— пусть доест баланду Кузнецова!

Но ведь не было, не было никакого гипноза! Я ведь это точно знаю! Тогда почему же я не сумел повторить опыт? А черт его знает! Может, я исчерпал свои силы, стараясь подыграть Борзову.

Кстати, в связи с гипнозом. Забавный случай рассказал один наш студент. Они с Борзовым ехали в троллейбусе, держась за поручни. Вдруг Борзов чихнул, и так неловко, что брызнул на затылок мужчины, который, тоже держась за поручни, стоял впереди него.

И тот стал ругать Борзова и всю современную молодежь, которая не умеет себя вести в общественных местах. Обычно языкатый, Борзов на этот раз молчал. Мужчина ругается и ругается, а Борзов молчит и молчит.

И вдруг он наклонился к мужчине, что-то шепча ему на ухо. Мужчина мгновенно замолк, и лицо его приняло выражение доброжелательного любопытства. Только что полыхал — и вдруг выражение доброжелательного любопытства.

Студент этот, удивленный такой странной метаморфозой, наклонился и сбоку глянул на шепчущего Борзова. О, ужас! Борзов не шептал мужчине, а, прикусив его ухо, замер над ним. Прошло, может быть, пять, может быть, десять томительных секунд. Борзов отпустил ухо мужчины и стал задумчиво глядеть в окно. А мужчина как замер с выражением доброжелательного любопытства, так и остался. До самой остановки, где Борзов и этот студент выскочили из троллейбуса, мужчина ни разу не взглянул на своего обидчика. Кажется, никто ничего не заметил.

— Ты что, офонарел?! — крикнул студент, очутившись на земле и корчась от смеха.

— Я понял, что он иначе не замолчит,— спокойно ответил Борзов.

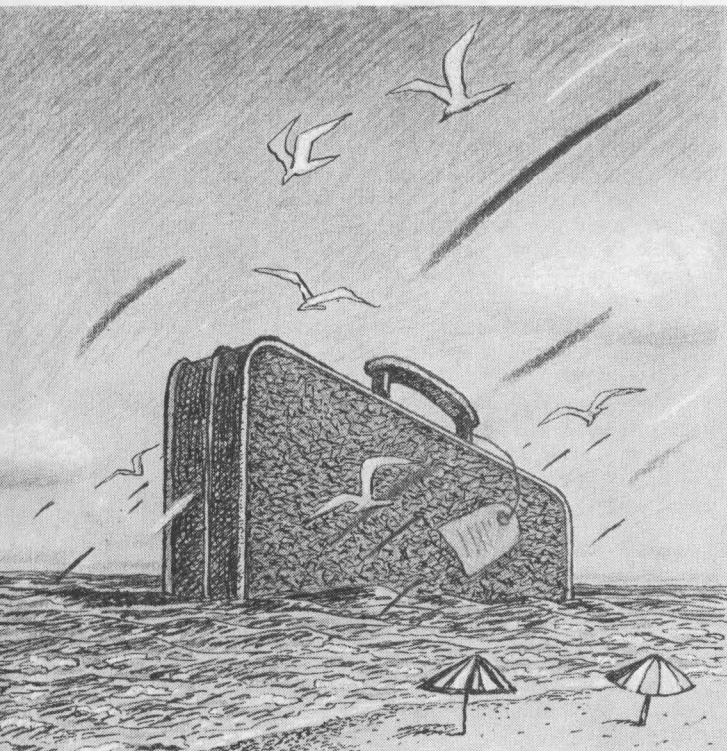
— А если б он скандал поднял, если б люди возмутились?

— Никогда! — ответил Борзов, улыбаясь.— Борзов знает свое население.

Борзов говорил, что отец его — виднейший казанский адвокат. Вероятно, так оно и было. Возможно,

от него он унаследовал ироническое красноречие. Бывая в ударе, он потешал нас лекциями на общественные темы, оснащенные цитатами, вырванными из газет с необычайной комической ловкостью. Мы покатывались от хохота. Он и над собой иронизировал, но, маленькая слабость, ужасно не любил, если кто-нибудь пытался направление этой иронии поддерживать.

В общежитии он патронировал и подкармливал двух студентов — Штейнберга и Сучкова. Штейнберг перед экзаменами накачивал его лекциями по истории и литературе. А Сучков, начинающий поэт, от его имени писал стихи, посвященные одной студентке, за которой Борзов ухаживал. Борзов эти стихи переписывал своей рукой, громко зачитывал нам, а потом дарил своей красавице. Меня потрясало, как он не боится того, что история происхождения стихов дойдет до



его девушки. И в самом деле, так и не дошла! Позже он на ней женился.

Экзамены он сдавал хорошо, иногда даже блестяще, хотя к учебникам почти не притрагивался. Информированность его была огромна. Что скрывать, в те годы я им восхищался. Мне казалось: стоит ему повернуть в себе какой-то рычаг — и его невероятная жизненная энергия, расплескивающаяся вишь, пойдет вглубь, и он тогда станет... Но кем? Я не знал.

Однако в зимнюю сессию случился неожиданный прокол.

Преподаватель западной литературы уличил его в незнании подлинников литературных памятников и велел ему пересдать экзамен.

Борзов несколько дней мрачно сидел на своей постели, заново прослушивая расширенный курс лекций Штейнберга, в голосе которого появились истерические интонации.

— Запомните, ребята, — говорил Борзов, — Борзов такие штучки не хаает. Ответный удар сокрушит эту цитадель мракобесия.

Вскоре он сдал экзамен по западной литературе, и мы обо всем этом забыли. Но в один прекрасный день как гром среди ясного неба грянула в молодежной газете его статья об идейно-воспитательной рабо-

те в нашем институте. Статья была острая и абсолютно демагогическая. Суть ее сводилась к тому, что в институте слишком много внимания уделяется западной литературе и слишком мало — общественным наукам.

Институт дрогнул. Комиссия за комиссией проверяла работу кафедр, а он в это время ходил по коридорам общежития, задрав свою симпатичную голову, с выражением идейного превосходства над всеми кафедрами. Почему-то хотелось восторженной ладонью мазануть по его крутому затылку и посмотреть, останется ли на его лице это очаровательное шарлатанское выражение идейного превосходства. Но некому было мазануть, некому!

Комиссия продолжала работать (гром грянул во время весенней сессии), а Борзов сдавал экзамены по шпаргалкам, которыми на наших глазах начинал себя в комнате общежития.

Директор института читал нам историю и по возможности тех времен читал живо, увлекательно. Мне, во всяком случае, нравились его лекции. И я чувствовал жалость к нему, попавшему в такую передрыгу. И все-таки я, как и большинство студентов, был на стороне Борзова. Он нас всех охмурил. Конечно, и студенческая корпоративность сказывалась: пусть подрожат наши преподаватели. Но было и еще что-то.

Тогда шла кампания по борьбе с тлетворным Западом, которая нам, студентам, не без основания казалась глупой. Именно в те времена появился анекдот: Россия — родина слонов.

Никакого серьезного влияния Запада, разумеется, не было. Любители красивых тряпок действительно гонялись за чужеземными вещами, так ведь и сейчас гоняются! А поскольку Борзов сам был первым пижоном института, статья его приобрела для нас характер пародийного возмездия за глупую кампанию, затеянную взрослыми людьми. Может быть, мы этого не осознавали, но чувствовали.

Через год мы оба перевелись в другие учебные заведения, и я надолго потерял его из виду. Он перешел в Московский университет на биологический факультет. И вдруг через много лет я узнаю от одного писателя, пропагандиста генетики, что молодой талантливый ученый Борис Борзов с безумной смелостью выступил в своем институте против лысенковцев, но силы были слишком неравны. У молодого ученого большие неприятности. Этот пропагандист генетики предложил мне написать коллективное письмо протеста в Академию наук, если Борзова выгонят из института. О, если б я не знал Борзова! Впрочем, судя по всему, такого письма тогда не понадобилось, Борзов сам удержался в своем институте.

И вот мы с ним в одной машине, и он мне рассказывает о грандиозном преимуществе бескорruptных яиц перед обыкновенными. Забавно было, что он, рассказывая, успевал бросить взгляд на каждый магазин, мимо которого мы проезжали, иногда проборматывая что-то по этому поводу.

В одном месте мы увидели длинный хвост очереди, выходящей из магазина.

— Что дают? — крикнул Борзов, остановив машину и выглядывая в окно.

— Кроличьи шапки, — хмуро ответил кто-то из очереди.

— Кроличьи, — пробормотал Борзов и, секунду подумав, поехал дальше.

В другой раз в переулке его взгляд привлекла тигриная рябь арбузов в железной клетке. Он опять остановил машину.

— Куплю арбуз и позвоню любовнице, — бросил он мне, легко переходя от бескорruptных яиц к крепкокорым астраханским арбузам.

Он вышел из машины, стройный, моложавый, в ве-

ликолепной синей рубашке и в черных вельветовых брюках. Он шел к телефонной будке мелкими шажками, как бы придерживая избыток ликования, как бы исполняя брачный танец внебрачной связи.

Набрав номер, он повернулся в сторону улицы и говорил, весело подмигивая неизвестно кому. Стекло телефонной будки было разбито, и некоторые слова доносились до меня. Несколько раз повторялась одна и та же загадочная фраза:

— Я тебе звоню из дому!

Что он этим хотел сказать? Однажды мы с ним встретились в кафе «Националь» и вдвоем провели чудный вечер. Он был мягок, предупредителен, гостеприимен. Как бы это представить образно? Картина тридцатых годов — «Вождь укрывает шинелью известного летчика, доверчиво заснувшего на его диване. Привет из Сочи!». Нет, надо поскромней. Примерно так: патриарх идейных боев сам нарезает огурцы и подкладывает лучшие куски мяса товарищу юности. Кстати, я у него спросил тогда, владеет он все-таки гипнозом или нет.

— Нет, конечно, — сказал Борзов, склонив голову с обезоруживающей улыбкой, — просто верил, что ты мне подыграешь, и ты вполне оправдал мои надежды.

— Но почему же я не мог потом вытянуться между стульями? — спросил я.

— Очень просто, — ответил Борзов, оживляясь от необходимости поделить долей разума. — Когда я тебя уложил между стульями, ты боялся подвести Борзова и терпел. А когда сам лег, ты не чувствовал ответственности перед Борзовым и потому рухнул.

Мы оба одновременно расхохотались. Отрицая, что он владеет научным гипнозом, он как бы утверждал, что владеет более глубоким, личностным гипнозом.

Мы прекрасно провели вечер и, прощаясь, договорились через неделю встретиться у памятника Пушкину и где-нибудь посидеть.

— Если я не приду, — тихо сказал он, — значит, Борзов умер. Приезжай меня хоронить.

В назначенное время я минут сорок проторчал у памятника, дожидаясь его. Погода была промозглая. Я окоченел и зашел в ближайшее кафе подкрепиться. Я, конечно, не думал, что Борзов умер, но и никак не предполагал, что встречу его именно в этом кафе. Увидев его, я почувствовал странное смущение, как если бы он меня избил в неявке на его похороны.

Он сидел в большой компании и напористо витийствовал. Заметив меня, он издал кивнул мне сухим отсекающим кивком, показывая, что обстоятельства круто изменились, что само появление мое тут — достаточная бестактность и было бы убийственной пошлостью доводить ее до выяснения причин случившегося.

Скорее всего он просто забыл о нашем свидании, но я понял, как опасно предаваться сентиментальным воспоминаниям. За все приходится платить.

...Борзов покинул телефонную будку и, резко изменив походку, на глазах у очереди бесстрашно шагнул в тигриную клетку, выбрал огромный арбуз, взвесил, расплатился с укротительницей-продавщицей и быстро-быстро, словно боясь, что арбуз истечет, дотащил его до машины.

Только тут очередь, обращенная им в зрителей, очнулась и раздалась одиночные протесты. Но было уже поздно. Борзов поставил арбуз на пол перед задним сиденьем. Сел на свое место и стал тщательно протирать руки платком.

— Долго же вы будете его есть, — сказал я.

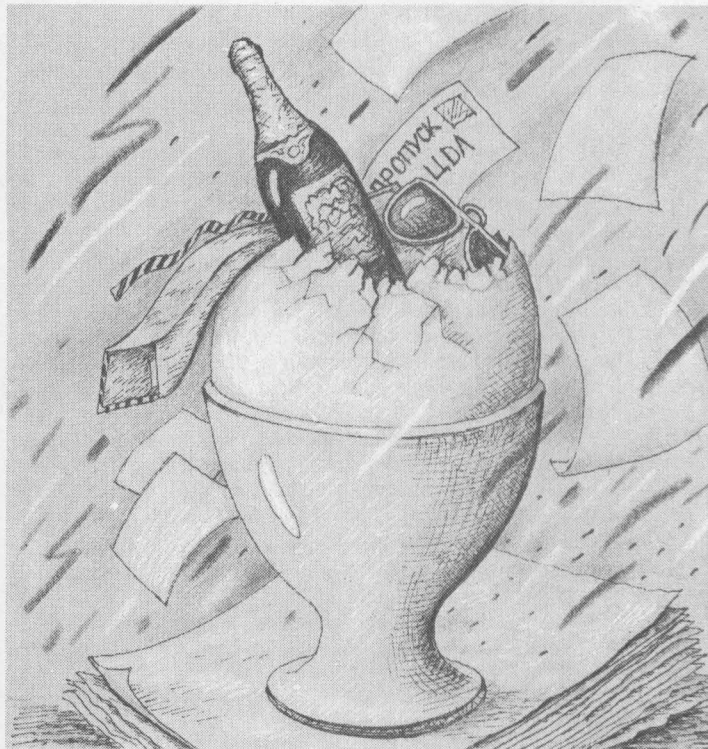
— С любовницей? — удивленно спросил он. — Арбуз — домой! Семья — опора общества! Запомни: настоящий джентльмен женится только один раз!

Он бросил мне как бы уже промытую арбузом

улыбку. Странно, при всех его мужских качествах, когда он вот так улыбался, облик его порой двоился, и казалось, что рядом с тобой женщина. Магия обольщения.

Машина тронулась, и снова полилась лекция о бесскорлупных яйцах.

— Сама по себе скорлупа прекрасна. Она замечательное приспособление классов рептилий и птиц к размножению на суше. Она крепость, она защищает яйцо от вредного воздействия внешней среды. Но так ли она необходима для яйца как пищевого продукта?.. Куда, дура, лезешь, под колеса! Жить надоело?! Совсем нет! В яйце съедобно все, кроме скорлупы, или ты употребляешь его вместе со скорлупой? Скорлупу можно рассматривать лишь как тару для ее содержимого. Скорлупа у кур составляет всего десять процентов общей массы, а на ее образование



затрачивается четыре пятых времени пребывания яйца в яйцевое. Мы должны победить этот физиологический бюрократизм, и мы его уже побеждаем! А сколько минеральных веществ и энергии расходует ся несущкой? Только на этих минеральных веществах мы могли бы поднять наше сельское хозяйство. Но это впереди! Сейчас везде пишут: ускорение, ускорение! А я еще до нашего времени работал в духе времени! И я решил: что, если заставить кур нести бесскорлупные яйца, как это бывало у дальних предков птиц, у чешуйчатых рептилий? Мы же с тобой знаем, или я один должен нести бремя знаний, что эволюция часто приводит к регрессу целых систем организма. Например, киты! Они — довожу до твоего сведения — потомки сухопутных млекопитающих, но давно вернулись в море, поэтому у них исчезли задние конечности. Почему бы не повернуть эволюцию несущек, изъяз процесс образования скорлупы? Долой кальций! Вот лозунг, который можешь повесить над своим письменным столом. В ближайшее время он будет самым актуальным. Через два-три года наши трудолюбивые несущки будут давать в сезон около тысячи яиц!

...Я вспомнил, как однажды летом мы с ним встретились на Ленинградском вокзале. В белом загранич-

ном плаще, в дымчатых заграничных очках, с редким тогда «кейсом» в руке он выглядел, как знатный иностранец.

— Еду читать лекции о генетике, — победно сообщил он, ухитряясь сверкать глазами даже через дымчатые стекла, — во всей стране один я пробил эти лекции! Надо взбодрить ленинградскую интеллигенцию, а то она там закидает!

Я пожаловался ему, что озабочен трудностями с билетом на «Стрелу».

— Иди за мной, — сказал он, — Борзову билет приносят.

Он двинулся в сторону кабинета начальника вокзала, как бы рассекая невидимое сопротивление косной среды. Я поплелся за ним, впрочем, у самых дверей кабинета приостал. Не замечая этого, он рванул дверь и исчез. Через двадцать минут мы вышли на перрон и сели в мягкий вагон.

Борзов скинул плащ, аккуратно повесил его, снял очки и опустился на диван. Я сел напротив, чувствуя, что статичность наших поз его явно не устраивает.

— Ну что, так и будем сидеть? — спросил он, строго взглянув на меня.

В это время вошла проводница за нашими билетами. Борзов вынул из кармана платок, мазнул им по столику и, показывая проводнице, что платок потемнел, приказал:

— Девушка, я Борзов. Я сейчас иду за шампанским. Чтобы к моему приходу каюта была в полном порядке. Стаканы промыть питьевой содой!

Он был в белоснежном костюме и, вероятно, вошел в роль адмирала. Молодая проводница замерла. Он молча проследовал мимо нее и, оглянувшись, подмигнул мне.

— Какой интересный дядечка и какой строгий, — восторженно протянула проводница. — Кто он?

— Великий человек, — сказал я.

В купе был наведен влажный, сверкающий порядок. Вскоре появился Борзов с молодым негром, прихваченным где-то по дороге. Оба были утыканы бутылками с шампанским.

— Познакомься, аспирант университета Лумумбы, — сказал Борзов, мягко приземляя бутылки на стол.

Такого большого салюта по поводу предстоящего воодушевления ленинградской интеллигенции я не ожидал.

Африканец уселся на край дивана, явно комплексуя и не вполне понимая, что от него хочет этот хоть и советский, но белый господин. Борзов открыл бутылку, и мы выпили по стакану за его предстоящие лекции в Ленинграде. Африканец вместе с нами выпил свой стакан, но вел себя очень сдержанно, стараясь все время контролировать обстановку. Борзов вынул из «кейса» целлофановый пакет с бутербродами, намазанными черной икрой, и щедро разложил их на тарелке.

Разливая по второму стакану, он вдруг спросил у африканца:

— Буламута жив?

Африканец встрепенулся, словно услышал родной клич родных саванн.

— Зив! Зив! — воскликнул он. — Буламута подполья! Ви знайт Буламута?

— Кто же не знает Буламута, — спокойно ответил Борзов, давая осесть пене и доливая в стаканы, — выпьем за Буламута. Когда Буламута придет к власти, — добавил он, ставя на столик пустой стакан, — надо его предупредить, чтобы он не доверял вождям племени такамака... Они испорчены американскими подачками...

— Буламута знай! — восторженно перебил его аф-

риканец. — Такамака коварна!

Установив, что молодой африканец занимается медициной, Борзов стал рассказывать о своей великой борьбе с лысенковцами в собственном институте. Шампанское лилось и лилось, рассказ длился и длился, времена перепутались, и в конце концов молодому африканцу могло показаться, что Борзов последний вавилонец, чудом уцелевший после знаменитой сессии ВАСХНИЛ.

Полностью обаяв африканца, Борзов пошел за проводницей и привел ее в наше купе. Она сначала очень стеснялась, но потом, выпив стакан шампанского, освоилась и не сводила с Борзова обожающих глаз.

Видимо, под влиянием этих взглядов тема непримиримого борца перешла в адажио одиночества борца, отсутствие понимания в родном доме, невозможность расслабиться, смягчить судьбу женской лаской. Он продолжал говорить, медленно, но неотвратимо склоняясь к проводнице, которая замирала и замирала в позе загипнотизированной курицы, хотя Борзов в те времена, может быть, еще и не занимался несусущками.

Я не знал, чем кончится эта сцена, исполненная, как я думал, тайного комизма, как вдруг африканец захохотал. При этом он достал откуда-то непомерно длинную руку, легко пересек этой рукой пространство купе и, хлопнув Борзова по плечу, воскликнул:

— Ви шут!

Я так и ахнул. Борзов посмотрел на африканца бешено стекленеющими глазами. Я почувствовал, что африканец хотел сказать явно не то, и, опережая гнев Борзова, пояснил:

— Он хотел сказать: шутник!

— Шутник! Шутник! — простодушно заулыбался африканец, явно не понимая разницы между обоими словами.

— Пораспустились, пользуясь тем, что Буламута в подполье, — пробормотал Борзов, всматриваясь в африканца и стараясь обнаружить на его лице следы тайной иронии. Но не было тайной иронии, не было! Или была?

Мир был восстановлен, но адажио кончилось, и Борзов больше не склонялся к проводнице. Через некоторое время он встал, открыл дверь и выглянул в коридор, ища, как мне показалось, новой добычи. Но была уже поздняя ночь, и коридор явно пустовал.

Вдруг Борзов обернулся. Лицо его выражало трезвый, надменный холод.

— Уберите бутылки, — сказал он проводнице голосом адмирала, уставшего общаться с местными племенами.

Проводница начала поспешно убирать со стола, и африканец стал ей помогать, однако сильно загрузив лицом.

— Бывает, бывает, — прощаясь, кивнул я африканцу в сторону Борзова, как бы намекая, что причины внезапного омрачения великого человека никак не связаны с какими-либо особенностями компании, в которой на него снизошло это омрачение. Но африканец не нял мне и вместе с бутылками унес выражение стойкой обиды на лице. Они ушли. Я закрыл дверь купе.

— Далековато им до европейских стандартов, — кивнул Борзов в сторону ушедших, как бы сожалел о своих цивилизаторских усилиях. И было непонятно, имеет он в виду представителей обоих народов или одного.

— А Буламута? — спросил я.

— Что Буламута, — вздохнул Борзов и неожиданно добавил: — Буламута одинок, как я.

Но недолго он пребывал в минорном настроении. Мы начали раздеваться, и вдруг он, кстати, очень заботливо укладывая брюки, ожил, мотор цивилиза-

ции заработал вновь, и он стал излагать некоторые подробности битвы с лысенковцами, якобы до этого из высших соображений утаенные от ушей иностранца. Мне захотелось уйти в глубокое подполье, как Буламуто, но уйти я мог только под одеяло. Я слушал его, бесплодно соображая: смог бы я его оглушить бутылкой из-под шампанского, если бы не пил на его счет и если бы бутылки не были убраны? И вдруг на полудраме о самой вероломной проделке его научных оппонентов Борзов уснул, и я провалился в тартарары.

— Вставай, ленивец, проспишь Ленинград! — услышал я над собой его голос.

Он тряс меня, как в детстве брат. Я открыл свинцовые веки. Надо мной стоял Борзов — милый, свежий, элегантный, уже выбритый и явно готовый взбодрить приунывшую ленинградскую интеллигенцию.

...— Хорошо, — сказал я, прерывая его лекцию, — допустим, ваши опыты увенчаются блестящим успехом. В таком случае нам, гражданам страны, по-видимому, раздадут по курице, которую мы по утрам будем выдавливать над сковородкой? Как еще обращаться с бескорлупными яйцами?

— Как? Как? — поощрительно улыбнулся он, бросив на меня быстрый взгляд. — Выдавливать курицу над сковородкой? Неплохо. Доложу шефу. Были, были у наших оппонентов сомнения такого рода, но мы их с негодованием отвергли. Главное — создать кур, несущих бескорлупные яйца, а затем разработать технологию сохранения яиц... Куда мчится этот остопоп? Выскочил из своего ряда... Представь себе птицефабрику, где несутся куры бескорлупными яйцами. Содержание клеточное. Пол клеток мягкий, однако с уклоном к яйцесборочному транспортеру. Снесенное яйцо выкатывается к нему, но не на жесткую ленту, как тебе, дилетанту, кажется, а в воду! Помнишь, как мы бултыхались в Черном море, когда я приехал туда в первый раз? Золотые годы! Вася Сванидзе — великолепный парень! Стал он начальником порта? Не знаешь? А, кстати, наш Сучок вышел в поэты? Тоже не знаешь. Чего у тебя ни спросишь, ты ничего не знаешь! Как ты только пишешь! Так вот, водная среда, в которую попадает яйцо, будет озонирована, будет содержать раствор антибиотиков, обеззараживающих его поверхность. Способность бескорлупных яиц впитывать водные растворы позволит обогащать их витаминами и другими веществами, улучшающими вкусовые качества яиц. С потоком воды — плывите, яйца! — они будут попадать в цех упаковки, где их будут перекладывать в синтетическую тару.

— Твои бескорлупные яйца, — сказал я, — не вызывают у меня аппетита. Но как вы внушите курице забыть о скорлупе?

— Мы разрабатываем гормональное воздействие на нервную систему птицы, — ответил он, поглядывая то на меня, то на дорогу, — создаем сильную перистальтику в отделе яйцевода, где образуется скорлупа, и яйцо пролетит через отдел быстрее, чем она может образоваться. В моей группе есть подопытная несушка, которая уже каждое третье яйцо сносит без скорлупы. А в группе моего шефа лучшая несушка сносит примерно каждое пятое яйцо без скорлупы. Предстоит драчка с шефом.

— Почему? — спросил я.

— Он пошел по американскому пути, — сказал Борзов, — он пользуется сульфамидными препаратами. А я нашел более безвредные гормональные вещества, которые скармливаю курам... Драчка определит, кому быть заведующим лабораторией...

— Неужели и американцы этим занимаются? — спросил я, как бы теряя последнюю надежду.

— С моей подачи! — захохотал Борзов, и глаза его вспыхнули шельмовским блеском такой силы, который явно мог досверкнуть и до Америки. — Амстердамская конференция! Я соблазнил янки! Они теперь завалили меня письмами и приглашениями. Скоро еду в Штаты!

Мне вдруг стало ужасно жаль несушек. Какие-то питательные сопли вместо великолепного крутобокого яйца. Я подумал, что сульфамидные препараты и на меня плохо действуют, я пару раз глотал их по ошибке. Но я взял себя в руки и припомнил давний источник своего горестного оптимизма: козлотуры провалились? Провалились!

— Мне жаль кур, — сказал я Борзову, — но у меня есть твердая уверенность, что в конечном итоге у вас ничего не получится.

Как раз в это время мы подъехали к зданию клуба, где я должен был выступать, из чего, конечно, не следует, что мое дерзкое заявление было вызвано этим обстоятельством. Я думал, он обидится или будет спорить. Нет, он блаженно бросил руль и улыбнулся одной из своих самых жизнелюбивых улыбок:

— Не важен результат, важен процесс, — сказал он и подмигнул мне своим бесовским глазом. — Если будет интересный вечер в ЦДЛ, позвони!

— Хорошо, — сказал я, и мы распрощались.

Если иначе не получается, пусть хоть так, пусть хоть Борзов будет счастлив, утешал я себя мысленно, входя в клуб.

...Директриса провела меня за сцену. Оказывается, вечер уже начался. Но сейчас выступал популярный певец. Скрежещущий грохот рок-музыки вонзился в меня, как тысячи ржавых стрел. Бескорлупные яйца каким-то образом соединились с этой музыкальной скорлупой, лишенной мелодической мякоти, и мне стало совсем мутно.

За внутренним занавесом было видно полсцены. Певец иногда выбегал на открытую сторону, брякался на колени с микрофоном в руке, ложился на спину, быстро-быстро сучил ногами и пел. Музыка грохотала, зал выражал буйный восторг. Господи, подумал я, дай пережить это, и я больше никогда, никогда не буду обходить людей, ждущих машину впереди меня.

Десяток поэтов сидели за сценой перед низеньким столиком, уставленным чашечками кофе и бутылками с минеральной водой. Они оглядывали меня с некоторой тусклой неприязнью. Хотелось думать, что имела в виду не моя сущность, а угрожающее количество выступающих. Я подсел к ним. Председатель вечера, тоже поэт, мельком, но нехорошо, взглянул на мою папку и произнес:

— Ребята, много иностранных студентов. Поаккуратней выбирайте стихи.

И вдруг устался на мою папку скорбным взглядом, словно стараясь проникнуть в ее содержимое и воздействовать на него в смягчающем смысле. Ужасно неприятный взгляд: смотрит и смотрит.

Наконец, под влиянием этого взгляда я почти интуитивно приоткрыл папку, как бы показывая, что кобра оттуда не может выпрыгнуть на иностранных студентов по причине отсутствия таковой. И он, наклонившись (хамский наклон), действительно в нее заглянул, словно по внешнему виду рукописи можно было определить степень ее ядовитости. И мы с ним на несколько секунд застыли в немом диалоге.

«Кобра?»

«Уж».

«Кобра?»

«Уж! Уж!»

«Уж?!»

«Да, да!»

«Ну, не обязательно уж...»

И он в самом деле успокоился. Мы как бы договорились: раз я приоткрыл папку, а он в нее заглянул, значит, все будет в порядке.

Все-таки это было нехорошо. А я еще с ним приятельствовал, прогуливался по аллеям Дома творчества, неизвестно для чего коллекционируя россыпи его афоризмов, правда, необычайно самобытных в своей глупости.

Однажды я выходил из нашего клуба, а он окликнул меня. Он сидел в такси. Я не поленился подойти и поздороваться с ним. Я был весело настроен и подумал, успеет ли он за те две-три секунды, пока мы здороваемся, выдать какой-нибудь перл.

Я подошел к такси. Он, сидя на переднем сиденье, протянул мне руку в окно, но только я хотел ее пожать, как он с ужасом отдернул ее.

— Через порог не здороваются, — сказал он и, выйдя из такси, поздоровался со мной.

Я бы никогда не обнародовал эту сцену, если б не его заглядывание в папку. Будет знать, как заглядывать в чужие папки.

Мы с поэтами договорились читать не более трех стихотворений, независимо от аплодисментов. Оговорили также, чтобы под видом крупного стихотворения никто бы не вздумал выступить с поэмой. Только миниатюристу позволили не ограничиваться тремя стихотворениями, не указав, сколько именно ему можно читать. И заплатились за свою либеральную неряшливость. Он этим воспользовался и прочел штук сто своих миниатюр, черт бы его забрал! Все надо заранее оговаривать.

Певец все еще пел. Наконец, он сделал сальто, приземлился на приоткрытой половине сцены, швырнул кому-то микрофон и удалился, догоняемый морем рукоплесканий.

Мы вышли на сцену. Молодежь нас хорошо принимала. Даже миниатюриста. Прочитав очередную миниатюру, он блудливо на нас оглядывался, напоминая взглядами, что он не нарушил слова, что количество миниатюр не было оговорено.

Нашего ведущего тоже неплохо встречали. Если я скажу, что, в отличие от певца, который бедность голоса великолепно восполнял богатством телодвижений, он, ведущий, отсутствие мысли отлично восполнял мощью голоса, читатель решит, что я продолжаю мстить. Поэтому промолчу.

Отчитавшись и насладившись рукоплесканиями, он оглядел аудиторию и вдруг произнес:

— Я вижу, в зале присутствует наш замечательный испанский поэт Мануэль Родригес! Попросим его прочитать стихи!

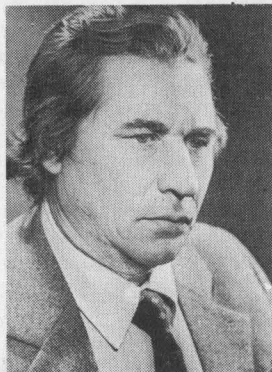
Буря, буря аплодисментов! Знакомая сухощавая фигура со смущенной улыбкой на лице уже выбиралась из рядов. Я вспомнил, что несколько раз в жизни выступал с ним на вечерах и именно так, как бы случайно обнаружив в зале, его приглашали на сцену. Сильный прием.

После вечера так получилось, что мы с испанским поэтом вдвоем шли к метро. Он весело жаловался на одного нашего редактора, предложившего ему напечататься в своем альманахе:

— Он думает, что говорит со мной по-испански. А я ему говорю: «Это не испано! Это итальяно! Говоли со мной по-люски! Не хочу я в твоём альманахе печататься! Там слишком много стихов о смелости! Смелость! Смелость! Не хочу я там печататься!»

В метро мы с ним распрощались. Я поехал домой, дивясь мощи нашей литературной пропаганды, заставившей славного Мануэля Родригеса с добровольным негодованием отказаться от столь традиционной для испанской поэзии темы.

Поэзия



Юрий
ЛАКЕРБАЙ

Обмен

Часы с календарем

Меняю

На кукушку,

Откуковала — и закрыла счет...

Серебряный браслет — на светлую речушку,

Удравшую в леса из торфяных болот.

Возможен вариант:

Кукушку и речушку,

Серебряный браслет, часы с календарем

Меняю

На одну победную пирушку

В честь моего коня.

Владел таким конем!

Меняю

Скакуна и звонкую пирушку,

Часы с календарем, браслет из серебра,

Скупой кукушкин счет и светлую речушку

На то, что сделал бог из моего ребра:

На выяснение чувств по ловоду любому,

На слезы без причин, на праведную ложь,

На цвет раскосых глаз, то близкий к голубому,

То пепельно-стальной,

Как амгузинский* нож!...

Осень сорок второго

Мне восемь лет, я житель городской,

И никогда я не бывал здесь прежде:

Дом из каштана и густой орешник

За мокрою оградой жердевой,

Открою дверь и в старый дом войду.

Он своему хозяину не нужен,

Но нам, бездомным, он еще послужит,

И в очаге я искорку найду.

Раздую пламя, заслоню полый

От ветра ли, от воя ли шакала...

Село под Гудаутским перевалом

Всех скалолазов отрядило в бой!

На перевале каждый выступ — дот.

И высоко, за ширмою свинцовой,

Где острый гребень льдами облицован,

Пропал навеки тот, кто упадет...

Идет над нами горная война.

Я привыкаю к странности обряда:

Кладут в траву черкеску Азамата,

Вокруг нее проводят скакуна.

Болтаются пустые стремяна,

И женщина глядит осиротело.

В траве черкеска, где-то в скалах — тело...

И горечь детства — горная война!

* Аул в Дагестане, известный мастерами-оружейниками.



Татьяна
ПОЛЯЧЕНКО

☆☆☆

Что прекрасней столовки фанерной
в беспросветной саянской ночи?
Ты, столичный, простудный и нервный,
похлебай тети Катини щи!

Ты послушай шоферские байки,
все про скользкое это шоссе...
Вот — с бомбошками шторка из байки,
вот — кабина в колючей росе.

Ох, как важно дымятся Саяны!
Как глаза с недосыпу саднит!
Эти ночи и дни безымянны —
незабудки, крапива, гранит.

Ты вернешься — прибавится сил,
будет сниться тебе, как повисли
два ведра на крутом коромысле,
города Абакан и Кызыл.

А вообще тут светло и красиво,
звери умные водятся тут,
и вдоль самого злого обрыва
незабудками неторопливо
дни и ночи твои прорастут.

Тюмень — Уренгой

Гляди на тундру, веря и не веря:
до горизонта — минус пятьдесят,
до горизонта — ни жилья, ни зверя.
По-человечьи рельсы голоса.
Как тащится он, первый пассажирский,
из тьмы — во тьму, зачем и почему?
На скользких стыках как ему дрожится,
как спать и плакать хочется ему!
Не спи, не спи, не спи до Уренгоя,
гляди во тьму, продрогший пассажир.
Единственное дерево нагое
по небу черно-алому бежит...

А в поезде пели про черные очи,
про темно-вишневую шаль.
От самой Тюмени — все темень, все ночи,
а прошлого все-таки жаль.
От самой Тюмени гудит над составом
Полярная злая звезда.
И прошлого жаль, потому что не стало
сегодня его навсегда.
Все ясно, все просто, легко под колеса
косая поземка летит.
На рельсовых стыках дыхание рвется,
романсовый рвется мотив,
жестокий, наивный — ах! — сентиментальный,
про темно-вишневую шаль.
Как медленно, как ненадолго светает!
А дальше? Ах, дальше не жаль!
Гляди, как премудро устроена тундра,
и маленький поезд-пунктир
с трудом понимает, что кончилось утро,
а может быть, кончился мир?

Темнеет нахрапом, без всяких закатов,
ни вечера нету, ни дня,
и на горизонте дрожат бесновато
столбы нефтяного огня.
То белый, то черный, то черный и алый
пейзаж, уплывающий вспять.
А жизнь намекала, а жизнь приучала
оттенки везде различать.
Ох, эти оттенки — как шепот за стенкой,
как дождь, как ладонь под щекой...
Единственный, маленький, еле заметный
все едет состав в Уренгой.
Что правда, что кривда, что мир черно-белый,
что темно-вишневая шаль —
все ясно, все просто. Решайся и делай.
А дальше? Решайся. Решай...

☆☆☆

Звенел брезент над головой, как парус,
и ветер встречный кожу опалил.
Шоссе в закатной спряталось пыли,
к сиреневому небу прикасалось.

По ветровому грязному стеклу
стекало густо-розовое солнце,
один из нас похрапывал в углу,
а вдоль дороги танцевали сосны.

Потом мы пели песни у костра, —
случайные, совсем чужие люди,
далекие с рожденья от иллюзий
и близкие друг другу до утра.

Нас беспощадно грызла мошкара,
погас костер, и стали угли таять,
и так к рассвету заострилась память,
что уместилась на конце пера.

☆☆☆

На воде на горькой крутятся леденцовые огни.
Я-то выдержу, я умница, ты коня не загони!
Мне разлука не убийца — милосердная сестра.
Мне давным-давно увидиться с нею, ласковой, пора.
Время-конь на месте топчется,
конь-судьба летит вперед,
одиночество, как отчество, вместе с именем умрет.

☆☆☆

Надоело! Буду слабой: бабой, дамой — все равно.
Пожалей меня, хотя бы пригласи меня в кино
на правдивую картину про превратности судьбы,
и про то, как жить красиво, и про то, что было бы.
Будто долька шоколада, жизнь экранная на вкус.
Зарыдаю там, где надо, и где надо — засмеюсь.

☆☆☆

Побирушка, дитя, Мнемозина,
не встревожив поверхность воды,
по веселым разводам бензина
добежит до рассветной звезды.

Леденя в свободном полете,
приглашая тебя на вальсок,
осыпаются перышки плоти
на распаренный пляжный песок.

Разворошена туча ночная,
как тяжелый сиреневый куст,
а душа засыпает, не зная,
каково это небо на вкус.

Мнемозины прозрачные пятки
промелькнут в тишине камыша.
На усталой своей плащ-палатке
не грусти и не мудствуй, душа.



«ВЫХОЖУ В ЕДИНОБОРСТВО — ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ ЗАСЛУЖИТЬ»

Наталья Крандиевская-Толстая.
Фото из архива.

В семейном архиве композитора Дмитрия Алексеевича Толстого лежит листок почтовой бумаги, с двух сторон исписанный рукой его матери. Приведу этот документ полностью, сохраняя авторское правописание:

Рассказ связистки Водолейкиной на ночном дежурстве в апреле 1942 года. «Ну никакого доверия к Людям, Наталья Васильевна. Намедни прихожу с дежурства. Есть хочу, как собака. Времянку разожгла, поставила ремню вариться. Жирный такой ремень, ну через-чур наваристый. А жиличка так коло ремню и вертится. И чего вертится? Чего беспокоится? Только я на чуток с кухни вышла, — гляжу в кастрюлю, так и есть! Полремню нет! Ну надо-ж! Вот какой народ пошел, Наталья Васильевна. Ни стыда, ни совести. А ремню до чего жалко. Теперь такого и за деньги не достанешь. Чемоданный, говорили, заграничный».

Ни добавлять, ни комментировать нет нужды. И все же осмелюсь обратить внимание читателей на одну особенность этого документа. Его автор, равно как и связистка Водолейкина, и украшая «полремню» жиличка, умирают от голода. Откуда же явственная интонация юмора, откуда этот смех в преддверии гибели? Смех — над кем?

Да над собой, над своей физической слабостью, над самой ситуацией, когда в силу вещей человеку должно быть не до смеха. А он находит силы смеяться. И смерть отступает.

Книга блокадных стихов Натальи Крандиевской-Толстой — одна из самых страшных и прекрасных книг, написанных в годы Великой Отечественной. Судьба этих стихов, как и судьба их автора, поразительна.

Наталья Крандиевская родилась в 1888 году в Москве, в семье прогрессивного публициста. Тринадцатилетней девочкой она печатает первые свои стихи в московских журналах. Потом — знакомство с Бунным и Горьким, разглядевшими ее незаурядный дар. В семнадцать — замужество и рождение сына. Потом — встреча с молодым прозаиком Алексеем Толстым и любовь, пронесенная через всю жизнь, любовь, ради которой она отказалась от собственной уже начинавшейся писательской славы.

Три тоненькие книжки стихов. В Москве в 1913-м. В Одессе в 1919-м. И сборник «От лукавого» в Берлине в 1922 году.

В 23-м — возвращение на родину, полтора десятилетия молчания, муж, трое сыновей, державшийся на ней большой и открытый дом. А с 1935-го — возвращение к стихам перед самым уходом мужа из семьи. Умерла Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая осенью 1963 года. Так что карты, пророчившие ей «смерть на невомском берегу», — смотря стихи творение «В осаде» — не вдали.

Она осталась в блокадном городе, хотя могла уехать не раз. Жила на иждивенческую карточку (125 граммов хлеба к декабрю 41-го). В семейном архиве хранится мобилизационное предписание бойца трудового фронта и документы о двух наградах. Медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В конце лета 1943-го за несколько месяцев до снятия блокады боец Крандиевская-Толстая была вызвана в Москву, и ей был вручен билет Союза писателей. Началась подготовка книги стихов в ленинградском издательстве. Книги, набор которой был рассыпан осенью 1946-го, после известного постановления и доклада Жданова. Лишь через сорок лет книга «В осаде» появилась разделом в посмертном сборнике «Дорога» (Москва, «Художественная литература», 1985), но и тут слишком спешно готовилась рукопись, слишком многое даже тогда, три года назад, было «нельзя», не были сведены варианты автографов, потерянными оказались авторские даты под рядом стихотворений.

Д. А. Толстой и внучка поэта, писательница Татьяна Толстая, помогли в подготовке этой рукописи. В текст введен ряд неизвестных стихотворений.

Представляя читателю право самому судить о том, «каким поэтом мы пренебрегли!», все же не могу удержаться от нескольких слов. Перед нами — плод духовного подвига русского человека, русской женщины. Подвига, совершенного, как и положено в каноне истинного подвижничества, втайне и в смиренности.

Почти полвека назад написаны эти стихи. Четверть века, как нет в живых ее автора. А стихи живы.

И пожалуй, такого еще не бывало в русской литературе последних по крайней мере веков — мы открываем поэта накануне его столетнего юбилея.

Андрей ЧЕРНОВ

Наталья КРАНДИЕВСКАЯ- ТОЛСТАЯ

В ОСАДЕ

Сыну моему Мите посвящаю.

☆☆☆

Недоброй славы не бегу.
Пускай порочит тот, кто хочет,
И смерть на невском берегу
Напрасно карты мне пророчат.
Я не покину город мой,
Венчанный трауром и славой.
Здесь каждый камень мостовой
Свидетель жизни величавой.
Здесь каждый памятник воспет
Стихом пророческим поэта.
Здесь Пушкина и Фальконета
Вдвойне бессмертен силуэт.
О, память! Верным ты верна.
Твой водоём на дне колышет
Знамена, лица, имена,
И мрамор жив, и бронза дышит.
И променять за бытие,
За тишину в глуши бесславной
Тебя, наследие мое,
Мой город великодержавный?
Нет! Это значило б предать
Себя на вечное сиротство.
За чечевицы горсть отдать
Отцовской крови первородство.

1941

☆☆☆

А беженцы на самолетах
Взлетают в небо, как грачи.
Актеры в тысячных енотах,
Лауреаты и врачи.
Директор фабрики ударной,
Завтреста, мудрый плановик,
Орденосец легендарный
И просто мелкий большевик,—
Все как один стремятся в небо,
В уют заоблачных канот.
Из Вологды писали — хлеба,
Представьте, куры не клюют.
Писатель чemoдан каракуль
В багаж заботливо сдает.
А на жене такой каракуль,
Что прокормить их может с год.
Летят. Куда? В какие дали?
И остановятся на чем?
Из Куйбышева нам писали —
Жизнь бьет по-прежнему ключом.
Ну что ж, товарищи, летите.
А град Петра и в этот раз,
Хотите ль вы, иль не хотите,
Он обойдется и без вас.
Лишь промотавшиеся тресты
В забитых наглухо домах
Грустят о завах, как невесты
О вероломных женихах.

1941

Памяти Марины Цветаевой

Писем связка, стихи,
да сухие цветы,
Вот и все, что наследуют внуки.
Вот и все, что оставила,
гордая, ты,
После бурь вдохновенья и муки.
А ведь жизнь на заре,
как густое вино,
Закипала языческой пеной,
И луна, и жасмины врывались в окно
С легкокрылой мазуркой Шопена.

Были быстры шаги,
и движенья легки,
И слова нетерпением согреты,
И блестели на губе девичьей руки,
По-цыгански звенели браслеты.
О, надменная юность!

Ты зрела в бреду
Колдовских бормотаний поэта.
Ты стихами клялась:

исповедую, жду!
И ждала незакатного света.
А уж тучи свивали грозный венок
Над твоей головой обреченной.
Жизнь, как пес шелудивый,
скулила у ног,
Выла в небо о гибели черной.
И Елабугой кончилась эта земля,
Что бескрайние дали простерла.
И все та же российская сжала петля
Сладкозвучной поэзии горло.

1941

На улице

(1941—1942 гг.)

1

Иду в темноте вдоль воронок.
Пржекторы шупают небо.
Прохожие. Плачет ребенок
И просит у матери хлеба.
А мать надорвалась от ноши
И вязнет в сугробах и ямах.
«Не плачь,
потерпи, мой хороший»,—
И что-то бормочет о граммах.
Их лиц я во мраке не вижу,
Подслушала горе вслепую.
Но к сердцу придвинулась ближе
Осада, в которой живу я.

II

На салазках кокон пряменький
Спеленав, везет
Мать заплаканная, в валенках,
А метель — метет.
Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестьясь:
«У моей, вот тоже, дочери
Схоронен вчерась.
Бог прибрал, и слава Господу,
Легше им и нам.
Я сама-то скоро с ног спаду,
С этих со ста грамм».

Труден путь, далек до кладбища.
Как с могилкой быть?
Довести сама смогла б еще,
Сможет ли зарыть?
А не сможет, сложат в братскую,
Сложат, как дрова,
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.
И спешат по снегу валенки,—
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней, мой маленький,
Легче — умереть.

III

Шаркнул выстрел,
и дрожь по коже,—
Точно кнут обжег.
И смеется в лицо прохожий:
«Получай паек!»
За девицей с тугим портфелем
Старичок по панели
Еле-еле бредет.
«Мы на прошлой неделе
Мурку съели,
А теперь этот вот...»
Шевелится в портфеле
И зловеще мяукает кот.
Под ногами хрустят
На снегу оконные стекла.

Бабы мрачно, в ряд,
У пустого ларька стоят.
«Что дают?» «Говорят,—
Иждивенцам и детям — свекла».

IV

Обледенелая дорожка
Посередине мостовой.
Свернешь в сторонку
хоть немножко,—
В сугробы ухнешь с головой.
Туда, где в снеговых подушках
Зимует пленником пурги
Троллейбус, пестрый, как игрушка,
Как домик бабушки Яги.
В серебряном обледененьи
Его стекло и стенок дуб.
Ничком на кожаном сиденьи
Лежит давно замерзший труп.
А рядом, волоча салазки,
Заехав в эту даль,
Прохожий косится с опаской
На быта мрачную деталь.

V

За спиной свистит шрапнель.
Каждый кончик нерва взвинчен.
Бабий голос сквозь метель:
«А у Льва Толстого нынче
Выдавали мервишель!»
Мервишель? У Льва Толстого?
Снится, что ли, этот бред?
Заметает вьюга след.
Ни фонарика живого,
Ни звезды на небе нет.

VI

Как привиденья незаконные,
Дома зияют беззаконные
На снежных площадях.
И, запевая смертной птичкой,
Сирена с ветром перекличкою
Братаются влотьмах.
Вдали, над крепостью петровую,
Пржектор молнией лиловую
То гасит, то зажжет.
А выше — звездочка булавкою
Над Зимней светится Канавкою
И город стережет.

VII

Идут по улице дружинницы
В противогазах, и у хобота
У каждой, как у именинницы,
Сирени веточка приколота.
Весна. Война. Все согласовано,
И нет ни в чем противоречия.
А я стою, гляжу взволнованно
На облики нечеловечия.

VIII

Вдоль проспекта, по сухой канавке,
Ни к селу ни к городу цветы.
Рядом с богородицкой травкой
Огоньки куриной слепоты.
Понимаю, что июль в разгаре
И что полдень жатвы недалек,
Если даже здесь, на тротуаре,
Каблуком раздавлен василек.
Понимаю, что в блокаде лето
И, как чудо, здесь, на мостовой,
Каменноостровского букета
Я вдыхаю запах полевой.

☆☆☆

Смерти злой бубенец
Зазвенел у двери.
Неужели конец?
Не хочу. Не верю.
Сложат, пятаки вперед,
К санкам привяжут.

«Всем придет свой черед», —
Прохожие скажут.
Не легко проволочить
По льду, по ухабам.
Рыть совсем уж не в мочь,
От голода слабым.
Отдохни, мой сынок,
Сядь на холмик с лопатой,
Съешь мой смертный паек,
За два дня вперед взятый.

Февраль 1942

☆☆☆

Майский жук прямо в книгу
с разлета упал
На страницу раскрытую —
Домби и Сын.
Пожужжал
и по-мертвому лапки поджал.
О каком одиночестве Диккенс писал?
Человек никогда не бывает один.

1942? 1943?

Ночью на крыше

В небе авиаигрушки,
Ни покоя им, ни сна.
Ночь в прожекторах ясна.
Поэтической старушкой
Бродит по небу луна.
И кого она смущает?
Кто вздыхает ей вослед?
Тесно в небе. Каждый знает,
Что покоя в небе нет.
Истребитель пролетает,
Проклиная лунный свет.
До луны ли, в самом деле,
Если летчику глаза
И внимание в обстреле
От живой отводит цели
Лунной влаги бирюза?
Что же бродишь, как бывало,
И качаешь опахало
Старых бредней над землей?
Чаровница, ты устала,
Ты помехой в небе стала, —
Не пора ли на покой?

1942

На кухне

И
В кухне жить обледенелой,
Вспоминать свои грехи,
И рукой окоченелой
По ночам писать стихи.
Утром снова суматоха.
Умудри меня, Господь,
Топором владея плохо,
Три полена расколоть!
Не тому меня учили
В этой жизни, вот беда!
Не туда переключили
Силу в юные года.
Печь дымится, еле греет.
В кухне копать, как в аду,
Трубочистов нет — болеют,
С ног валятся на ходу.
Но нехитрую науку
Кто из нас не превозмог?
В дымоход засунув руку,
Выгребая черный мох.
А потом иду за хлебом,
Становлюсь в привычный хвост.
В темноте сереет небо,
И рассвет утрюм и прост.
С черным занавесом сходна,
Вверх взлетает ночи тень,
Обнажая день холодный
И голодный новый день.
Но с младенческим упорством
И с такой же волей жить

Выхожу в единоборство —
День грядущий заслужить.
У судьбы готова красть я,
Да простит она меня,
Граммы жизни, граммы счастья,
Граммы хлеба и огня!

II

В кухне крыса пляшет с голоду,
В темноте гремит кастрюлями.
Не спугнуть ее ни холодом,
Ни холерою, ни пулями.
Что беснуешься ты, старая?
Здесь и корки не доищешься,
Здесь давно уж злою карюю,
Сновиденьем стала пища вся.
Иль со мною подружилась ты?
И в промерзшем этом здании
Ждешь спасения, как милости,
Там, где теплится дыхание?
Поздно, друг мой, догадалась я, —
И верна и не виновна ты.
Только двое нас осталось
Сторожить пустые комнаты.

☆☆☆

На стене объявление: «Срочно!
На продукты меняю фасонный гроб.
Размер ходовой.
Об условиях точно —
Галерная, девять». Наморщил лоб
Гражданин в ушанке оленьей,
Протер на морозе пенсне,
Вынул блокнот, списал объявление,
Отметил: «Справиться о цене».
А баба, сама страшнее смерти,
На ходу разворчалась:
«Ишь, горе великое!
Фасо-о-онный еще им, сытые черти.
На фанере уже сволокнут,
погоди-ка».

1942

☆☆☆

Этот год нас омыл,
как седьмая щелочь,
О которой мы, помнишь,
когда-то читали?
Оттого нас и радует каждая мелочь,
Оттого и моложе,
как будто бы стали.
Научились ценить все,
что буднями было:
Этой лампы рабочей лимит и отраду,
Эту горстку углей,
что в печи не остыла,
Этот ломтик нечаянного шоколада.
Дни тревог, отвоеванные у смерти,
Телефонный звонок —
целы ль стекла? Жива ли?
Из Елабуги
твой самодельный конвертик, —
Этих радостей
прежде мы не замечали.
Будет время,
мы станем опять богаче,
И разборчивей станем,
и прихотливей,
И на многое будем смотреть иначе,
Но не будем, наверно,
не будем счастливей.
Ведь его не понять, это счастье,
не взвесить,
Почему оно бодрствует с нами
в тревогах?
Почему ему любо цвести и кудесить
Под ногами у смерти,
на взрытых дорогах?

1942

☆☆☆

Свидание наедине
Назначил и мне командор.
Он в полночь стучится ко мне
И входит, и смотрит в упор.
Но странный на сердце покой.
Три пальца сложила я в горсть.
Разжать их железной рукой
Попробуй, мой Каменный Гость.

1943

☆☆☆

Засинел полевой василек
В колее, на дороге проезжей.
Здесь в пыли уцелеть как он мог,
Беззащитный и свежий?
Не раздавлен степным колесом
Под ногами прохожего люда,
Славит каждым своим лепестком
Жизни хрупкое чудо.

1943

☆☆☆

А муза не шагает в ногу.
Как в сказке, своевольной дурочкой
Идет на похороны с дудочкой,
На свадьбе плачет у порога.
Она, на выдумки искусница,
Поет под грохот артобстрела
О том, что бабочка-капустница
В окно трамвая залетела.
О том, что заросли картошками
На поле Марсовом зенитки,
И под дождями и бомбежками
И те, и эти не в убытке.
О том, что в амбразурах Зимнего
Дворца пустого свиты гнезда,
И только ласточкам одним в него
Влетать не страшно и не поздно.
И что легендами и травами
Зарос, как брошенная лира,
Мой город, осиянный славами, —
Непобежденная Пальмира.

1943

Тишина

День странно тихий. Он такой,
Каким давным-давно уж не был.
И мы, как воду, пьем покой
Непотревоженного неба.
Нам тишина — почти обновка,
Почти что возвращенный рай.
Уже на прежних остановках
Спокойно люди ждут трамвай.
И гусеница ребятишек
По солнцу в ближний сквер ползет.
Теперь ничто их не спугнет.
Капель одна с весенней крыши
На них, быть может, упадет.
О, город мой! Дышать мне вольно,
В лицо мне веет ветер твой,
Что ж мне не весело, а больно
Глядеть в просторы за Невой?
И думать пристально, бесцельно
О тех, кого я не верну,
Кто пал за Пулковое, за Стрельну,
За нас, за эту тишину...

1944



Николай
ШМЕЛЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

Рассказ

Рисунок В. Гальдяева

Один мой относительно юный друг — ему сорок пять, мне семьдесят — утверждает, что в истории человечества только трое решились публично вывернуть себя наизнанку до конца: Блаженный Августин, Руссо и Толстой. Трое или не трое — не знаю, в этом я не специалист, спорить, во всяком случае, не берусь. Следует, однако, сказать, что друг мой — профессиональный философ, человек очень думающий, и, как я уже имел возможность неоднократно убедиться, обычно он знает, о чем говорит.

Пару лет назад с его легкой руки я прочел подряд все эти три знаменитые исповеди. Признаюсь, тягостное было чтение: ничего или почти ничего, кроме разочарования и раздражения, мне оно не принесло... Времени мне осталось немного, если оно вообще осталось, и теперь, на пороге перехода, так сказать, в иную систему координат, мне думается, я могу — не поддаваясь гипнозу столь громких имен и не опасаясь вместе с тем обвинений в какой-то скрытой личной предвзятости — позволить себе высказать некоторые вещи, которые в устах более молодого человека, чем я, могли бы, допускаю, показаться по меньшей мере экстравагантностью, а то и того хуже — прямым святотатством.

Во-первых, никогда еще в своей жизни мне не приходилось сталкиваться с такой несокрушимой уверенностью, с таким непомерным, я бы даже сказал, неумным вниманием человека к самому себе и ко всякой ерунде, которая когда-то где-то и, бог его знает, по какому стечению обстоятельств могла приключиться с ним. Как будто каждый их вздох, каждая завитушка мысли или ничтожное житейское происшествие есть действительно достояние истории и должно войти в общий багаж, мало того, в золотой фонд всего человечества. Если бы еще это было написано для себя и только для себя — я бы понял, наверное. Но нет же! Все, каждое слово с самого начала предназначалось на всеобщий суд... Далее: не верю, не могу я поверить в это якобы смирение, именно якобы, потому что под ним — это видно, что называется, невооруженным глазом — гордыня, гордыня тотальная и по сути своей, и по замаху, упорное стремление заставить всех, обязательно всех, не меньше, жить по своей методе, выдуманной в кабинетной тиши, свирепая нетерпимость к живому, спотыкающемуся, страдающему человеку, которого бог в своем милосердии бросил, будто щенка, на произвол судьбы: мол, барахтайся там, как знаешь, может, выплывешь, а может, нет... Взять бы этого Августина за бороденку: а грудные-то младенцы в чем у тебя виноваты, отче? Их-то ты за что проклял? Или так, для стройности концепции, чтобы уж никого не обойти?... И, наконец, ложь, постоянная ложь самому себе, лицемерное признание своих мнимых грехов и удручающее, ничем не прощаемое бессердечие в отношении грехов действительных, да не грехов даже — преступлений! Подумаешь, яблоко украл... И вот разводит, разводит вокруг этого сопли... А что двух женщин сгубил, любовницу и невесту, жизнь им искалечил — ну, что ж, жалко, конечно, очень даже жалко, виноват, каюсь, но прошу, однако, учесть: ради господа моего и спасения в вечной жизни, ради души моей нетленной — не за чем другим... Эх, святой отец, святой отец... Ничего, господь милостив, не ты первый, не ты последний: надо думать, из уважения к твоей искренности — заодно вместе с яблоком — он и их тебе когда-нибудь простит... Особенно возмутила меня в этом смысле исповедь Руссо: загнал пятерых своих детей в воспитательный дом, так что ни имени, ни следа от них не осталось, а туда же — высокий строй души, благородство мыслей, любовь к добродетели, кротость, чувствительность, никому от него никаких обид.

И ведь действительно уверен, сукин сын, что он «лучший из людей» и имеет право учить других!.. Да и Толстой тоже хорош. Воистину, как в Писании: поступайте по словам проповедника, не по делам его...

Но я отвлекся. К тому же я опять явно начинаю злиться, раздражаться, а при тех задачах, которые я здесь перед собой ставлю, мне это не нужно и, если хотите, даже не к лицу: в какой-то мере тот случай, о котором я собираюсь сейчас рассказать, для меня — своеобразное подведение итогов, и мне хотелось бы до конца сохранить спокойную, уравновешенную интонацию человека, закрывающего последнюю страницу своей жизни и полностью отдающего себе отчет в том, что он делает именно это, а не ввязывается опять, пусть в иной форме и под иным предлогом, в суетную, утомительную житейскую борьбу, не ведущую, как известно — особенно людям моего возраста, — ни к чему. Перечтя, я было хотел даже зачеркнуть первые страницы, но потом решил, что — если зачеркну — это тоже будет ложь, и прежде всего ложь самому себе. То есть то, чего я самым решительным образом хотел бы избежать именно здесь, поскольку и по замыслу своему, и по цели эта работа имеет смысл лишь в том случае, если мне удастся обойтись в ней без вранья как себе, так и другим. Ну, а удастся ли, судить не мне...

Все, больше никакой полемики, я должен успокоиться... Тем более что это не так и трудно: валидол теперь всегда у меня под рукой, лежит на письменном столе в той самой пепельнице, где когда-то лежала моя любимая трубка — года три уже, как пришлось упрятать ее в нижний ящик стола, подальше от соблазна... Ну вот, звон в ушах утих, сердце опять стучит ровно — теперь постараюсь по возможности без эмоций объяснить, к чему я затеял весь этот разговор.

Мне семьдесят, и, естественно, я о многом думал, пока жил. Я почти ровесник века, ни одно из его значительных событий не миновало меня, не обошло стороной, и на что — на что, но на скуку или недостаток впечатлений, начиная с первых моих сознательных лет, я пожаловаться не могу. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Насчет блаженства не знаю, по-моему, в блаженном состоянии я находился всего каких-нибудь полгода или год в своей жизни, в сорок седьмом, когда, словно в угаре, писал и переписывал единственную свою книгу, а потом заново переживал написанное и все не мог понять, как же мне, именно мне, не кому другому, это удалось, но материала для размышлений мне судьба подвалила столько, что даже и сейчас, когда никакие страсти уже не волнуют меня и ничто не мешает думать, и склероза, слава богу, пока нет и, надеюсь, уже не будет, я не могу из этой груды впечатлений выстроить ничего прочного, не могу соорудить никакой логической конструкции, определить, хотя бы для самого себя, что было причиной, что следствием, что было во-первых, а что было во-вторых. Единственное, в чем я отдаю себе полный отчет, что я действительно знаю, — это свои симпатии и антипатии, а почему они возникли, как складывались, да и справедливы ли они в конце концов, убейте, сказать не могу.

Плохо, но я помню первую мировую войну, тоже плохо, но все-таки более отчетливо помню войну гражданскую, тиф, голод, разруху, в двадцатые годы я уже вел активную, деятельную жизнь, окончил Московский межевой институт, работал маркшейдером на шахте в Донбассе, каким-то боком был втянут в «процесс промпартии», но отделался по молодости лет пустяками — хотя этих пустяков, естественно, мне хватило на всю жизнь — и вскоре вышел живым и здоровым на свободу, тридцатые годы работал гео-

дезистом в полевых партиях, исходил, исколесил всю Россию из конца в конец, сороковые провел на Дальнем Востоке, в военно-топографическом отряде, был даже дважды награжден, в пятидесятые перебрался в Москву, преподавал геодезию в геологоразведочном институте, потом перешел в НИИ, защитил за чем-то под старость диссертацию... Вот уже четвертый год я на пенсии, сплю, читаю, гуляю по Тверскому бульвару, беседую с такими же старичками, как и я, беседую преимущественно о былом, но иногда и о злобе дня — ей, как известно, конца нет и не предвидится, пока человек жив... Все мило, скромно, тихо, достойно — чего ж еще и желать на старости лет?

Мне хотелось бы быть правильно понятым с самого начала: я действительно давно уже не думаю ни о боге, ни о своем, так сказать, месте во Вселенной. Я глубоко убежден — даже неловко как-то об этом говорить, заранее прошу у читателя извинения за подобные банальности, — что никому еще и никогда не удавалось додуматься в этих вечных вопросах до большего, чем простая констатация унылого, согласен, неприятного и тем не менее абсолютно бесспорного факта: каждый из нас — лишь песчинка в пустыне бытия, и приходил ли ты в мир или вовсе не был в нем, не имеет ровным счетом никакого значения ни для кого, кроме разве что тебя самого, да еще немногих твоих близких, кого судьба так или иначе связала с тобой в один узел. В молодости, помню, все во мне топорщилось, протестовало против этой горькой истины, но со временем я смирился, вернее, вынужден был смириться с ней: после того, как на моих глазах десятки миллионов людей, не повинных ни в чем, кроме того, что они вообще имели несчастье появиться на свет, сгорели в огне войны или погибли в концентрационных лагерях, — как мог бы я другому смотреть на мир, как мог я продолжать искать какие-то резоны, какие-то высшие оправдания своему собственному существованию и существованию других? Повезло, остался жив по какой-то непонятной случайности — ну, и слава тебе, господи, дыши, радуйся, пока не пришел и твой черед... Постепенно, не сразу, уже под старость, я включил в круг этих размышлений и так называемых великих людей, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что и в этом я тоже прав. Был ли человек по имени Лютер или не было человека по имени Лютер — какая кому, в сущности, разница? Его имя — просто удобный символ для обозначения очередного всплеска безбрежной человеческой стихии, и в этом смысле оно ничем не отличается от таких обыденных и безликих понятий, как дождь, ветер, слякоть, дым. Для него самого все было так же, как и для других: прах ты и во прах возвратишься, а для людей — что ж, для людей, может, и действительно был человек по имени Лютер, а может, его и вовсе не было, черт его знает, как оно там на самом деле было четыреста с лишним лет назад, к тому же и недосуг, по правде говоря, этим всем заниматься, у каждого своих забот по горло, а тут еще какой-то Лютер — да пошел он! И без него, что называется, голова кругом идет... Конечно, по-человечески я восхищаюсь величием замысла Николая Федорова — всех когда-нибудь воскресить всеобщими усилиями морали и науки, но, если вдуматься, если на минуту допустить, что это когда-то будет возможно, ну, и что ж из этого всего может получиться в конце концов? На практике, в реальной жизни? А ничего. Ничего не получится. Опять будет толпа, толпа безликая, только много бóльшая, чем сейчас, и человек как был незаметен в этом море голов, так и останется, и никаких его проблем это тотальное воскрешение не решит... Мое глубокое, выстраданное жизнью убеждение: нет выхода из этого

тутика, было так от века и так и пребудет во веки веков, только вот жаль, что чужой опыт никогда никого и ничему не учит, каждый заново сам, ощупью, а то и обдирая в кровь бока, пробирается сквозь эти дебри, тратит лучшие свои годы на поиски ответа, которого вообще не существует, не может существовать, и в конце концов, естественно — как это было до него и будет после него, — не находит ничего.

Равным образом мне глубоко претят всякие попытки учить людей, разрабатывать для них спасительные рецепты жизни — каждый раз заново и каждый раз обязательно в расчете на поголовный, всеобщий охват, — создавать умственные конструкции, в которые реальную жизнь надо впихивать ногами, силой, потому что никак иначе ее туда не впихнешь, не лезет она ни во что, ни в какие конструкции: слава богу, наш век, чуть было не захлебнувшийся в крови, кажется, уже начинает это понемногу понимать. Сколько их было, великих моралистов прошлого? И где они? И что стало с их наследием? Согласен, все это провозглашалось и делалось, как правило, с лучшими намерениями, в порыве искренней, жаркой, всепоглощающей любви к людям, но... Но за каждым святым с удручающим постоянством неизменно следовал свой Великий Инквизитор, и опять все начиналось заново, пока не появлялся очередной святой и с ним очередная — и тоже обреченная на провал — надежда... Будда, Христос, Толстой, Ницше, Ганди — как говорится, несть им числа... Конечно, по крохам можно отыскать много полезного, доброго у каждого из них, но не дай бог вновь сложить все эти крохи в нечто целое: опять получится черт знает что, опять будут кровь, насилие, вражда, и больше ничего... Иногда я думаю: если бы люди удовлетворялись десятью заповедями — я не в смысле их божественного происхождения, а в смысле их удобства для жизни, сам я неверующий или, точнее сказать, почти неверующий, в дедушку с бородой я, естественно, верить не могу, но и отрицать всякую возможность существования высших сил тоже не решусь, нет у меня никаких доказательств ни за, ни против этой возможности, — право, этого было бы более чем достаточно для разумного устройства всех их дел на земле. Но, как известно, самое простое решение — это как раз то, которое приходит в последнюю очередь, если оно приходит вообще.

Однако один вывод, чуть-чуть все же смахивающий на рецепт, я, пожалуй, позволю себе сделать: человек — сам себе вселенная, сам себе бог, сам себе судья и палач в одно и то же время. Неоригинально? Конечно, неоригинально, я и не претендую на это, я достаточно образован, чтобы знать, что у меня были предшественники, и многие из них, сознаю, по калибру не мне чета. Но сама мысль от этого не делается ни менее актуальной, ни менее значительной, ни — что самое печальное — менее трудно достижимой. В своей крайней, доведенной до абсурда форме она звучит так, как ее когда-то сформуливали стоики: «Человек может быть счастлив и на дыбе» — мир не властен над человеком, пока он сам себе отдает в этом отчет. Бесспорно, как принцип, как руководство к жизни эта мысль рассчитана на людей каких-то совсем уж титанических масштабов, людей уникальных по величию и силе духа, были ли действительно такие в истории — сомневаюсь, думаю, что вряд ли. Для человека с улицы она неподъемна, и в этом смысле ей место скорее в кунсткамере, чем в повседневном житейском обиходе. Но кое-что в этой системе рассуждений могло бы, уверен, быть полезно и обычному, рядовому человеку со всеми его страстями и слабостями, могло бы уберечь его от ненужных страданий и несчастий, на которые он по большей части напрашивается сам, без всякого толчка извне,

сохранить ему силы если не для счастья, то хотя бы для душевного равновесия, некоей удовлетворенности собой, а значит, и окружающим миром — наверное, это и есть единственно возможное, единственно достижимое счастье, по крайней мере здесь, на земле... Всеобщая борьба? Нет, хватит и борьбы с самим собой, да еще не забудь о тех немногих, кто так или иначе зависит от тебя, — вот, наверное, все или почти все, с чем я пришел к концу своей жизни. Убогая программа, не так ли? Нет, не убогая — самая тяжелая из всех возможных программ, и не случайно лживый, извортливый человеческий ум вместо нее все время подсовывает какие-то суперидеи и планы, потому что всеобщая идея — это как раз то, что требует усилий и страданий не от меня лично, а от других, а меня лично, даст бог, — ясно же, что я умнее и хитрее других, — эта идея когда-нибудь, может быть, даже и вознесет: ведь, естественно, я буду руководить, а выполнять — нет, это уж, пожалуйста, вы бросьте, выполнять, конечно, буду не я, на это есть другие, я-то один, а их, как известно, легион... Кроме того, та программа требует, пользуясь терминологией Марка Аврелия, абсолютной честности «наедине с собой», а что может быть труднее для человека, чем не врать самому себе?

...Начало всей этой истории надо отнести к той зиме с сорок седьмого на сорок восьмой, когда я только что закончил свою книгу, — о ней, если помните, я уже упоминал. Дело было в одном городке, мы сидели на камеральных работах, обрабатывали материал, полученный во время летних экспедиций: если память мне не изменяет, готовили мелко-масштабную карту какого-то глухого гористого района, очень важного, однако, в оборонном отношении. Поначалу, помню, запарывали один лист за другим, приходилось по нескольку раз переделывать, и не из-за спешки, а большей частью по неумению: горизонтали на листах сплошь и рядом ложились столь густо, а расстояние между ними было столь мало, что у некоторых наших чертежниц — это были, как правило, молоденькие девочки, вольнонаемные, приехавшие сюда за длинным рублем или в расчете выйти, наконец, замуж, — очень быстро начинали болеть глаза, и кривоножка от напряжения сама собой вываливалась из рук.

Но вообще-то работали не торопясь, с ленцой: городок был по крыши завален снегом, вставали поздно, ложились рано, развлечений почти не было никаких, время тянулось медленно, как во сне. Карточка, начальником которой я тогда был, располагалась в уютном, добротном срубленном бараке, у меня был свой крохотный кабинет, одну стену которого занимала печка с заслонкой, я подтапливал ее сам и сам же кипятил себе чайник, стоявший обычно на подоконнике, в маленькой лужице от наледи, медленно, капля за каплей оттаивавшей от тепла, — хватало на целый день, а за ночь она нарастала вновь. Окно мое всегда было плотно затянуто толстым слоем инея, и мне приходилось по нескольку раз в день дышать в одно и то же место, а потом долго скрести иней ногтем, чтобы сделать дырочку в стекле и иметь возможность хоть так изредка взглянуть на белый свет. Подчиненные не очень докучали мне, я вволю дымил в одиночестве своей трубкой — у меня тогда было около десятка хороших трубок, первую из них я еще, помню, выменял на что-то в тюрьме, она и сейчас лежит у меня в столе — и писал, писал до самозабвения, сохраняя полную убежденность в том, что, во-первых, я ни у кого ничего не ворую и никакого служебного времени не трачу зря, что, наоборот, жизнь мне гораздо больше должна, чем я ей, и, во-вторых, что моим сослуживцам никак не возможно догадаться, чем я в действи-



тельности занят здесь, за закрытыми дверьми. Последнее убеждение, как показали события последних дней, было ошибочным: они все прекрасно знали, только виду не показывали, опасаясь, вероятно, как-то испортить весьма неплохие отношения, которые у нас установились сами собой, без всяких видимых усилий как с их, так и с моей стороны.

Мы с женой и сыном снимали в тот год две комнаты в доме у одного одинокого старика, когда-то, в гражданскую, воевавшего в этих местах, а потом осевшего здесь же, как он говорил, «на тягло» и работавшего возчиком на лесоскладе. Старик был неглуп, только пил много и во хмелю тяжелеял, мрачнел, а когда совсем уж перебирал, то становился слезлив и даже неприятен. Иногда я для поддержания тишины и согласия в доме сам ставил ему бутылку спирта, он наваливал миску ядреной кочанной капусты, резал сало, хлеб, и мы вдвоем распивали эту бутылку до конца, беседуя о том о сем. Как я теперь понимаю, он тогда весьма добросовестно и по-своему талантливо учил меня жить, только вот материал ему попался, к сожалению, неподходящий: нередко он сердился на мою неподатливость, но был терпелив и дела своего не бросал, вновь и вновь возвращаясь в этих застольях к одному и тому же. «Что тебя все носит? Таскаешься, таскаешься — и все зря...» говорил он. — Бродяга ты... Нет в тебе ни солидности, ни должности настоящей... Погони снимешь — садись здесь, портфель тебе дадут, здесь же и помрешь, когда срок придет... Земля крепка могилами, где погосты, там и жизнь... Понял? Нет, скажи, ты понял? То-то... Сибирь обживать надо. ...Я тебе дом свой продам, хочешь? Мне все равно скоро помирать...» Распорядившись так собой, он вздыхал, замолкал, голова его свешивалась, по щеке скатывалась слеза, и кончалось это все всегда какой-то тягучей, заунывной песней, каждый раз той же самой, другой я от него не слышал, после чего я обычно не выдерживал — уходил.

Зарабатывал я тогда много, в смысле снабжения в городке тоже было очень неплохо — мы проходили

по какому-то особому списку, кроме того, у меня, естественно, был офицерский паек, — да и жена тянула в школе не одну, а две ставки, преподавала в старших классах и географию, и историю одновременно, и не из жадности, конечно, а просто потому, что в тот год не смогли найти специалиста — историка и уговорили ее, все-таки как-никак Московский университет: пришлось ей, что называется, на ходу осваивать целый курс. Молодец, она сумела откопать в этой дыре у какой-то древней старушки, петербургских, видимо, происхождений, застрявшей здесь еще с прошлых времен, великолепную историческую библиотеку, включая Устрялова, Соловьева, Костомарова, Ключевского, — в конце концов мы купили эту библиотеку всю, на корню, и она до сих пор со мной... Интересно, кому она достанется после меня? Сын? Сын очень хороший, очень неглупый человек, но он морской офицер, все время в плавании — на кой черт она ему? Да, честно говоря, и не для служивого человека такое чтение — расслабляет, а им этого нельзя... Вечера напролет жена запоем читала, переживала все это неожиданно свалившееся на нее богатство, втравила в это дело меня — я тоже увлекся не на шутку. Даже сейчас, когда, закрыв глаза, я оглядываюсь назад, во мне вновь с прежней силой оживают ощущения той зимы, и будто вновь все, как раньше, когда в полутьме, по углам нашей комнаты, куда не доставал свет от настольной лампы, толпились, спорили, грозились нам оттуда кто перстом, а кто и кулаком вероломные Шуйские, спесивые Милославские, дикие, разбойные или, наоборот, утонченные донельзя Голицыны, когда тупой убийца Бирон, или хитрюга Остерман, или методичный бюрократ, великий технолог власти Бестужев-Рюмин были для нас с ней, по существу, реальнее, ближе, чем все другое вокруг, — морозная, стылая темь за окном, скрип полозьев по снегу, кряхтенье старого деревянного дома, сменившего на своем веку многих хозяев, чем даже крики и смех собственного сына, заигравшегося с мальчишками допоздна где-то там, на краю оврага, разделявшего нашу улицу пополам... Было,

все было, и все, что есть, было, и все, что будет, тоже уже было... К этому выводу я пришел именно тогда, а было мне в ту зиму не так уж много — всего сорок один год.

Но главным, конечно, и для меня, и для нее была моя книга. Жили мы с ней довольно замкнуто, у нас бывали, и то очень нечасто, всего два-три человека, сын с малых лет проявлял редкую самостоятельность и почти не требовал присмотра: сам готовил уроки, сам, не спрашивая нас, гонял где-то по полдня на лыжах — мы и не знали где, сам разбирался в своих маленьких обидах и конфликтах, которых объективно даже в детстве у него было немного — товарищи любили его, в этом смысле ему, надо сказать, всегда везло... Про книгу мы говорили с ней утром, когда вставали, о книге же мы говорили и вечером, когда сын укладывался спать, а мы долго потом сидели за столом, у настольной лампы: что я еще написал сегодня, куда все поворачивает, как должен, а как не должен поступать тот или иной из тех, кого она уже знала не хуже, чем я. Жена болела за книгу, пожалуй, даже больше меня самого: я пока сомневался, я пока никак не мог решить для себя, графоман я или не графоман, — а вдруг это все чудовищная ошибка, ослепление, бывает же так с людьми, ведь недаром говорят: «ошибка всей жизни», значит, может быть ошибка масштабом в целую человеческую жизнь, где гарантии, что именно это и не происходит со мной, разве могу я быть беспристрастен, разве я сам себе судья? — а она уже поверила и в меня, и в книгу окончательно и бесповоротно, оценила ее по самому высокому счету и потом до самой своей смерти никогда, ни на йоту от этой оценки не отступала. Должен сразу сказать: она была права.

О чем была книга? Это деликатный вопрос, и я надеюсь, что к концу рассказа читатель сам поймет, почему я не хочу ничего говорить ни о ее сюжете, ни о содержании. Скажу только, что, как и все книги такого рода, она была о людях, о жизни, в ней почти не было политики, но зато много было житейских наблюдений и размышлений, то есть того, что трогает и волнует каждого человека, и именно поэтому она имела такой успех, когда вышла в свет.

Повторяю, политики в ней почти не было, и не было даже не потому, что времена тогда были трудные, очень трудные, опасные были времена, а потому, что внутренние меня всегда интересовали не какие-то гигантские исторические смещения — я достаточно наглядился на них и знаю, что они не зависят ни от меня, ни от тех людей, которых я каждый день встречаю на работе, на улице, с которыми я бок о бок прожил всю свою жизнь, — а человек, если хотите, один человек: как он родился, как и чем он жил, как он умрет. Более того, до сих пор я сохраняю подозрение — нет, не подозрение, а скорее убеждение, — что все эти гигантские смещения есть только рябь на поверхности огромной толщи жизни, а сама жизнь в действительности заключается не в них, а в чем-то другом, в том, что происходит каждый день со мной и моим соседом, и даже не в этом, а в том, что происходит во мне, именно во мне и в миллионах таких, как я, которым тоже надо каждое утро вставать на работу, пить, есть, растить детей, думать о близких, тянуть свой воз, пока есть силы, и в конце концов умирать.

В книге было всего одно место, где я позволил себе подняться, так сказать, на макроуровень, и это-то место и сыграло для меня роковую роль. Один из моих героев, старый инженер, выведенный из себя какой-то явной служебной бестолковщиной и понимая в то же время, что нет и не может быть никакого выхода из создавшегося тупика и единственное, что

остается, — это смириться с тем, что есть, в сердцах бросает своему собеседнику: «По натуре я, видимо, анархист. Я не люблю всякую власть: прошлую, нынешнюю, будущую — мне все равно. Но я не слепой, я же вижу, что без власти нельзя, без нее будет еще хуже, все развалится к чертям собачьим — только и всего. Как там у Пушкина? «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...» Так вот, я его видел и, признаюсь, больше видеть не хочу. Вот потому-то я и служу верой-правдой этой власти и буду служить, пока не подохну или пока меня не поставят к стенке...» По-моему, достаточно лояльная и конструктивная позиция, не так ли? Особенно если смотреть сегодняшними глазами... Однако в то время рассуждали иначе: нечего и говорить, что, когда книга вышла в свет, это место в ней было опущено все без остатка, совсем.

Эх, какое же это все-таки великолепное было время для меня — та зима с сорок седьмого на сорок восьмой! Если я и жил когда-нибудь полной грудью, если я хотел когда-нибудь, чтобы время остановилось и не двигалось с места, — так это было именно тогда. Не нужно мне было никакого будущего, пусть только эти люди, голоса, эта жизнь, которой я насытил толстую общую тетрадь, с утра до вечера лежавшую у меня перед глазами, останутся со мной, и не на время, нет, не на время — навсегда. Я не только сознавал — я нутром, печенками, хребтом, наконец, чувствовал, что я живу сейчас, именно сейчас, а не в прошлом или в будущем, где мы обычно живем всю свою сознательную жизнь... Э, да что об этом говорить... Под конец я даже начал, кажется, понемногу сходиться с ума: я стал заговариваться, путать реальных и выдуманных мной людей и временами терять всякое представление о том, где и с кем я нахожусь. В одну из таких минут жена, придя в ужас от моего почти уже бреда наяву, сказала: «Ну, все, хватит. Еще немного — и ты спишишь, я не хочу жить с помешанным... Надо, наконец, выносить это все на люди...»

Почему я, дурак, не послал сразу рукопись в какую-нибудь редакцию? Зачем мне понадобилось проверять себя на ком-нибудь еще? Мало мне было жены? Видимо, мало. Видимо, иначе, несмотря на весь подъем, в котором я тогда жил, мне было бы не побороть глубокой, не поддающейся никакому контролю неуверенности в себе, так часто заставлявшей меня просыпаться по ночам в холодном поту... Конечно, то была дьявольская случайность. Впрочем... Как знать... Случайность, конечно, случайностью... И тем не менее с каждым случается именно то, что удивительно ему подходит, — мысль не моя, мысль Хаксли, но как же часто за свою теперь уже долгую жизнь я убеждался в том, что она верна...

В мае сорок седьмого я перенес острейший аппендицит, еще немного бы — и мне конец, перитонит был мне гарантирован: спас меня хирург местной лагерной больницы — вблизи городка тогда располагался довольно крупный лагерь, интересно бы посмотреть, что сейчас осталось от него? — человек умелый, решительный, лет тридцати или чуть побольше, с голубыми ясными глазами, шапкой белокурых волос и открытым, охотно улыбающимся лицом. Естественно, я испытывал тогда чувство глубокой благодарности к нему, кроме того, мне всегда были интересны люди, так явно ни в чем не похожие на меня: он прекрасно пел песни под гитару, здорово, просто восхитительно здорово ел — моя жена очень любила готовить именно ему, он был, пожалуй, единственным, кто мог по достоинству оценить ее кулинарные способности, так никогда и не раскрывшиеся до конца, — мог усидеть бутылку спирта и остаться на ногах, только глаза его при этом наливались кровью,

но речь оставалась связной и твердой, по слухам, переспал не только со всеми своими сестричками, но и со всеми моими чертежницами тоже, был охотник, спортсмен, кутила, приятель всему городу и к тому же, надо признать, был неглупый, думающий человек — каким-то образом среди всей этой кутерьмы он умудрялся еще и успевать читать книги, и, я знал, не только детективы. Единственно, что меня коробило в нем, — его неизлечимое, постоянное гыканье, но в конце концов я и к этому привык.

Вот ему-то я, после долгих размышлений, и решил первую показать то, что я сделал. Расчет был простой и, я бы сказал, в принципе довольно верный: вот так, головой, с размаху — бух в омут, выдержу — хорошо, не выдержу — туда мне и дорога. С другой стороны, если уж ему, человеку, несомненно, благожелательному и в то же время совершенно не схожему со мной в своих привычках и образе жизни, будет интересно — значит, все в порядке, значит, лучше или хуже, но меня поймут не только я сам и моя жена, но и другие, ну, а уж дальше что — это, как говорится, моя забота. Помню, он сразу очень серьезно отнесся к моей просьбе, не удивился ничему, только поморщился немного, увидев, что все это пока от руки, — для меня же перепись на машинке была в тот момент слишком уж значительным шагом, требовавшим дополнительных усилий над собой, да и не хотелось печатать здесь, в городке, где меня тоже все знали, — сунул рукопись под мышку и пообещал вернуть ее никак не позже чем через неделю. Доктор был человек слова: через неделю, день в день он был у меня.

Этот вечер, как сейчас, стоит у меня перед глазами: ничего более значительного — я имею в виду событийную сторону жизни — со мной не случилось ни до него, ни после него. Помню, как был накрыт стол, помню, где сидел доктор, где я, где жена, помню, как мы смеялись, болтали о всяких пустяках, откладывая, по молчаливому обоюдному согласию, разговор о важном на потом, когда мы останемся вдвоем, — жена с самого начала заявила, что они с сыном попозже бросят нас ради какого-то трофейного боевика, о котором уже неделю только что и разговоров было в городке, — помню даже, что я чуть ли не с момента его прихода уловил в нем что-то необычное, мне показалось, какую-то растерянность, нерешительность, что ли, но после первого же стакана эта нерешительность исчезла, и он опять стал самим собой — четким, собранным, уверенным в жизни и в себе. Когда жена, пожелав нам хорошо провести остаток вечера и не очень все же налегать на спирт — была пятница, завтра предстоял обычный рабочий день, — закрыла, наконец, за собой дверь, он выложил из кармана вчетверо сложенный лист бумаги, положил его перед собой и, твердо, ясно глядя мне в глаза, сказал:

— Георгий Михалыч, ты меня знаешь, я не люблю петлять вокруг да около. По мне лучше нож, лучше сразу проткнуть нарыв, чем мучиться со всякими припарками, от которых все равно никакого толку... Один раз я тебе спас жизнь? Надеюсь, ты не станешь такое отрицать? Только получается, что на этом не кончилось... Приходится, вижу, и в другой раз тебя спасать... На, прочти. Это копия. Предупреждаю, что оригинал уже запечатан в конверт и лежит у меня в сейфе...

Ничего не понимая, я развернул протянутый мне лист. В углу было напечатано: «Районному уполномоченному...» Ниже шел текст: «Считаю своим гражданским долгом довести до Вашего сведения, что в нашем районе мною обнаружены факты вражеской контрреволюционной пропаганды...» Дальше шла моя фамилия и прочие данные обо мне, сообщалось,

что рукопись книги у меня изъята, что в настоящее время она находится у нижеподписавшегося и может быть представлена, куда следует, в любой момент, а в качестве примера ее вредительской направленности цитировалось то самое место, которое я уже приводил здесь, включая и слова Пушкина. Внизу стояла полная подпись автора докладной.

— Прочел? Чувствуешь, чем пахнет? — Расставив локти и навалившись грудью на стол, он продолжал нарочито прямо, не отрываясь, смотреть мне в глаза. — Я тебе скажу... Не столько тебя... Мальчишку твоего и жену твою жалко — им-то за что страдать?.. Ну, так вот... Мои условия следующие: рукописи этой нет и никогда не было, место ей в печке, куда я сам ее и засуну в ближайшие же дни, а конверт этот я на всякий случай подержу — черт тебя знает, что ты еще выкинешь... Когда отлежишься, придешь в себя, поймешь, что я прав, — как говорится, милости прошу к нашему шалашу, я с тобой ссориться не намерен... Тем более из-за такой чепухи...

Комната, он, окно — все закачалось, поплыло у меня перед глазами: сказал я что-нибудь или нет — не помню и не помню, как я очутился у портупеи, висевшей на стене... Помню только, что кобура никак не поддавалась, не расстегивалась, пальцы мои дрожали — в ту же секунду чудовищной силы удар чуть ли не перешиб мне руку у запястья...

— Не балуй, дурень. С пистолетом, сам знаешь, шутки плохи... — миролюбиво, даже добродушно проворчал он, оттаскивая меня от стены к дивану: он был на целую голову выше и намного крупнее меня. Потом он расстегнул кобуру, вытащил из пистолета обойму и положил ее себе в карман. Уже одевшись, в дверях, он еще раз повернулся ко мне:

— Будь здоров... И поберегись: с ума сойдешь — на меня не рассчитывай, это не по моей части... Предупреждаю: конверт я сегодня же сдам на хранение своему фельдшеру. Так что, если опять за пистолет схватишься, учти...

Потом... Что было потом? Помню белое, без кровинки лицо жены, сидящей на диване, ее руки, зажатые в коленях, губы, почти беззвучно повторяющие одно и то же: «Как же так... как же так... так же не может быть...», — помню тиканье ходиков в простенке у двери... Помню острый, захватывающий дух холод улицы, по которой я бежал, темноту, сугробы, тоненький серп луны над головой, помню дерматиную обивку на двери барака, где жил доктор, торчащую из нее паклю, ожог на пальцах — я схватился за дверную ручку голой рукой, клубы кислого пара из коммунальной кухни в конце коридора, фигуру доктора в дверях его комнаты, его быстрый взгляд по сторонам — не видят ли соседи... Помню, что я что-то лепетал, просил его, умолял, клялся, в конце концов повалился ему в ноги — помню колени в галифе, за которые я хватался, помню его домашние тапочки без задников... Все было тщетно. Через неделю мы с женой узнали, что он взял отпуск и уехал в Россию. Из отпуска он не вернулся, и больше я его никогда не видел.

Нельзя сказать, чтобы я так сразу и сдался: нет, по-своему я боролся до конца, мне не в чем себя упрекнуть, я сделал все, что мог... Мне стоило огромного труда восстановить рукопись заново — легко себе представить состояние, в котором я тогда находился, — но я это сделал и после перепечатки сразу же послал ее в один из сибирских журналов. Спустя несколько месяцев мне пришел отказ, а в какой-нибудь другой журнал я ее послать просто не успел: весной следующего года моя книга вышла в свет под фамилией доктора, под которой она и живет в литературе до сих пор. Успех она имела большой. Многие

еще и сейчас помнят ее, и даже новое поколение, как я имел уже случай не раз убедиться, читает ее, и читает, надо сказать, не без интереса.

Что я еще мог сделать? Пойти на крест? Ради идеи, ради главного, так сказать, дела своей жизни? Нет, это был не выход. Рукопись это не только бы не спасло, а, наоборот, скорее всего окончательно бы погубило — сгрызли бы ее в конце концов мыши в подвале какого-нибудь архива, ну, а что мне самому в таком случае, по всей вероятности, не жить — об этом, по-моему, и говорить не надо. И, думаю, даже не это остановило меня тогда. Я боюсь боли, боюсь мучений — а кто их не боится? — но умереть с достоинством я, наверное, могу. Было два-три случая в моей жизни, во время экспедиций, когда мне приходилось смотреть смерти в глаза — ничего, выдержал: помню, тело как-то сразу подбиралось, голова пустела, весь я вытягивался в нечто прямое, устремленное в одну точку, — ну, что ж, прямо — так прямо, в лоб, вот она, косая, вот и все, хватит, конец — значит, конец... Страшно было не только и не столько это, страшно было другое — жена и сын.

Сейчас, оглядываясь назад, я иногда думаю: странно как-то, непохоже на других сложилась наша с ней жизнь... Ведь я, можно сказать, не любил ее вначале, жалеть — жалел, а любить — нет, начинали мы с ней не с этого, само слово это было в нашем с ней случае не очень-то уместно, по крайней мере с моей стороны, и мы оба понимали, что это так. Да и встретились мы с ней, и поженились как-то не по-людски, не так, как все: тридцать пятый год, узловая станция в степи, в Казахстане, осень, дождь, подтеки на окнах, сарай — не сарай, барак — не барак, какая-то развалюха, только и название, что вокзал, телеграфист стучит за перегородкой, тусклая лампочка, мешки, сапоги, дым, мат-перемат, уголовники в углу куражатся — выпустили после очередной амнистии, цыганки с детьми, толстые бабы на лавках, пьяные мужики — и она, тоненькая, хрупкая, сжалась, спряталась, таращит глазенками: убьют — не убьют, а все равно страшно, и до места назначения еще ехать и ехать, а что там будет, одному богу известно — глушь, степь, тоска... На другой день она стала моей женой... Спряталась ли за меня? Или действительно полюбила? Не знаю... Во всяком случае, не каждая бы выдержала потом ту жизнь, которую ей пришлось со мной вести. Как сезон, так полгода, а то и больше меня нет, черт меня знает, где я там шляюсь, с кем живу, что делаю — я не святая, она это прекрасно понимала. Но никогда она не требовала от меня никаких клятв и обещаний, да и сама, надо сказать, не связывала себя ничем... Впрочем, по-моему, ей это и не нужно было... Не знаю, так до самого конца я ни разу и не спросил у нее, была ли она мне верна, нет ли... Да и какая, в сущности говоря, разница? Разве это важно? И разве в этом жизнь?

К старости у многих людей — и я в этом смысле не исключение — особенно сильно начинает болеть совесть. Старость, помимо всего прочего, в том и состоит, что твои проступки, давно уже пережитые и, казалось бы, успешно забытые навсегда, вдруг оживают ни с того ни с сего с новой силой, преследуют, мучают по ночам, и ладно бы только по ночам — в конце концов есть же снотворное, — нет, иной раз и прямо, что называется, на свету, посреди бела дня: сидишь, смотришь в окно или тихо-мирно читаешь газету, все спокойно, все хорошо, и вдруг как кольнет, как вонзится что-то в самое сердце — дыхание сразу останавливается, на лбу проступает пот, хочется куда-то бежать, где-то спрятаться с головой от самого себя, отбиться, отмахнуться от этого навяздения... Но как отмахнуться? Нет никакой возможности от этого отмахнуться, и лекарства никакого

тоже нет, никакой водкой то, что было, не зальешь, а молиться... Кому молиться? Кого молить о прощении? Вот в чем весь ужас-то: некому молиться, некому просить о прощении, кроме как самого себя... Я не хочу этим сказать, что я совершил в жизни что-либо особенно уж тяжкое: нет, слава богу, я никого не предал, ни на кого не донес, никого не пхнул ногой, не оттолкнул локтем, к деньгам и власти всегда был, в сущности, равнодушен... И, конечно, не о яблоках речь: если бы еще и такая дребедень всерьез ложилась камнем на человеческую душу — кому ж тогда и жить на земле?... Но многое, очень многое мне все-таки хотелось бы исправить в своей жизни, и если уж не исправить, то хотя бы забыть совсем.

Два воспоминания почему-то особенно часто мучают меня. Одно — девушка, тоже топограф, любившая меня в ту памятную экспедицию, за год перед войной. Два аборта за один полевой сезон... Милое, преданное существо, не надеявшееся ни на что серьезное — у меня уже был сын, — ее глаза и сейчас стоят передо мной, и мне все кажется, что, когда она прижималась ко мне, когда гладила, ерошила мои волосы, заглядывая мне куда-то даже не в зрачки, а в самую мою душу, она все хотела, но так и не решилась никогда сказать, попросить меня — пощади... А я... Что я? Какой здоровый тридцатилетний мужик думает о чем в ослеплении страсти? Но в отместку за все я и сегодня никак не могу отогнать от себя одну и ту же картину: осенний березняк, лошадка идет шагом, я иду рядом с телегой, на телеге сено, тулуп, из-под тулупа выглядывает бледное, почти детское лицо, и глаза ее смотрят куда-то мимо меня в небо... Но иногда она поворачивает голову и улыбается мне слабой, вымученной улыбкой: мне опять удалось уговорить врача местной маленькой больницы помочь нам, и я везу ее после операции домой, в ту деревушку, где мы тогда с ней жили... Что она, как она? Как сложилась потом ее жизнь? И как она помнит обо мне? Ничего не знаю... Другое воспоминание тоже связано с больницей. Умирает мой отец, умирает медленно, долго, мучительно, уже третий месяц, желтый обтянутый лоб, провалившийся рот, глаза, затуманенные болью, но, когда боль отступает, прежний острый, словно бритва, ум опять светится в них, а взгляд печальный, каждый раз прощающий со мной, и взгляд этот, как и прежде, видит меня — здорового, сытого, полного каких-то планов, торопящегося жить — насквозь, а мне нечего ему сказать, никаких слов для него сейчас я не знаю, мне тяжело, я мучаюсь, мне неудобно, надоело сидеть на колченогой больничной табуретке, и отвратительная малодушная мысль опять начинает расти, подниматься во мне: скорее бы ты умер, отец, чего ж тянуть, и для тебя было бы лучше, и для других, и от этого мне так тошно, так хочется вскочить и убежать отсюда, что я окончательно замолкаю и так сижу, только глажу его ссохшуюся руку, перебираю пальцы, а он вдруг отвечает мне слабым, еле уловимым познанием — мол, все понимаю, брат...

Почему именно это, а не другое? Почему, например, я до сих пор не чувствую никакой вины перед женой, хотя умом и сознаю, что я доставил ей немало горьких минут, особенно в начале нашей с ней жизни? Не знаю, почему... Не знаю. Положа руку на сердце — не знаю... Может быть, потому, что те далекие первые годы успели потускнеть, расплыться в нечто полуреальное, а возможно, и вообще не бывшее никогда еще задолго до того, как мы попросились с ней в последний раз в углу Даниловского кладбища... «Прошло и не было — равны между собою...» А может быть, и потому, что эти горькие минуты на самом-то деле ничего или почти ничего не значили ни для нее, ни для меня, потому что их действительная

величина была ничтожной по сравнению с тем огромным, враждебным, что давило на нас с ней со всех сторон, — то, что люди называют словом «жизнь» и что мы выдержали с ней, вероятно, только потому, что были всегда не поодиночке, а вместе... Любил, не любил — какая же это все, в сущности, ерунда... Мы ведь прожили с ней не месяц, не год — всю жизнь... Прожили, протерпели, и не было у меня ничего дороже ее, не было ни тогда, когда я еще колобродил, ни потом и тем более ни сейчас, когда вокруг меня лишь четыре стены и даже кот мой — и тот однажды ушел и не пришел, а нового заводить, признаюсь, уже нет больше ни желания, ни сил... Сын? Я уже двадцать лет, как не нужен ему, и обижаться на это нечего — жизнь есть жизнь, не он лучше и не хуже других... Книга? А что книга? Сколько этого барахла скопилось на полках у людей, одной больше, одной меньше — какая разница, все равно все они об одном... Вот так: жил, ценил, дорожил, а может быть, иногда и не ценил, забывал ценить, ведь жена всегда была под рукой, рядом, даже небось и вовсе не замечал иной раз, есть ли она вообще, нет ли ее, сколько было всякой ненужной, изо дня в день суеты — разве теперь расскажешь... А вот ушла — и все, пустота, и оказалось, что другого-то нет и не было ничего, что бы привязывало меня к жизни...

Конечно, теперь для полноты картины мне следовало бы рассказать о том, как я жил все последующие годы — ни много ни мало, тридцать лет, — что я думал, что делал, каких людей встречал, как я относился к ним и как они ко мне... Но делать я этого все-таки не буду: и не только потому, что это утомительно — вновь ворошить свою уже практически прожитую жизнь, силы ушли, я теперь нередко засыпаю просто так, сидя за столом, но и потому, что, убежден, вряд ли это будет представлять интерес для кого-нибудь еще, кроме меня. Что обычно интересно в любом рассказе? Или событие, или мысль. Событий в моей жизни с тех пор, если не говорить о смерти жены, по существу, не было никаких, а что касается мыслей — мысли все давно вложены в ту единственную книгу и, хорошо ли, плохо ли, уже давно живут своей жизнью... Да и вообще, если бы не эта история, которая побудила меня вновь взяться за перо... Нет, вру: конечно, я не раз с тех пор брался за перо, извел, надо сказать, пропасть бумаги, но каждый раз с грустью обнаруживал, что писать-то мне, по сути дела, больше не о чем, все так или иначе — лишь перепев того, что уже было в той книге, писать же ради куска хлеба, слава богу, мне никогда не нужно было, теодолит и геодезия вплоть до пенсии неплохо кормили меня, да и того, что я имею сейчас, мне одному — хотя и очень скромно, конечно, — но в общем-то вполне хватает. Могу даже позволить себе роскошь: послать внукам в Североморск по случаю праздника какую-нибудь ерунду...

В прошлый понедельник, под вечер, я сидел у себя в кресле: то ли дремал, то ли читал — не помню, скорее всего, дремал, в последние год-два я уже не столько читаю, сколько дремлю над книгой. Я живу на самом верхнем этаже, и у меня тихо. Пожалуй, даже слишком тихо. Но зато очень удобно с богом разговаривать — до неба рукой подать... Вдруг раздался телефонный звонок, я вздрогнул — я уже давно вздрагиваю, когда звонит телефон, он теперь нередко молчит по неделям, что поделаешь — некому звонить. Это не жалоба, нет, а просто необходимая, как мне кажется, ссылка на ту обстановку, в которой я теперь живу.

— Георгий Михайлович? Здравствуйте. С вами говорят из группкома Союза литераторов... У нас тут возник один вопрос, мы чувствуем, что без вашей

консультации нам его не решить... Не могли бы вы принять нашего сотрудника? На часок, не больше... Когда? А когда вам удобно?... Хотя сегодня? Очень хорошо. Давайте сегодня — нас это тоже устраивает... Значит, договорились: наш товарищ подыдет к вам часов около семи. Время вам подходит?... Вы, если не ошибаюсь... Так, пишу: Малая Бронная, дом номер...

Ровно в семь в дверь позвонили. Гость оказался помятым, потертым человеком с большой лысиной и остатками волос, уложенных поперек черепа, с животом, в руках у него был портфель, в кармане сложенная газета, костюм серый, дешевенький — вид служивый и не скажу, чтобы очень симпатичный. Я проводил его в большую комнату, пододвинул ему стул: он уселся, водрузил портфель к себе на колени, вытащил из него пачку каких-то бумаг, скрепленных скрепкой, потом поставил портфель рядом с собой на пол, вплотную к ножке стула...

— Итак, чем могу служить?

— Георгий Михайлович, дело довольно тонкое, и без вашей помощи нам, по-видимому, не обойтись... Дело вот в чем... Мы знаем, что автором одного достаточно известного романа является вы, а не писатель Н. ...Скажу вам даже больше: мы знаем об этом, если не ошибаюсь, уже лет двадцать пять — не меньше...

— Так... Вон, значит, что... Откуда?

— Сейчас скажу... Мир не без добрых людей, Георгий Михайлович... Спустя несколько лет после выхода романа в свет мы получили сигнал из известного вам журнала, что автором книги, о которой идет речь, на самом деле являетесь вы, а не он. Письмо было подписано, и в нем были указаны некоторые ваши основные данные... Поэтому-то, кстати, мы и не потеряли вас из вида... Потом был сигнал, правда, анонимный, от ваших бывших сотрудников по картчасти. Мы, конечно, проверили и его... Потом ваша покойная жена за несколько лет до своей кончины рассказала всю эту историю одной своей приятельнице. Это тоже стало нам известно... Так что, как видите, свидетельств хватает. — Он похлопал ладонью по пачке бумаг, лежавшей перед ним. — Но все они, к сожалению, носят... как бы сказать... косвенный характер. Нам нужно ваше собственное заявление с подробным изложением обстоятельств всего дела.

— Интересно... Интересно... Позвольте тогда вопрос: а раньше-то где вы были? Сами же говорите — столько лет...

— Вопрос, конечно, законный... Хотя, прямо скажем, не такому умному человеку, как вы, казалось бы, его задавать... Что вам сказать, Георгий Михайлович? Люди есть люди, жизнь есть жизнь... Времена были непростые, а книга была нужная, хорошая была книга, таких тогда немного выходило. Бросить тень на нее — кто бы решился тогда на это? Нас бы не поняли, Георгий Михайлович, уж кому-кому, а вам это и без разъяснений должно быть ясно. Недаром вы сами не давали о себе знать все эти годы... Да и мнимый автор ее был тогда в большом фаворе, человек он, сами знаете, энергичный, хваткий, такого голыми руками не возьмешь...

— А сейчас?

— Сейчас? Сейчас другое дело. И времена другие, и он уже не тот — постарел, обмяк... Много пьет... Ведь он так больше ничего и не написал с тех пор...

— И что же... Если я напишу заявление... Справедливость, так я вас понимаю, будет восстановлена?

— Непременно, Георгий Михайлович. Непременно будет восстановлена... Надеюсь, вы понимаете, что без предварительных консультаций там, где надо, я бы к вам не пришел. Дело теперь за вами...

— А если я не напишу заявления? Тогда что?

— Как то есть не напишете? Я вас что-то не понимаю... Почему же не напишете? Вам что, безразлично, чье имя будет на книге — ваше или этого прохожимца? Не говоря уже о деньгах...

— Не знаю... Для меня это все как снег на голову... Дайте мне опомниться... Подумать... Я, наверное, позвоню вам на днях...

— Обязательно позвоните. Я буду ждать... Очень ждать вашего звонка. Запишите мой телефон... И мой вам совет: не откладывайте в долгий ящик. Конечно, над нами с вами не каплет, но ведь все, как говорится, под богом ходим. Мало ли что...

После его ухода я, конечно же, провел бессонную ночь: нашлась где-то в ящике стола пачка сигарет, дымил, пил воду, ходил из угла в угол... Собственно говоря, когда он еще сидел за столом, я уже знал, как я поступлю, но ведь надо же было обосновать свое решение, убедить самого себя, что это не причуда, не блажь выжившего из ума старика, а естественный, так сказать, итог половины, да что я говорю, — половины, по сути дела, всей моей жизни... Мсть? Отомстить, наконец, негодяю, хотя бы под занавес, на краю могилы? А зачем? И он, и я уже прожили жизнь, ненависть давно потухла, я уже давно привык к тому, что все сложилось именно так, а не иначе... Вряд ли доктор так уж был счастлив все эти годы: тридцать лет знать, что ты ничтожество, что ты живешь на ворованное, каждый день лгать, изворачиваться, щеки надувать, напускать на себя значительный вид — нет, не хотел бы я быть на его месте. По ночам-то небось суй не суй голову под подушку, а от себя никуда не денешься, разве что бутылкой себя оглоушишь, свалишься сном, но ведь это же не день, не два — всю жизнь... Люди? История? Мое имя? Господи, это-то совсем уж чепуха... Кому какое дело, кто написал эту книгу — я или он? Как меня в действительности звали, как я жил?.. Какая, скажите, разница — Шекспир или Фрэнсис Бэкон? Нет, на самом деле — какая разница? Да никакой. Никакой разницы. Разве что для десятка-другого профессионалов, которые кормятся либо от того, либо от другого из этих имен... Для меня же лично... Для меня? Что для меня? Моя песенка, как ни крутись, спета — восьмой десяток, тут уж, как говорится, не до иллюзий. Сколько мне еще осталось? Ну, год, ну, два от силы — больше, вероятно, я не протяну: сердце уже никуда не годится, и все чаще по утрам охватывает такая слабость, что прямо хоть сейчас ложись и помирай. Нет никакой возможности выбраться из-под одеяла и доползти хотя бы до ванной, лежу, глядя в потолок, до полудня, а то и дольше, надо бы встать, да сил никаких на это нет... Не могу же я в самом деле верить, что там, куда я скоро уйду, сохранится хоть какая-то связь между тем, что останется от меня — если от меня вообще что-либо останется, — и тем, что будет здесь после меня, включая и такую безделицу, как вопрос о том, кто же в действительности был автором одной из многих тысяч книг: всего поколение-два, и о ней, по всей вероятности, уже и помнить-то никто не будет. Грустно, но что поделаешь: сидеть на краю облачка и поглядывать, как там, внизу, на земле, идут без меня дела, — нет, на что другое, а на это надежды нет никакой, все эти миллионы галактик, миллиарды световых лет и всякие там шестые измерения к лучшему ли, к худшему, но уже лишили человека надежды на такой элегический исход... И еще одно, для меня, может быть, самое важное соображение... Унизительно все это... Такое ощущение, что, подай я это заявление, я тем самым тоже распишусь в собственном ничтожестве... В том, что сама по себе, без этой книги, моя личность была недостаточна для того, чтобы жить на земле... Выходит, что только книга

оправдывает мою жизнь, мое существование среди себе подобных, мое право на то, чтобы дышать и думать? Что без нее я — так просто, дерьмо и больше ничего? Ну, а если бы я ее вообще не написал — что тогда? Я ведь прожил семьдесят лет — и что же, это все был навоз истории, мусор на гигантской человеческой стройке, какой-то обломок битого кирпича, которого и вообще-то могло не быть? Может быть, так оно и есть на самом деле, более того, скорее всего именно так оно и есть, но я-то с этим согласиться не могу! Даже перевалив на восьмой десяток и зная подлинную, прямо скажем, плеваю цену отдельной человеческой жизни — все равно не могу. Гордыня? Гордыня — не гордыня, называйте, как хотите, мне уже стесняться нечего. Ясно, что это последний раз, когда я говорю в полный голос, скоро, надо думать, намолчусь всласть... В тишине и вечном-то покое... Кстати, в этой связи уместен будет и вопрос: зачем я написал этот рассказ? Зачем? А затем, что я писатель. Я писатель, и наконец-то у меня вновь появилось, что сказать, не мучась страхом за перепевы одного и того же. И не ловите меня на вранье самому себе: учитывая нашу обычную издательскую канитель, я абсолютно уверен, что если это и будет когда-нибудь напечатано, то только после моей смерти.

Через день или два я позвонил человеку, приходящему ко мне. Не буду скрывать, он был очень удивлен, более того, возмущен моим отказом, долго убеждал меня, напирал на совесть, на чувство долга, но я остался тверд; разговор был тягостным, и мы так и расстались, не поняв друг друга...

Мне вспоминается, как года три назад я сидел в доме отдыха за столом с одним глубоким стариком; ему было уже за восемьдесят, он был сух, строг, прям, и я невольно ежился под его каким-то странным, немигающим взглядом, который смотрел все время сквозь меня и позади меня — как потом выяснилось, это были последствия операции по поводу катаракты. Естественно, мы разговорились, стали вспоминать прошлое, у него тоже была нелегкая жизнь — тоже сидел, но в отличие от меня не месяцы, а годы — жена его так и умерла, не дождавись его возвращения, детей не было, теперь он ждал очереди в дом престарелых, ни родных, ни даже более или менее близких знакомых вокруг него уже не осталось — он пережил всех. Поговорили, конечно, и о болезнях — какая-то, уже не помню, хворь мучила его тогда, — я, разумеется, сказал что-то такое очень бодренькое, что-то насчет того, что это все, дескать, пустяки, от этого не умирают, выглядит он еще молодцом, еще рано, еще только, мол, жить да жить... Он вдруг замолчал, потом поднял на меня свой немигающий взгляд и сказал, медленно, серьезно, обращаясь будто даже не ко мне, а к самому себе: «Нет... Не нужно. Пора уже... Надоело...»

Помню, я тогда пожал в недоумении плечами — не поверил: как это так надоело? Врет, наверное, старик... Не много же мне понадобилось, чтобы убедиться, что старик не врал, а говорил святую, истинную правду. Всего три года... Да нет, даже меньше, ведь и со мной это началось, конечно, тоже не вчера... Надоело, скорей бы — с меня хватит, я тоже уже устал ждать. Больше мне неинтересно... Я не могу это объяснить, я прошу просто поверить мне... Разве что только воробы на подоконнике еще иногда развлекают меня или тополь, который вырос на моих глазах до самого верхнего этажа, вровень с моим окном. Но и с ними, я чувствую, я расстанусь без всяких сожалений... Мне хотелось бы закончить одной мыслью, и, прошу вас, не отмахивайтесь так просто от нее: как ни странно, во всем этом тоже есть надежда. Какая-никакая — и все-таки надежда.

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ:

**«Я ЖДУ,
ЧТО
ЗАЖЖЕТСЯ
ИСКУССТВОМ
МОЯ
НЕСТЕРПИМАЯ
БЫЛЬ...»**



Юрий Домбровский не дожил до своего семидесятилетия и умер за год до него, в мае 1978 года. В его жизни не было круглых и спокойных дат. Его мало печатали, никогда не переиздавали, о нем почти не писали, его четыре раза безвинно арестовывали и ссылали.

Из жизни его, из молодости вырваны годы и годы.

Он родился в Москве, в семье присяжного поверенного 12 мая 1909 года и был сыном Москвы, ее переулков, арбатских и сретенских.

Он был смелым, мужественным и свободным человеком. Ему не нужны были деньги и вещи, ему нужны были люди, книги и картины.

«Под плоским небом Колымы» он сумел отстоять и выковать характер гуманиста и «Хранителя древностей», как назвал он свой замечательный роман.

Роман был напечатан в журнале «Новый мир» в 1964 году, стал событием тогдашней литературной жизни, принес автору мировую известность и остался в числе любимых книг передовой читающей публики. В главном его герое — историке, археологе, филологе, искусствоведе (биографически связанным с самим Домбровским) — сосредоточен нетленный мир духовных ценностей. Его любовь к старинным книгам и древним сосудам, его жизнь и творчество особенно удивительны, потому что он окружен темными, тайными силами.

Культура и свобода под угрозой — трагическая коллизия творчества Домбровского. В 1943 году, освободившись из очередного заключения, еще находясь в больнице, тяжело больной Домбровский начинает писать роман «Обезьяна приходит за своим черепом», о котором — уже в наши дни — писатель Юрий Давыдов сказал: «...главное заключалось не в изображении зверств, а в рассмотрении нагло-изворотливой демагогии нацизма, удушения человека в человеке, бесовской практики в морозе лжеучений». Сам Дом-

бровский считал, что это роман о проблеме грубой физической силы, которой на первых порах подчиняется все и которая в конце концов оказывается совершенно несостоятельной перед силой духа. «Это не сила, а хапок», — иронизирует он в «Хранителе древностей» и несколькими страницами раньше по поводу смерти императора Августа Домбровский пишет: «Главное свойство любого деспота, очевидно, и есть его страшная близорукость. Неисторичность его сознания, что ли? Он весь тютелка в тютелку умещается в рамки своей жизни. Видеть дальше своей могилы ему не дано».

Естественно, что тема творчества и творца одна из главных для Домбровского. Не случайно, что первым его произведением был роман «Державин» (1939 год). Не случайно всю жизнь он думал и писал о Шекспире. Его книга новелл о Шекспире, начатая в 1946 году, вышла в 1969-м. Английский литературовед Эрнест Симмонс был удивлен тем, как русский сумел проникнуть в елизаветинский мир, с таким пониманием и знанием дела отразив его дух и сложность.

Перу Домбровского принадлежит рассказ «Смерть Лорда Байрона», рассказ «Арест», посвященный Грибоедову, статьи о Батюшкове, Кюхельбекере, о Жан Жаке Руссо. Он мечтал написать роман о Веневитинове и роман о Катулле, Катулл, Шекспир, Пушкин, Мандельштам были его любимыми поэтами. История Римской империи была едва ли не второй его профессией. Книга рассказов Ю. Домбровского «Факел» посвящена художникам, творившим на казахстанской земле. Здесь встретились архитектор начала нашего века Андрей Зенков, кафедральный собор которого в Алма-Ате выдержал сильнейшее землетрясение, и современный писателя ваятель масок Исаак Иткинд, и первый художник-казах Абылхан Кастеев.

Попавший в Казахстан не по своей воле, он стал защитником его национальных ценностей, оставив глубокий след

в его культуре. С какой любовью, поэзией и мастерством написана Алма-Ата в «Хранителе древностей».

Одной из первых публикаций Домбровского была статья «Книжные богатства Казахстана». Эта статья была найдена нами в пятидесятилетней давности подшивках «Казахстанской правды». Нынешнему читателю романа «Хранитель древностей» неизвестно, что, как и в жизни писателя, эта статья стала одним из главных поворотных узлов. Публикация задела музейных чиновников, и автору пришлось за это серьезно поплатиться: началась жесточайшая травля, закончившаяся новым арестом. Уже тогда он ощущал свою кровную связь с мировой культурой, осознавая ее как протяженность, преемственность и ответственность. Вот он стоит в Алма-Ате тридцать седьмого года, и трагедию Галилея и Торквато Тассо он ощущает как ту жизнь, которую ему еще предстоит прожить.

Это было взаимодействие кровное и непрерывное: мировую культуру он поверял опытом собственной жизни, и духовный опыт человечества, бесстрашно пропущенный

сквозь себя, претворялся в создаваемый им образ современной истории. «Совесть — орудие производства писателя, — любил повторять Домбровский. — ...Нет у него этого орудия — и ничего у него нет. Вся художественная ткань крошится и сыплется при первом прикосновении». «Совесть — инстанция внутренней кары», — сказал он однажды. И в другой раз: «Конечно, высшая мораль в обычной жизни неудобна и непривычна, с ней очень трудно мириться в текучей повседневности. Зато она приходит как озарение. А озарению подчиняются».

Ниже мы печатаем статью «Книжные богатства Казахстана» и оставшуюся у нас неопубликованной его работу «Итальянцам о Шекспире — главные проблемы его жизни».

Но существует и совсем неизвестный Домбровский. Это Домбровский — поэт. Друзья знали о том, что Домбровский пишет стихи. Он читал их вслух в особые минуты доверия. Но никогда не пытался публиковать. Это — лагерные стихи. Естественно, что только под некоторые из них есть даты.

☆☆☆

...Зарождается, бьется,
И с воплем проносится мимо...
Только скажешь полслова —
И дрябло свисает в руках.

Ни одна из дорог
Не должна дотянуться до Рима...
Ни одна из тревог
Не должна уместиться в стихах...

Я поверил, что сердце —
Глубокий колодец свободы,
А в глубоких колодцах
Вода тяжела и темна.

Я готов дожидаться...
Мучительно плещутся воды.
Я бадью опускаю
До самого черного дна!

(1930/ 297/)

☆☆☆

Когда нам принесли бушлат
И, оторвав на нем подкладку,
Мы отыскиали в нем тетрадку,
Где были списки всех бригад,
Все происшествия в бараке —
Все разговоры, споры, драки, —
Всех тех, кого ты продал, гад!
Мы шесть билетиков загнули —
Был на седьмом поставлен крест.
Смерть протянула длинный перст
И ткнула в человеческий улей...
Когда в бараке все заснули,
Мы встали, тапочки обули,
Нагнулись чуть не до земли
И в дальний угол поползли.

Душил «наседку» старый вор,
И у меня дыхание сперло,
Когда он, схваченный за горло,
Вдруг руки тонкие простер
И быстро посмотрел в упор,
И выгнулся в предсмертной муке,
Но тут мне закричали: «Руки!»
И я увидел свой позор,
Свои трусливые колени
В постыдной дрожи преступленья.
Конец! Мы встали над кутком,
Я рот обтер ему платком,
Запачканным в кровавой пене,
Потом согнул ему колени,
Потом укутал с головой:
«Лежи спокойно, Бог с тобой!»

И вот из досок сделан гроб,
Не призма, а столярный ящик.

И два солдата проходящих
Глядят на твой спокойный лоб.
Лежи! Кирка долбит сугроб.
Лежи! Кто ищет, тот обрящет.
Как жаль мне,
что не твой заказчик,
А ты, вмороженный в сугроб,
Пошел по правилу влюбленных
Смерть обнимать в одних кальсонах.

А впрочем: для чего наряд?
Изменник должендохнуть голым.
Лети ж к созвездиям веселым
Сто миллиардов лет подряд!
А там земле надоедят
Ее великие моголы,
Ее решетки и престолы,
Их гнусный рай, их скучный ад.
Откроют фортку: выйдет чад,
И по земле — цветной и голой —
Пройдут иные новоселы,
Иные песни прозвучат,
Иные вспыхнут Зодиаки,
Но через миллиарды лет
Придет к изменнику скелет —
И снова сдохнешь ты в бараке!

Солдат — заключенной

Много ль девочке нужно? Не много!
Постоять, погрустить у порога,
Посмотреть, как на западе ало
Раскрываются ветки коралла.
Как под небом холодным и чистым
Снег горит золотым аметистом —
И довольно моей парижанке,
Нумерованной каторжанке.
Были яркие стильные туфли,
Износились, и краски потухли,
На колымских сугробах потухли...
Изувечены нежные руки,
Но вот брови — как царские луки,
А под ними, как будто синицы,
Голубые порхают ресницы.
Обернется, посмотрит с улыбкой,
И покажется лагерь ошибкой,
Невозможной фантазией, бредом,
Что одним шизофреникам ведом...
Миру ль новому, древней Голгофе ль
Полюбился ты, девичий профиль?
Эти руки в мозолях кровавых,
Эти люди на мертвых заставах,
Эти бышущие в беспорядке
Потемневшего золота прядки?
Но на башне высокой тоскуя,
Отрекаясь, любя и губя,

Каждый вечер я песню такую
Как молитву твержу про себя:
«Вечера здесь полны и богаты,
Облака, как фазаны, горят.
На готических башнях солдаты
Превращаются тоже в закат.
Подожди, он остынет от блеска,
Станет ближе, доступней, ясней
Этот мир молодых перелесков
Возле тихого царства теней!
Все, чем мир молодой и богатый
Окружил человека, любя,
По старинному долгу солдата
Я обязан хранить от тебя.
Ох ты время, проклятое время,
Деревянный бревенчатый ад!
Скоро ль ногу поставлю я в стремя
И повешу на грудь автомат?
Покоряясь иному закону,
Засвищу, закачаюсь в строю...
Не забыть мне проклятую зону,
Эту мертвую память твою;
Эти смертью пропахшие годы,
Эту башню у белых ворот,
Где с улыбкой глядит на разводы
Поджидающий вас пулемет.
Кровь и снег.

И на сбившемся снеге
Труп, согнувшийся в колесо.
Это кто-то убит «при побеге»,
Это просто убили — и всё!
Это дали работу лопатам,
И лопатой простились с одним.
Это я своим долгом проклятым
Дотянулся к страданиям твоим.
Не с того ли моря беспокойны
Обгорелая бредит земля,
Начинаются глупые войны,
И ругаются три короля.
И столетия уносит в воронку,
И величье проходят, как сны,
Что обидели люди девчонку,
И не будут они прощены!
Только я, став слепым и горбатым,
Отпущу всем уродством своим —
Тех, кто молча стоит с автоматом
Над поруганным детством твоим».

Убит при попытке к бегству

Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц —
совсем не легкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь —
и вновь по снегу зашагаешь,

Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг

летчайшее сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!

Солдату дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Тажный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге,

ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень —

что ж тебе еще?

Так две недели протекли, и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит —

все ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери,
Берет он браунинг.

Милая душа,
Как ты сильна
под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть

над ним крыло уже простерла.
«Стреляй! Стреляй!»

В кого ж теперь стрелять?
«Из горла кровь!»

Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели?
В тайге ходили, черный камень ели,
И с храпом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!

И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.
(1949 г.)

☆☆☆

Я не соблюл родительский обычай,
Не верил я ни в чох,
ни в птичий гай —
Ушли огни, замолк их гомон птичий,
И опустел иконописный Рай.
Взгляни теперь,
как пристально и просто
Вдали от человеческих нор и гнезд
Глядят кресты таежного погоста
В глаза ничем не возмутимых звезд.

Здесь сделалась тоска земли
Близка мне, здесь я увидел
Сквозь полярный свет,
Как из земли ползут нагие камни
Холодными осколками планет.

Могила неизвестного солдата!
Остановись, колени преклоняя,

И вспомни этот берег ноздреватый,
Зеленый снег и на снегу — меня.
Здесь над землей, израненной и нищей,
Заснувший в уповании наготы,
Я обучался кротости кладбища —
Всему тому, что не умеешь ты.
(Зима 1941 г.)

☆☆☆

Медлительный еврей
с печальными глазами
Мне говорит о тайнах бытия,
Как человеком сделалась змея,
Накормленная райскими плодами.
Все спит кругом, —
нет третьего меж нами, —
Но ты со мной, бессонница моя!

Он мудр и тих. Все библии изведав,
Ведет он неуклонно речь свою,
Как сделал из Молчалина змею
В комедии премудрый Грибоедов.
Все спит кругом —
никто не слышит бреда,
Никто не слышит сказку про змею.

Мой Господин!
Ты знаешь жизнь мою:
Мой скорбный путь
и грустную победу.
Ты дал мне ум,
велел мне плод отвесть,
Стать хилым и похожим на змею.
Теперь я стар!
Спаси ж меня от бреда,
А бурю я любую простою!

Мария Рильке

Выхожу я один из барака,
Светит месяц желтый, как собака,
И стоит меж фонарей и звезд
Башня белая — дежурный пост.
В небе — адмиральская минута,
И ко мне из тверди огневой,
Выплывает, улыбаясь смутно,
Мой товарищ, давний спутник мой!
Он — профессор города Берлина,
Водовоз, бездарный дровосек,
Странноватый, слеповатый,

длинный,

Очень мне понятный человек.
В нем таится, будто бы в копилке,
Все, что мир увидел на веку.
И читает он Марии Рильке
Инеем поросшую строку.
Поднимаю палец свой зеленый,
Заскорузлый, в горе и нужде,
«Und Eone redet mit Eone»
Говорит Полярной он звезде.
Что могу товарищу ответить?
Я, делящий с ним огонь и тьму?
Мне ведь тоже светят звезды эти
Из стихов, неведомых ему.
Там, где нет ни времени предела,
Ни существований, ни смертей,
Мертвых звезд рассеянное тело.
Вот итог судьбы твоей, моей:
Светлая, широкая дорога —
Путь, который каждому открыт.
Что ж мы ждем?

Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Утильсырьё

Он ходит, черный, юркий муравей,
Заморыш
с острыми мышиными глазами;
Пойдет на рынок, станет над возами,
Посмотрит на воза, на лошадей,

Поговорит о чем-нибудь с старухой,
Возьмет арбуз и хрустнет возле уха.
В нем деловой непримиримый стиль,
Не терпящий отсрочки и увертки, —
И вот летят бутылки и обертки,
И тряпки, превращенные в утиль,
Вновь обретая прежнее название,
Но он велик,
Он горд своим призваньем:
Выслеживать, ловить их и опять
Вещами и мечтами возвращать!

А было время: в белый кабинет,
Где мой палач
синел в истошном крике,
Он вдруг вошел,
ничтожный и великий,
И мой палач ему прокаркал: «Нет!»
И он вразвалку подошел ко мне,
И поглядел мышиными глазами
В мои глаза, —
а я был, словно камень,
Но камень, накаленный на огне.
Я десять суток не смыкал глаза,
Я восемь суток проторчал на стуле,
Я мертвым был,
я плавал в мутном гуле,
Не понимая больше ни аза.
Я уж не знал,
где день, где ночь, где свет,
Что зло, а что добро,
но помнил твердо:

«Нет, нет и нет!»

Сто тысяч разных нет
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки
Тупого оловянного накала,
В покатый лоб,
в сплюснутый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!
И он сказал презрительно-любезно:
— Домбровский,
вам приходится писать... —
Пожал плечами: «Это бесполезно!»
Осклабился:
«Писатель, вашу мать!...»

О, вы меня, конечно, не забыли,
Разбойники нагана и пера,
Лакеи и ночные шофера,
Бухгалтера и короли утиля,
Линялые гадюки в нежной коже,
Убийцы женщин, стариков, детей!
Но почему ж убийцы так похожи,
Так мало отличимы от людей?
Ведь вот идет, и не бегут за ним
По улице собаки и ребята,
И здравствует он, цел и невредим —
Сто раз прожженный

тысячу — проклятый.
И снова дома ждет его жена —
Красавица с высокими бровями.
И вновь ее подушки душат снами,
И ни покрывки нету ей, ни дна!
А мертвые спокойно, тихо спят,
Как
«Десять лет без права переписки»...
И гадину свою сжимает гад,
Равно всем

омерзительный и близкий.
А мне ни мертвых не вернуть назад,
И ни живого вычеркнуть из списков!
(Алма-Ата, рынок, 1959 г.)

☆☆☆

Увы, весь этот мир не для меня!¹
Неискренний, двуличный
и пылливый,
Я полюбил змеинные отлив
И радуги угарного огня.

¹ Из цикла «Апри Руссо».

Я полюбил разъятый, словно труп,
Мой страшный мир
в палитре увяданья:
Но в оный час,
когда из жестких губ
Вдруг вылетит склерозное дыхание,
И будет взгляд мой искренен и туп,
Но страстного исполнен ожидания,
И я увижу смерть — совсем не ту,
Что с детства мне
обещана преданьем,—
А дикий свет, нагую высоту,
Вне образов, времен и очертанья...
И вдруг пойму,
что тяжкий подвиг мой,
Ты, жизнь моя!
Не прашуров наследство,
А только путь
бессмысленно прямой,
Бессмысленно пустой,
в нагое детство.
И затоскую, смертно трепеща,
Приди тогда из облачных расселин,
И возврати мне тигра,
солнце, зелень
И музу старую под щетками хвоща.

☆☆☆

Пока это жизнь, и считается
Приходится бедной душе
Со смертью без всяких кассаций,
С ночами в гнилом шалаше.

С дождями, с размокшей дорогой,
С ударом ружья по плечу.
И с многим, и очень со многим,
О чем и писать не хочу.

Но стараюсь и телом и чувством
И весь разлетаюсь, как пыль,
Я жду, что зажжется Искусством
Моя нестерпимая боль.

Так в вязкой смоле скипидарной,
Попавший в смертельный просак,
Становится брошью янтарной
Ничтожный и скользкий червяк.

И рыбы, погибшие даром
В сомкнувшихся створках врагов,
Горят электрическим жаром
И холодом жемчужов.

Вот так под глубинным давлением
Отмерших минут и годов
Я делаюсь стихотвореньем —
Летучей пульсацией строф.

Кампанелла — палачу

О пытка! Я ль тебя не знаю!
Со мной ли ты была слаба!
Стирая пот и кровь со лба,
Я, как любовник, припадаю
На чресла острые твои,
Но страшен пыл твоей любви!
Твои пенёковые объятья
И хруст взбесившихся костей,
И поцелуй, и заклатья —
Все то, что не сумею дать я
Иной любовнице моей.
Узлом завязанное тело,
Душа, присохшая к кости...

О! До какого же предела
Тебе, изгнанница, расти?
Взмахни ж крылом и будем рядом,
Все выше, дальше, чуть дыша,
И вот пред Господом с парадом
Идет мертвец с зеленым взглядом
И постаревшая душа.
Они идут, огнем палимы —
Два вида сущностей иных,—
И громко славят серафимы
Условным песнопеньем их.
А там идет еще работа,
Кипит последняя борьба,
Палач, издерганный до пота,
Отбросил волосы со лба.
Он встал, взыскательный маэстро,
И недоволен, и суров
Над жалкой гибелью оркестра
Своих веревочных станков.
Ну что ж, здоровая скотина,
Чего там думать? Вот я, здесь!
Возьми, к огню меня подвесь,
Сломай мне ребра, жги мне спину!
Не бойся, тещь собачью спесь,
Веревка сдаст — найдешь дубину!
И будь спокоен — вот я весь,
Не обману и не покину!

Мыши

Нет, не боюсь я смертного греха,
Глухих раскатов львиного рычания:
Жизнь для меня отыщет оправданье
И в прозе дней, и музыке стиха.
Готов вступить я с ним

в единоборство,
Хлыстом смиритъ

его рычащий гнев —
Да переменит укрощенный лев
Звериный нрав

на песье непокорство!
В иных грехах такая красота,
Что человек от них светлей и выше.
Но как пройти мне в райские врата,
Когда меня одолевают мыши?
Проступочков ничтожные штришки:
Там я смолчал,

там каркнул, как ворона.
И лезут в окна старые грешки,
Лихие мыши жадного Гаттона,
Не продавал я, не искал рабов,
Но мелок был, но надевал личины...
И нет уж мне спасенья от зубов,
От лапочек,

от мордочек мышиных...

О нет,
не лвы меня в пустыне рвут:
Я смерть приму с безумием веселым.
Мне нестерпим мышиный этот зуд
И ласковых гаденышей уколы!
Раз я не стою милости твоей,
Рази и бей! Не подниму я взора;
Но, Боже мой,

казня распытьем вора,
Зачем к кресту
ты допустил мышей?!

Амнистия

(апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выборов каждому пятому
Ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясаясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уведится
Неугодного Небу зверья,—
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная дева моя!

Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!

Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят серафимы печальные,
Золотые прищурив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;

Как крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли,
Исчезает в них скорбью великая
Умудренная сволочь земли.

И глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверье,
Я кричу:

«Ты права, Богородица!
Да прославится имя твое!»

(Колыма, зима 1940 г.)

☆☆☆

Есть дни — они кипят, бегут,
Как водопад весной.
Есть дни — они тихи, как пруд,
Под старою сосной.

Вода в пруду тяжка, темна,
Безлюдье, сон и тишь,
Лишь желтой ряски пелена,
Да сказочный камыш.

Да ядовитые цветы
Для жаб и змей растут...
Пока кипишь и рвешься ты,
Я молча жду, как пруд!

(В карьере)

КНИЖНЫЕ БОГАТСТВА КАЗАХСТАНА

Среди крупнейших книгохранилищ Союза Казахская государственная публичная библиотека имени А. С. Пушкина (Алма-Ата) заслуженно занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям, книжные фонды ее содержат свыше 612 тысяч томов на 35 языках мира.

Значение библиотеки определяется не только количеством книг. Библиотека располагает редчайшими, уникальными изданиями, иногда не имеющими себе равных в Союзе. В ее огромных хранилищах можно найти восточные рукописи, восходящие к XII веку, ценнейшие фоллянты XVI столетия, зарубежные издания русской вольной типографии в Лондоне, редчайшие прижизненные издания средневековых гуманистов, книги и брошюры, выпущенные Конвентом в период Великой французской революции, полные экземпляры старопечатных повременных изданий.

☆☆☆

На одной из полок стоит экземпляр полного издания знаменитой французской Энциклопедии. С пожелтевшего листа смотрит чуть полное, улыбающееся лицо Дидро. Это редактор и один из деятельнейших авторов Энциклопедии. Ему и Д'Аламберу удалось привлечь к участию в издании все лучшие умы того времени. Наряду с Руссо авторами статей были Вольтер, Бюффон, Монтескье, Гельвеций.

Молодая революционная буржуазия Франции открыла со страниц Энциклопедии бешеный огонь по самым непоколебимым устоям католической церкви и феодального государства.

Ни церковь, ни государство не остались в долгу. Закон ответил на «дерзкие» мысли энциклопедистов всевозможными ограничениями, конфискациями, преследованиями. Церковь авторитетно пообещала в случае продолжения издания сжечь на одном костре вместе с Энциклопедией и ее авторов, причем это обещание отнюдь не звучало в то время праздно угрозой.

Репрессии против Энциклопедии усиливались с выходом каждого нового тома: редакторам приходилось скрывать место издания очередных томов. Кончилось тем, что Д'Аламбер «снял» с себя обязанности редактора, издание готово было прекратиться, едва дойдя до половины. Однако Дидро был непоколебим. Пусть подкупленные наборщики отказывались набирать наиболее острые места, пусть перетрусившие издатели потихоньку от редактора переименовывали целые страницы — единственный редактор упорно работал над текстом последних томов. Через 29 лет после выхода в свет первого тома издание было закончено. Всего (за промежуток) с 1751 года по 1780 год вышло 35 томов. Издание в библиотеке не является первым, но оно закончено только на год позднее парижского и является одной из самых ранних перепечаток.

На столе лежит небольшая стопка книг, принесенных из особого книгохранилища. Открываем одну из них. С желтой страницы глядят наивные двуглавые чудовища, жирные амурсы лезут вверх по книжной рамке, деревянные ангелы трубят, далеко отбросив назад пухлые лица.

Это издание, датированное 1535 годом, — один из величайших памятников раннего немецкого гуманизма — «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского. Автор ее — лингвист, философ, блестящий знаток древних языков, писатель, достигший в своей острой сатире неподражаемой гибкости и чистоты латинского языка.

Первое издание «Похвалы Глупости» вышло в Париже в 1509 году; успех книги был настолько велик, что за 27 лет она была переиздана еще 40 раз. Причина этого единственного в своем роде успеха лежит в острой социальной направленности сатиры. Объект ее нападения — невежество и алчность католического духовенства — сделал книгу популярной среди самых разнообразных социальных прослоек. В этом отношении интересна внешность казахстанского экземпляра. Он весь исписан разными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи, в середине на полях скоропись XVI века, на последнем листе четкие

еврейские письмена. Сколько различных людей по-разному читало и штудировало эту книгу!

Следующая книга написана по-латыни. Вот ее далеко не полное заглавие: «Книга автора Галилео Галилея, Лиценциата Пизанской Академии, Экстраординарного математика, в которой находится семь диалогов о двух мирах Птолемея и Коперника с прибавлением об описании и движении Земли».

На форзаце — гравюра, изображающая трех астрономов, занимающихся наблюдением за восхождением Солнца. Возле дряхлого Аристотеля и кряжистого Птолемея, похожего на кулачного бойца, гибкая и молодая фигура Коперника.

Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной астрономии, посвящены толстые научные монографии на всех языках мира. Ее происхождение детально обследовано целыми поколениями историков. Книга Галилея вышла во Флоренции в феврале 1632 года, а в 1633 году 69-летний автор, на коленях и в рубище, отрекался в подвалах инквизиции от истин, изложенных в 7 диалогах.

В Казахстанской библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой «Эльзевиров» через два года после осуждения ее автора. Чтобы не погубить Галилея, переводчик старательно оговаривается, что книга выпущена без ведома и согласия автора. Инквизиции, державшей в руках великого старика, пришлось сделать вид, что они верят в ту наивную оговорку.

С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый, четкий шрифт книги, невольно веришь странной легенде, говорящей о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра.

Следующая книга — одно из первых изданий «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. Этот экземпляр венецианского издания некогда принадлежал графу Строганову, если верить надписи на внутренней стороне переплета. Итальянский поэт Торквато Тассо — одна из самых гениальных и трагических фигур истории. Поэты всего мира, начиная с Гете, запечатлели его скорбную фигуру в ряде своих лучших произведений. Доведенный до сумасшествия двором феррарского герцога, великий поэт был брошен в сумасшедший дом и пролежал там 7 лет.

Популярная народная легенда связывает историю его заключения с безнадёжной любовью поэта к сестре герцога — прекрасной Элеоноре.

Отношение Тассо к «Освобожденному Иерусалиму» — самому крупному и великому из своих произведений — очень похоже на отношение Гоголя к «Мертвым душам». Поэт долго держал под спудом рукописи своей гениальной поэмы, неоднократно пытаясь переделать ее в сторону католицизма. Он сушил, коверкал, искажал свое великое произведение до тех пор, пока оно не было выпущено без его ведома, и вся Италия вдруг заговорила о Тассо как о величайшем поэте эпохи. Тогда, спеша и стыдясь своей славы, Тассо выпустил второе издание, искаженное до неузнаваемости, но на этот раз отвечающее всем правилам церкви. Первое «пиратское» издание растащили по всей стране, разменяли на поговорки и пословицы, пронесли от моря до моря в виде звонкой и радостной песни; второе авторское издание стало только необходимым привеском к полному собранию сочинений великого поэта — материалом для комментариев и узконаучных исследований.

Последняя книга, которой ограничилась наша беглая разведка книжных богатств библиотеки имени А. С. Пушкина, не отнесена администрацией к числу редких изданий. Она скромно стоит на книжной полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый, поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету ценность. Это огромный фоллиант по истории инквизиции, датированный 1685 годом. С редкой обстоятельностью, год за годом рассказывает эта жуткая книга о казнях, пытках и религиозных гонениях. Незвестный художник щедро иллюстрировал ее массой прекрасных гравюр. Дыба, костер, испанский сапог, четвертование, виселицы — вот темы этих мрачных и прекрасных иллюстраций.

Что это за книга, как она попала в Казахстан? Имеется ли еще где-нибудь хоть один экземпляр? На эти вопросы зав. иностранным отделом тов. Попятна никакого ответа дать не смогла. А между тем есть основания думать, что книга является ценностью уникальной, что второго такого экзем-

пляра нет ни в одном книгохранилище мира. По крайней мере о ней не упоминает даже такой обстоятельный ученый — историк инквизиции, как Льюоренте, не вспоминает в своей трехтомной истории инквизиции Генрих Ли, не знает советский исследователь инквизиции профессор Лозинский. Имя Бритта, стоящее на титульном листе издания, пока ничего не говорит современному читателю. Книга ждет своего исследователя.

В других отделах (рукописей, русских старопечатных изданий и др.) можно найти не менее интересные и редчайшие экземпляры.

ИТАЛЬЯНЦАМ О ШЕКСПИРЕ — ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЖИЗНИ¹

Первый раз, когда я услышал и увидел Шекспира, я был уверен, что он итальянский писатель. Вот буквально так. Шел «Венецианский купец», и на сцене цвела Италия, стояли розовые дворцы, росли голубые кипарисы, звучала арфа, ходили мужчины и женщины в бархатных костюмах (почему-то бархат был только синий и малиновый) с этикими-разэтикими высокими стоячими воротничками. А происходило это в маленьком дачном местечке, под самой Москвой. Давала спектакль какая-то развеселая бродячая труппа, без имени и звания. Таких тогда (а дело относится не то к 15-му, не то к 16-му году) в России было сколько угодно.

Я ничего определенного не вынес из этого спектакля. Все шекспировское — и мудрую прекрасную Порцию, и благороднейшего Антонио, и страшного, кровожадного Шейлока (с рыжей козлиной бородой) — я уже узнал много-много позже. Тогда я просто сидел, смотрел и слушал, даже не слушал, а впитывал то, что происходило на сцене, всеми порами тела. А на тряпучих досках летнего театра, похожего на большую купальню, был юг, Венеция — там ходили раскованные красивые люди, которые любили, дрались, убивали и умирали. И все это свободно, без всякого принуждения. Сейчас я-то, конечно, хорошо понимаю, что актеры были плохие, да и спектакль много не стоил, но вот ощущение свободы и красоты я унес тогда с собой и сохранил его на всю жизнь. Именно так: блеск, красота, южная ночь, смутная лунная тишина — далекая, таинственная Италия.

«Да, вот это люди жили, — удивленно и даже как-то подавленно сказал около меня какой-то насквозь прокуренный дядька в костюме табачного цвета. — Ничегошеньки не боялись, отважно жили!» Он сказал самое главное: эти люди были свободны от страха и унижения. А их в то время уже было предостаточно. И хотя в пьесе Шекспира люди тоже боялись очень многого, я как-то всем своим существом понял и почувствовал, что дядька-то прав. Прав, по существу, в том vyšшем для меня смысле, что все вещи Шекспира об Италии — это вещи о человеческой легкости, пластичности, раскованности — словом, о той свободе в выборе добра, зла, красоты, которой сам автор никогда у себя дома не пользовался.

И вот прошло много-много лет. И первая мировая война кончилась, и вторая началась, и вторая уже кончилась, и о третьей уже заговорили, я поседел и постарел, прочитал, наверное, почти все главное, что написано о Шекспире на пяти языках... И все-таки, сколько бы я ни узнавал о нем нового и что бы и как бы ни придумывал сам, ничто никогда не вытеснит у меня из памяти того неповторимого, что я унес с собой в холодный осенний вечер незапамятно далекого года (обстреливали Реймский собор, и пала Бельгия).

Я уже сказал, это было только первое знакомство. За годы, которые отделяют меня от той бродячей труппы и летнего театра, я много раз перечитал в подлиннике все вещи Шекспира. Могу уверить, что это очень тяжелое дело, к нему так просто не подойдешь. Оно обставлено, обусловлено и, если хотите, даже заставлено специальными словарями, всякими штудиями и толкованиями. Ведь что ни говори, Шекспир — один из самых трудных писателей мира. Не для понимания трудный, а для принятия. Ведь вот другой гений, и, может быть, не меньший, Лев Толстой, так и не сумел ни принять, ни помириться с ним.

(Но и тут все-таки маленькая оговорка. В истории с Толстым все совершенно не так просто, как мы к этому привыкли. Конечно, Шекспир с его видимым безразличием к вопросам учительской морали Толстого никак не устраивал. Это ясно само собой. Но вот в 1937 году в журнале «Ино-

странный литература» были опубликованы заметки молодого Толстого на полях «Гамлета». Оказалось, что Лев Николаевич очень высоко оценивал эту трагедию и особенно все сцены с Офелией.)

Так вот, для меня самая верная оценка объективности эстетического вкуса человечества заключается в том, что мир все-таки сумел признать Шекспира. И это была, конечно, победа зрителя. Ученые приплелись только много-много позже — так, лет через сто. А на пути принятия стояло очень многое: и все-таки почти средневековая мораль (вера в ведьм!), и пренебрежение к внешнему правдоподобию, и чудовищность метафор, и немыслимые сейчас длинноты, и то угодение низменному вкусу конюхов, матросов и дворян, который нам не только понять, но и принять очень трудно, — все эти отрезанные руки, выколотые глаза, лужи крови. Словом, очень многое стоит между нами и Шекспиром. И надо сознаться, дело тут отнюдь не только в годах. И все-таки мир сумел нащупать и ухватиться за самое главное звено — за ту вот свободу человека, за то понятие о его самостоятельности, которая из всех елизаветинцев присуща только Шекспиру. Она-то и побеждает все. Человек абсолютно свободен и ничем не обременен. Вот одна из главных мыслей Шекспира. Он знал и чувствовал это всем существом, когда садился писать свои невероятные кровавые истории. Его любовь к Италии идет именно отсюда. И Меркуцио, и Ромео, и Джульетта, и Антонио, и Порция абсолютно свободны. А вот Шейлок — нет! Был у нас такой очень крупный театральный критик — Кугель. Вот он как-то написал о Шейлоке, что его трагедия состоит совсем не в том, что он не знает, идти или не идти ему на карнавал, а в том, что он просто немыслим на этом карнавале. У него единственного из всех действующих лиц нет свободы выбора. Он обречен. Он может что угодно, пожалуй, сделать с Антонио, но с собой он уже ничего не делает, не предпринимаем для этой жизни. Его друзья и враги находятся по ту ее сторону. Значит, он обречен и внешне, и внутренне. Эти ужасные слова «немыслим на карнавале», и Шекспир его понимал полностью. Вот почему он любил Италию. В ней, казалось ему, все мыслимо, все раскованно и свободно: чувства, слова, стихи, сонеты.

Был ли Шекспир в Италии? Это часть вопроса куда более обширного. Покидал ли он вообще свой остров? Это проблема чрезвычайной трудности, которую мы, пожалуй, никогда не сможем разрешить полностью. Ведь ничего подобного кумранским находкам в шекспироведении не предвидится. Вероятно, мы навсегда останемся при том, что мы знаем сегодня. Во всяком случае, ясно, что, когда писалась «Ромео и Джульетта», автор ее Италии не видел. И тем не менее итальянский колорит передан с поразительной верностью. Нет, не тот колорит реальный, раздираемый мелкими и крупными шакалами и хищниками Италии, о которой мы прочли бесчисленное количество трудов, а Италии «моей мечты», Италии романтической, волшебной, феерической, которую каждый носит в себе и неосознанно вспоминает, когда произносятся такие слова, как Боттичелли, Леонардо, храм Петра, замок Ангела и, наконец, Ромео и Джульетта. Да, я утверждаю, что в наше представление об Италии эти двуединные имена вошли как один из основных компонентов, как нечто Италии химически сродное. Без них наше представление об этой стране не то что не полное, а совсем иное.

Но Италия того времени была мистична. Это была не только страна политиков-тиранов, не только родина Макиавелли, не только рай обетованный купцов и изобретателей бухгалтерии, но и страна Франциска Ассизского и Савонаролы. Понимал ли это Шекспир? Мне кажется, да. Во всяком случае, в уста Джульетты вложено то представление о жизни, смерти и жизни после смерти, которое Шекспир с такой силой и полнотой до конца развил в «Гамлете». Вы помните знаменитый монолог принца? Его «Быть или не быть?». Вот отрывок в моем подстрочном переводе:

«Умереть, уснуть? Быть может, видят сны — вот в чем вопрос! Какие же сны могут грезиться во время этого мертвого сна, когда мы уже сбросили с себя все тревоги? Тут есть перед чем остановиться! Из-за такого вопроса мы себя обрекаем на долгие-долгие годы земного существования? Кто в самом деле захотел бы сносить бичевание и презрение времени, гнет притеснителей, оскорбления гордецов, наглость власти, медлительность в исполнении законов и все удары, получаемые с терпеливым достоинством, когда он сам бы мог избавиться от всего одним ударом кинжала?.. Если

¹ Написано по заказу АПН в 1969 году.

бы не боязн что-то после смерти, страха перед неизвестной страной, из которой путники не возвращаются. Так совесть нас превращает в трусов».

Ну, конечно, это мысль самого Шекспира. И ручательством этого для меня служит не только то, что великий 66-й сонет написан именно на эту же тему, и не то даже, что эти слова невозможны в устах принца (критика мирового нестройства дана здесь снизу вверх), а как бы ни чувствовал себя одиноким в зале Эльсинора принц Датский, он может не бояться «медлительности законов и бичевания времени» — все эти соображения, конечно, очень важны. Но для меня важнее еще то, что первый раз эти мысли с такой грозной образностью и реальностью приходят в голову Джульетте, когда она остается одна в спальне. И вот что ее сейчас мучает:

«О, боже, боже! Разве невозможно, что раньше времени меня разбудят возгласы тлена, подобные стону мандрагоры, сводящие с ума и убивающие всякого, кто их слышит. Что, если я проснусь, окруженная всеми этими отвратительными ужасами, и в безумии начну играть костями моих предков. Что если я, подобно волку, размозжу себе голову этими костями».

Да, вероятно, это был тот единственный довод, который молодой Шекспир мог в ту пору привести против самоубийства. Как ты, не зная природу смерти, смеешь к ней стремиться? А он ведь стремился. Для меня это стало совершенно ясно, когда я прочитал в подлиннике 74-й сонет. Почти все критики относят его ко времени, очень близкому написанию «Ромео». Тут разница может быть в одном или двух годах. Мне хочется его привести тут почти полностью и буквально:

«Когда жестокий приговор удалит меня, не допуская ничего взять меня на поруки, — моя жизнь будет находиться в этих стихах. Они навсегда останутся при тебе, как мое напоминание. Вот когда ты на них взглянешь, ты снова и снова увидишь то самое главное, что было посвящено тебе. Земля может забрать себе лишь мой прах, принадлежащий ей. Но дух мой — он у тебя. А это моя лучшая часть. Поэтому ты утратишь лишь подонки жизни, добычу червей, мой труп, подлую жертву разбойничьего ножа, слишком низкую, чтобы ее еще вспоминать. Единственно драгоценным было то, что содержалось во мне. И вот оно с тобой».

Для меня это звучит поистине как записка, оставленная на столе в утро самоубийства. Но опять-таки тот же неразрешимый биографический вопрос: все ли сонеты были написаны в одно время? Мы знаем, что первое издание появилось в 1609 году, значит, уже после выхода в свет всех великих трагедий Шекспира. Ну, а когда они сами-то были написаны? Каждый сонет по отдельности — когда? Это неизвестно. И тут мы подходим к знаменитому вопросу о том, что же из себя представляют эти 154 поэтические миниатюры? Ключ ли это, которым поэт открыл свое сердце, как думает Вордсворт, или просто дань литературной моде, совершенно необязательная для нас? Об этом до сих пор идут нескончаемые споры, и мы не ближе к разгадке сейчас, чем двести лет тому назад. Тогда один из отцов шекспироведения написал, что даже закон парламента не заставит его соотечественников читать сборник этих бездарных пустячков. С тех пор наука о Шекспире сделала очень много для уяснения этого вопроса.

Совершенно точно установлены итальянские корни поэтической части творчества Шекспира, высчитано, сколько поэтов в XVI веке упражнялось в сочинении сонетов в Италии (700) и сколько в Англии (300), сколько сонетов появилось за шесть лет на Британских островах (1200). Но вопрос о том, какое место занимают эти стихотворения в биографии автора, так и остается открытым.

Когда я впервые подошел к этому вопросу и только тронул ту поистине необъятную литературу, которая скопилась за двести лет научного шекспироведения, меня сразу же поразило одно: мы толкуем об условностях формы, о зависимости от литературной моды, о традиции Петрарки, еще Бог знает о чем и совсем не видим, что это действительно та связка ключей, которыми Шекспир открыл нам свое сердце, разум, совесть, понятие о себе.

Биографичность 66-го сонета сейчас принята, безусловно, всеми. Никаких как будто споров не вызывают и те потрясающие слова, которыми Шекспир определил отношение к своей профессии:

«О, спорь с моей фортуной — этой богиней, властвующей в моих жалких делах. Она распорядилась моей жизнью так, что я имею лишь средства, собранные с публичных приви-

чек (то есть за угождение толпе). Вот почему мое имя заклеяно, и самое существо мое как бы отмечено моим ремеслом, как рукой нищего. Пожалей же меня и пожелай же мне обновления» (сонет 111-й).

Все эти чувства так неразрывно связаны с тем, что мы знаем о Шекспире, что иным этого человека мы себе и представить не можем.

Тут мы подходим к самому зерну проблемы. К вопросу о так называемой «смуглой леди». Жила ли на самом деле та, которую так любил, так порочил и воспевал Шекспир? Жил ли рядом тот молодой друг, который увел эту черную, некрасивую, худую женщину — «вылитую цыганку», как однажды горяча выругал ее Шекспир? Что это — мода ли на кровь или действительно сама кровь?

Пусть тот, кто ставит перед собой этот вопрос, прочтет прежде всего стихи Катуллы: цикл, обращенный к Лесбии. Ведь и там то же самое, и если он признает душераздирающую искренность этих строк римского юноши, если он поверит в это «люблю и ненавижу», он уже не посмеет сомневаться в подлинности чувств Шекспира. Вот именно тогда он и подумал, очевидно, в первый раз о самоубийстве. Первый, повторяю, но, конечно, не последний. О последнем мы этого не знаем.

Когда я это понял, я написал «Смуглую леди», вещь, с которой я надеюсь когда-нибудь познакомиться и иностранного читателя. И тогда же я понял и другое: какая это была великая, трудная и несчастная жизнь, как ничто не удавалось Шекспиру, как ничего его не радовало — ни доходные дома, которые он покупал, ни старая жена, которую он не любил, мало видел, но к которой приехал все-таки умирать (они похоронены в одной могиле), ни дочки, которые даже не знали грамоты, ни театр, в котором его принимали, но не понимали, с некоторых пор даже стали вытеснять и под конец-таки вытеснили. Так что же у него осталось к закату? Пожалуй, только прекрасная трактирщица в маленьком городишке Стратфорде. К ней он засажал по дороге в Лондон. Говорят, что у него был от нее ребенок — сын, говорят, что этот сын стал потом знаменитым поэтом, тоже Вильямом, но не Шекспиром, а Давенантом. Шекспир его крестил. Так ли это или не так — неизвестно. Но кое-какие основания для этой сплетни, очевидно, были. Слишком уж единодушны об этом рассказы старых антикваров, да и сам Вильям под старость любил кое-что порассказывать.

Если это действительно так, то мы знаем последнее прибежище Шекспира — комнату в трактире по дороге в Стратфорд.

Вот почему любовь Шекспира к Италии была особенно сильна, действенна и сопровождала его всю жизнь. В этой стране он находил ту легкость и раскованность, которой так не хватало ему в его 52-летней жизни, жизни сына перчаточника, потом актера, затем режиссера и, кажется, меньше всего писателя и драматурга. Подмостки он не любил и покинул их при первой же возможности. А между тем театр дал очень много Шекспиру, ровно столько же, сколько и Шекспир дал театру. Я совершенно уверен, что сразу понять и так сказать, поднять Шекспира со страницы, с печатной строчки невозможно. Он меньше всего автор для чтения про себя, его обязательно нужно видеть. Только после того, как ты войдешь в волшебный мир театра, в этот лунный рай заштопанных кулис, услышишь перезвон рапиры, увидишь череп в руках Гамлета и ночник в руках леди Макбет, у тебя вдруг раскроется внутреннее зрение, орлино обострится слух, и ты, придя со спектакля, будешь читать и читать, читать и перечитывать самого великого, мудрого, человечного драматурга христианской эпохи. Ты найдешь в нем такие глубины, о которых ты знал всю жизнь, но никогда не гадаывался, что знаешь. Но это все потом, потом! Мне посчастливилось увидеть его много, много лет тому назад в летнем скрипучем театрике маленькой подмосковной станции, сыгранным плохими бродячими актерами.

Вот и все, что мне хотелось очень наскоро, не раскрывая никаких источников, сказать о Шекспире. И еще одно, чтоб закончить эту статью. Мне кажется, итальянцы должны особенно любить Шекспира. Ведь он сам так любил их. И тогда эта взаимная любовь оплодотворит все жанры искусства — нынешнего, будущего и того далекого, далекого грядущего, которого мы сегодня ни представить, ни предвидеть не можем и о котором даже и гадать-то бесплодно!

Это будет та поистине богатая и плодотворная любовь, которая принесет настоящие плоды.

Да будет же так.

Публикация К. ТУРУМОВОЙ-ДОМБРОВСКОЙ.

Игорь
ХРИСТОФОРОВ

ПОГОНЯ ЗА ТОЧКОЙ ЗАЛПА



Корабли, как люди, носят имена. У нашего сторожевика на корме славянской вязью было выведено: «Неукротимый». Вовсю стараясь оправдать свое бойкое имя, он мощно резал стальной грудью Балтику и, как мне казалось, так и норовил обогнать соседние сторожевые корабли «Дружный» и «Бдительный». Но это только казалось. На самом деле он не мог нарушить строй, который на флоте устрашающе зовут ордером.

— До времени «Ч» — тридцать минут, — напомнил о приближающейся ракетной стрельбе вахтенный офицер старший лейтенант Хибученко. Разгладив широкие казачьи усы, он с высоты своего недюжинного роста обвел взглядом полукруг рубки.

Командир «Неукротимого» капитан 3-го ранга Тихонов завернул манжету на правом рукаве куртки и посмотрел на свои часы, хотя точно такой же циферблат с точным временем висел на панели прямо у него перед глазами. Больше года не стоял я на зыбкой корабельной палубе, и вот теперь, на «Неукротимом», хотел понять, что изменилось за это время во флотской службе. Пока все было узнаваемо, привычно, вплоть до пчелиного жужжания гироскопаса и самых остро отточенных в мире карандашей на столе у штурмана. Оставалось предположить, что хоть ракеты теперь взлетают как-то иначе, и я, прильнув к стеклу ходовой рубки, завороченно удерживал взгляд на стальной крышке, под которой отдыхала до залпа плечистая зенитная установка. Под руками вахтенного офицера клацнули ручки машинного телеграфа, сбрасывающие скорость до «самого малого». Обернувшись, я заметил нырнувшую в полумрак выхода кожаную сумку радиста и вопросительно посмотрел на Тихонова. Тот сидел в высоком командирском кресле, что, по словам матросов, случилось крайне редко.

— Ракетная стрельба переносится, — сухо сообщил он, еще плотнее сжал бровями упрямую складку и пояснил: — «Дружный» только что был атакован подводной лодкой. Торпеда прошла под килем. По нашим нормам это считается точным попаданием... А приказ... — Он скрутил бланк в трубочку. — Приказ простой: найти эту торпеду... — Тихонов повернулся в кресле, снял с зажима коричневый рожок микрофона, зычным голосом объявил по верхней палубе:

— Командующий флотом, вышедший в море на «Бдительном», сообщил: тому, кто первым обнаружит торпеду, — десять суток отпуска.

Конечно, дело было не в магических десяти сутках, а в чести флага. Ведь эту загулявшую учебную торпеду искали, кроме нас, экипажи «Дружного» и «Бдительного».

Из ходовой рубки, с сигнального мостика, со всех надстроек, ступенек и приступочков, какие только возможны на верхней палубе, сотни глаз рассматривали шершавую кожу Балтийского моря. Наверное, с такой же жадностью матросы с каравелл Колумба выискивали на горизонте тонкий шнурочек долгожданной земли.

Прижавшись лбом к резиновому ободу окуляров, и я пытался найти хоть что-то красное в увеличенных линзами волнах замусоренной Балтики, но, кроме редких досок и бумажных ящиков, ничего не находил. Синевая воды начинала резать глаза.

— Слева тридцать — торпеда! — оторвал меня от визира простуженный голос с сигнального мостика.

— Где?! — позабыв о рангах и званиях, ринулись все в рубке к левому борту. Носы самых различных калибров и форм влипли в стекла.

— Слева тридцать два, — по компасу уточнил сигнальщик.

Дважды он доложил голосом, хотя на связь полагалось выходить строго по трансляции, но Тихонов сделал вид, что этого не заметил. Проверив по биноклю, что среди волн и впрямь кувырывается нечто красное и вроде бы сверху округлое, он поторопил по микрофону связистов:

— Доложите командующему: торпеду нашли. У нас слева по борту тридцать два. Обнаружил... — Кто обнаружил? — не отрывая от губ микрофон, углом рта спросил Тихонов.

С мостика хрипло доложили: «Матрос Погуляй».

«Неукротимый» повернул влево и бодренько заспешил к находке. Все чувствовали себя именинниками, как будто каждый из нас, а не матрос Погуляй нашел эту торпеду.

— Чего-то не похожа, а? — Первым засомневался замполит сторожевика капитан-лейтенант Гарибян.

— Почему не похожа? — Потянулись к стеклам пообмякшие от удачи офицеры.

— Это же... точно: поплавок от рыбацкой веши, — разглядел в мощных линзах бинокля Тихонов. — Вот звонари! А мы уже доложили... — Щелчком тумблера соединился с постом связи. — Командующему передали? — Вытер со лба неожиданную испарину. — Э-эх! Вечно вы торопитесь. Лучше б такими исполнительными были, когда кубрики убираете... Дайте радио на флагман, что дело тут... В общем, ошибка с обнаружением... Поиск продолжается...

Древнегреческий ученый Герофил сравнивал глаз с рыбацкой сетью, ловящей изображение. Сейчас сотни таких сетей, разбросанных по морю, выуживали ценную добычу. И снова метались эдакие соревновательные мыслишки: «А вдруг на «Бдительном» зорче ребята? Или на «Дружном»? Сейчас небось смеются над нами, недотепами».

«Глазастость» эпидемией охватила сначала всех в рубке, где все громче стали раздаваться возгласы: «Вон что-то в волнах!», «А во-он бочка пустая плывет!», потом перебралась на палубу и, наконец, заразила сигнальный мостик, потому что с него вновь раздался крик. Только теперь уже с правого крыла: «Торпеда!»

— Да ну? — Распахнул Гарибян массивную, как у банковского сейфа, дверь на мостик и в один прыжок оказался между круглой тумбой гироскопаса и шупленьким матросом с излизанным ветрами лицом.

— Справа восемьдесят — торпеда! — услышал я знакомый протуженный голос Погуляй.

— Можете меня резать, но это точно торпеда, — провозгласил Гарибян. — Тут и бинокля не нужно. Все равно мы коллег обскакали. — Победно посмотрел вправо, где испарывали форштевнями воду «Бдительный» и «Дружный».

С флагамена горохом посыпались запросы, уточнения, подтверждения. Наконец, в круговерти сигналов прорвалось самое приятное за день, и Тихонов с удовольствием объявил это всему экипажу:

— Товарищи военные моряки, задача выполнена. Первым обнаружил торпеду матрос Погуляй. Командующий флотом объявил ему десять суток отпуска с выездом на родину. Наблюдателям от мест отойти.

Меня потянуло на сигнальный мостик. Даже в ките ле я почувствовал себя неуютно, а Погуляй стоял лицом к обжигающему норд-осту в тонкой матросской робе и совсем не горбился. Но больше меня удивила не закладка моряка, а то, что на левом рукаве его рубахи не было белой красной повязки вахтенного. Значит, Погуляй положенные ему перед вахтой минуты отдыха отдал общему поиску, хотя вполне мог бы оглашать храпом кубрик и никто бы его не попрекнул.

— Чи е секрет? — с мягкостью, которую дает лишь украинский говор, повторил он мой вопрос. — Та ниякого. Повезло мэни. Можэ тому, шо без бинокля искав.

Подошедший торпедолов металлической рейкой не совсем учтиво загнал красноносую бродяжницу в кормовой люк, и почти в тот же миг голос Тихонова напомнил экипажу, что из зрителей снова нужно превращаться в моряков:

— Уточненное время «Ч» — девять ноль-ноль. Средний ход!

В углу рубки ожил краснощекий радиометрист Башков: — Цель низколетящая пятьдесят пять, раздел одиннадцать...

В рубке царили два голоса: Башкова и Тихонова. Сплошная математика. Только у Тихонова цифр поменьше. Непрерывно комкая морщинами лоб, он давал команды на маневрирование, и рулевой, получив очередную порцию чисел с указанием новых курсов, подкручивал то влево, то вправо штурвал. Не такой, с тележное колесо, что показывают в кино на парусниках, а махонький, диаметром с электрическую розетку. «Неукротимый» без молчаливый, без ракетного рычания, спор с верткими истребителями.

Глядя на их дуэль, я, кажется, начинал понимать, что же изменилось за эти годы на флоте. Здесь научились уплотнить походные мили. Если раньше путь в полигон на ракетную или торпедную стрельбу был похож на своеобразный круиз без тревог и «вводняков», то теперь каждую минуту заполняли неожиданными налетами, поисками торпед, схватками с подводными лодками и еще многим другим, что наконец-то делало выход в море поистине боевым.

— Фу-у! Улетели. — Тихонов поершил ладонью жесткий ежик волос. Как бывший зенитчик, сваливший в пучину немало «пернатых», он знал, какое напряжение сейчас в постах ракетчиков, и поторопил вахтенного офицера: — Отбой учебной тревоги.

— А стрельба? — спросил я.

— Время «Ч» перенесли. Вместе с районом стрельбы, — скучным голосом ответил Тихонов. — На сколько? — Повернулся к вахтенному. — На шестнадцать ноль-ноль.

Выходит, не все изменилось на флоте к лучшему. Переиспугиваться по методу «какбычегоневышло» еще не учились. Кстати, система уплотнения походных миль сработала на нашем выходе лишь до точки залпа. Возвращение к причалу прошло скучно, без тревог и тренировок. Казалось, вернулись старые «круизные» времена. Обмякший «Неукротимый» лениво приплелся в базу. Боцманы вяло бросили на кнехты швартовые концы... А, впрочем, это неинтересно.

Гораздо интереснее другое: ровно в пятнадцать тридцать стрелки на датчиках скорости нашего сторожевика отяжелели и неумолимо поползли вниз, за второй десятком. «Неукротимый» стал «вываливаться» из ордера, и стрельбу, не моргнув и глазом, перенесли в четвертый раз. Теперь уже на семнадцать ноль-ноль.

Тихонов из последних сил делал вид, что не нервничает, но фразы, адресованные механикам, цедил сквозь зубы. Гарибяну, как замполиту, по уставу полагалось находиться в самых «горячих» местах, и он кинулся в ПЭЖ (пост энергетики и живучести — своеобразный мозговой центр механиков). Я побежал вслед за Гарибяном. Но по дороге нас уже

оповестили о том, что электрик матрос Александр Никулин почти с лету определил неисправность. От вибрации и корабельной качки отпаялся проводок. Махонький такой, с волосинку, видно, во время ремонта некачественно припаяли. А из-за него сторожевик медленней самой тихоходной баржи стал тащиться.

— Припаяли — и всё, — закончил Никулин свой рассказ в машинном отделении и склонил набор крупную, чуть сдавленную в висках голову. Он был лаконичен, потому что торопился на новый вызов.

Время поджимало и нас. Самая «горячая» точка по сложным законам корабельной геометрии переместилась теперь из машинного отделения в ходовую рубку, и мы заспешили вслед за этой уплывшей точкой.

Не успел я войти в рубку, как сзади раздалось гневное командирское:

— А-а, приперся!.. Глаза б тебя не видели!..

Не оборачиваясь, я суматошно стал ворошить в памяти события сегодняшнего дня, чтобы понять, за что мне бросили столь неласковую фразу. Намозолил глаза сидением в рубке? Съел больше положенной пайки за обедом?

— Пристал как банный лист... Теперь прячься от этого иностранца... Кто таков?

— Эсминец УРО «Мельдерс», товарищ командир. Военно-морские силы ФРГ. Скорость — тридцать пять узлов, — доложил Хибученко, который уже успел отдохнуть и вновь заступил на вахту.

— Это у конструктора во сне он тридцать пять узлов выжмет. По дыму вижу, что с тридцатью узлами на пределе прет. Дай команду в машину, чтобы добавили пару узлов. Пусть у «Мельдерса» нижняя вахта попотеет...

— Лево руля! Курс — двести шестьдесят!.. Право руля! Курс — сто сорок! — Приказы Тихонова бросали «Неукротимый» по зигзагам, которым позавидовали бы лучшие лыжники-слаломисты.

«Мельдерс» держался строго нам в корму. Не хуже, чем если бы шел на буксире.

— Хибученко, — крикнул Тихонов в рубку, — запроси «добро» у командующего на дымзавесу... И еще: предложи, чтобы с других кораблей пособили...

Химиков на борту — раз-два и обчелся. Но ради общего маскировочного дела на ют высыпали представители специальной, имеющих самое отдаленное отношение к химии.

Отсекая нас от «Мельдерса», потянули холстины своих дымзавес «Дружный» и «Бдительный». Никто не сомневался, что преследователи «высматривают» окрестности станций надводной обстановки, но все же эффект неожиданности сработал. «Мельдерс» заблудившимся путником заматался по густым дебрям из причудливых дымных деревьев и кустов. Трио сторожевиков еще разок поменялось местами и, убедившись в шоковом состоянии «Мельдерса», предоставило нам «коридор», по которому мы тут же заспешили в полигон.

Незапланированная погоня, хотели того западные немцы или нет, стала неплохой тренировкой для экипажа «Неукротимого». Она четко легла в «схему» уплотнения походных миль.

«Мельдерс» все-таки нашел прореху в сети дымзавесы, но в полигон ворвался с опозданием. Когда верхушки его мачт лишь замаячили на горизонте, из-под стальной крышки на полубаке «Неукротимого» любознательно вынырнула зенитная установка с двумя остроносими сестрами-ракетками. Тихонов, Гарибян и Хибученко так наклонились вперед, к стеклам, за которыми виднелась установка, словно все одновременно хотели помочь ракетам мягко сойти с направляющих. По еще никем не открытому закону корабельного магнетизма я тоже нагнулся к диску стеклоочистителя, став на десяток сантиметров ближе к вращающейся ракетной установке.

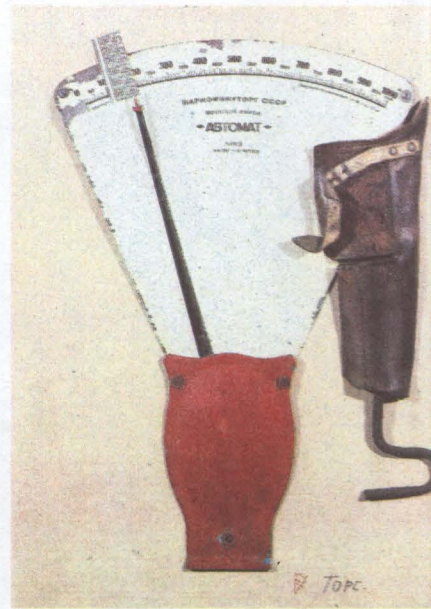
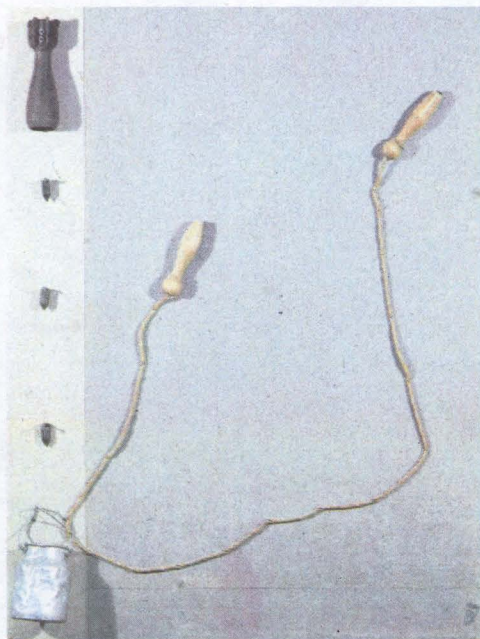
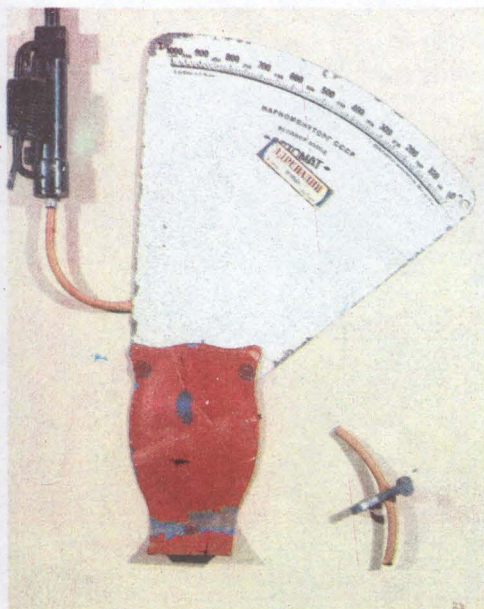
— Залп! — Непонятно откуда ударившие слова слились с грохотом, и неясно было, что они означали: предчувствие пуска или объяснение того, что уже произошло.

В черном дыме, густо замешанном на пламени, скрылись обе ракеты. По рубке словно кувалдой врезали — прошла ударная волна. Зрелище было фантастическое, но произошло оно эффект гораздо меньший, чем я ожидал. Путь в точку залпа оказался намного интереснее самого залпа. Наверное, потому, что этот путь помог мне хоть немного, хотя бы чуть-чуть понять современные заботы современного флота.



А. ВЕРМИШЕВ. Белое море.

ПО ЗАЛАМ ВЫСТАВКИ
ТОВАРИЩЕСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
г. Ленинград



В. ВОЙНОВ. Триптих. Боль. Слезы. Торг.



В. АФОНИЧЕВ. Победитель.



А. МАНУСОВ. Дерево.



О. МИТРОФАНОВ.
Коронный бриз.

Д. ШАГИН.
Полет Икарушки.



ФИЛОСОФЫ ПРИГЛАШАЮТ ХУДОЖНИКОВ

Существует ли искусство официальное и неофициальное, или подобное деление никакого отношения собственно к искусству не имеет? Должен ли человек, все свои силы отдающий творчеству, считаться тунеядцем? Зависит ли право быть художником от членства в Союзе художников? Для участников первой московской выставки ленинградского Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ) эти вопросы носят отнюдь не теоретический характер. Товарищество — творческое объединение «неофициальных» художников Ленинграда, часто именуемых также «левыми», или «авангардистами», созданное в 1981 году и до сих пор не получившее правового статуса. Предшественником ТЭИИ было Товарищество экспериментальных выставок (ТЭВ), возникшее в начале 70-х годов. Эта группа впервые открыто воспротивилась тенденции однозначного восприятия творчества «неофициальных» художников как нелегального и антиобщественного. ТЭВ удалось организовать в Ленинграде первые выставки «неофициалов» (ДК имени Газа, 1974, и ДК Невский, 1975), вызвавшие огромный зрительский интерес, острые дискуссии, разноречивые отклики в печати и... неизбежные в то время «оргвыводы».

Корни того ненормального положения, в котором оказалось в последние десятилетия советское изобразительное искусство, кроются в начале 30-х годов, когда были созданы единые творческие союзы, вскоре монополизировавшие художественную жизнь в стране. Началась «стрижка» искусства под определенный фасон, возник чисто субъективный, бюрократический подход к оценке произведений, что привело к расколу художников на «официальных» и «неофициальных», причем само существование последних старательно замалчивалось или отрицалось. На долгое время были преданы забвению поиски и открытия русского авангарда 10 — 20-х годов; само упоминание такого явления было запрещено, несмотря на его общемировое значение и известность. Попытки теоретического (а чаще административного) обоснования стандарта в художественной практике, объявление любого отклонения от традиционной (традиционной для конца XIX века!) эстетики продуктом разложения буржуазной культуры, узкопонятые требования «быть понятным народу» привели к угнетающему однообразию на выставках и в конечном счете к утрате у публики широкого интереса к изобразительному искусству.

Не случайно новые поколения художников обращаются к русскому авангарду, не реализовавшему до конца заложенных в нем огромных возможностей. Но за бортом «офици-

ального» искусства оказались отнюдь не только экспериментаторы и последователи авангардистов начала века. Трудно даже перечислить все стили и направления, не укладывавшиеся в прокрустово ложе бюрократических ограничений. Кроме того, некоторые художники, работавшие во вполне традиционной манере, не могли смириться с обстановкой внутри Союза художников и вошли в наше товарищество. Таким образом, художников ТЭИИ первоначально объединила не какая-либо общая эстетическая платформа — объединила общая неустроенность, отсутствие возможности полноценной творческой работы, контакта со зрителем и, как следствие, отсутствие возможности ощущать себя полноправными членами общества и вносить свой позитивный вклад в отечественную культуру. Устав товарищества утверждает равноценность всех формотворческих направлений, всех стилей и методов современного изобразительного искусства. Для участия в выставках товарищества безразличен образовательный ценз (хотя около 60 процентов членов ТЭИИ имеют высшее и среднее художественное образование), важно лишь качество работ. Вопрос о профессионализме не может определяться наличием диплома об окончании соответствующего вуза, ведь на художников нельзя механически распространять требования к инженерно-техническим работникам. Не секрет, что многие великие мастера таковых дипломов не имели.

Всего за шесть лет силами ТЭИИ в Ленинграде организовано 10 общих, 8 групповых и 2 персональные официальные выставки, в них приняло участие независимо от членства в товариществе более 350 авторов, экспонировалось свыше 4500 произведений изобразительного искусства. Только выставку в Гавани в январе 1987 года, организованную в неимоверно сложных условиях, за десять дней посмотрели 50 тысяч зрителей. Для сравнения: все выставки в залах Ленинградского отделения Союза художников на улице Герцена собирают за год 30 тысяч человек. Всего с 1981 года выставки товарищества посетило около 300 тысяч человек. И это при почти полном отсутствии рекламы...

К работе ТЭИИ вскоре подключились и художники других городов (Риги, Смоленска, Дубны, Свердловска, Калининграда, Ейска...). Несмотря на все это, условия, в которых живут художники, остаются прежними: отсутствие мастерских, невозможность продавать картины, для многих — необходимость работать дворниками, вахтерами, кочегарами, чтобы избежать обвинений в тунеядстве.

Надо сказать, что до последнего времени выставки ТЭИИ в Ленинграде проходили в атмосфере так называемой «полугласности». Прошлогодня публикация «круглого стола» газеты «Смена» с участием представителей ТЭИИ была задержана почти на три месяца и в конце концов подверглась столь тщательному редактированию, что некоторые художники не узнали на газетной полосе своих высказываний. Лишь в мае 1987 года впервые удалось добиться упоминания названия товарищества в афише выставки.

И вот первая встреча москвичей с ленинградскими «неофициальными» художниками, состоявшаяся благодаря энтузиазму и энергии студентов философского факультета МГУ. В небольшом зале размещено около ста работ членов ТЭИИ. Экспозиция создавалась самими художниками, которые стремились показать широкую картину творчества «неофициалов». Здесь представлены и работы, опирающиеся на фольклор, мотивы народного искусства (В. Герасименко, Е. Фигурина, В. Шмагин), и не-фигуративная живопись (В. Андреев, В. Духовлинов, О. Митрофанов, Н. Жилина, В. Шалабин), остро социальные и сатирические произведения (Ю. Медведев, А. Пуд, С. Ковальский), оригинальные работы художников из группы «Митьки» (Д. Шагин, В. Шинкарев), поиски путей соединения принципов современного искусства с традициями древнерусской живописи (Е. Орлов, И. Орлов). Несомненно, привлекут внимание детализированное полотно А. Вермишева, продолжающее линию аналитического искусства школы Филонова, совершенно новый язык функциоколлажей В. Воинова, глубоко лиричные картины Е. Тыкоцкого, яркие пейзажи А. Манусова, монументальные экспрессивные холсты В. Афоничева. Наше товарищество объединяет более ста пятидесяти художников, и на первой московской выставке мы смогли показать работы лишь немногих из них.

В. ШАЛАБИН,
участник выставки.



По-русски, «пустив шапку по кругу», жители Ванкувера собрали деньги на сооружение монумента в честь триумфального перелета чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку.

На открытие монумента А. В. Беляков, Г. Ф. Байдуков и сын их командира И. В. Чкалов прибыли тем же легендарным маршрутом.

Игорь ЧКАЛОВ

ЧЕРЕЗ ПОЛЮС И ВРЕМЯ

Отрывки
из документальной
повести

Днем 4 октября 1974 года мне позвонила Ольга Павловна Белякова — жена друга и соратника моего отца штурмана чкаловского экипажа Александра Васильевича Белякова.

— Игорь, тебе сейчас никто не звонил? — В ее голосе звучали нотки таинственности. — С Александром Васильевичем только что разговаривал сотрудник Министерства обороны, спрашивал и твой телефон. Речь шла о поездке в Соединенные Штаты Америки. В общем, когда с тобой переговора, позвони нам.

Америка. Поездка. Когда? Зачем?.. Рой мыслей — и ни одного подходящего ответа. И вдруг осенило. Не может быть!.. Я вспомнил о небольшой заметке, опубликованной летом в газете «Сельская жизнь». В десяти строках сообщалось о том, что в городе Ванкувер штата Вашингтон, на месте приземления после завершения 20 июня 1937 года первого в мире беспересадочного перелета советских летчиков В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова из Москвы через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки, сооружается монумент в честь этого исторического события.

Вскоре раздался телефонный звонок:

— Полковник Чкалов?! Здравия желаю! Говорит полковник Терентьев из Министерства обороны. Генерал-полковнику авиации Г. Ф. Байдукову и генерал-лейтенанту авиации в отставке А. В. Белякову поступили приглашения от американского комитета по сооружению монумента в честь перелета советских летчиков на церемонию его открытия, которое состоится 20 июня 1975 года на аэродроме Пирсон-Филд в городе Ванкувер. Аналогичное приглашение поступило и на ваше имя. Георгий Филиппович и Александр Васильевич дали свое согласие. Каков будет ваш ответ?

Что же тут раздумывать?! Я попросил полковника Терентьева передать командованию, что готов сопровождать друзей и соратников своего отца! Четко слова произношу, бодро, а в душе тоска: не я — отец должен был сейчас отвечать на этот вопрос. Как до обидного рано ушел он из жизни!..

Через несколько дней в «Правде» была опубликована большая корреспонденция В. Пескова и Б. Стрельникова «Америка помнит Чкалова». Они рассказывали о сооружении монумента и о том, как ждут американцы, и в первую очередь жители Ванкувера и Портленда, гостей, мечтают, чтобы русские герои прилетели к ним уже на современном воздушном лайнере через Северный полюс, повторив чкаловский маршрут.

На чем полетим? Этот вопрос нас волновал с самого начала. Георгий Филиппович Байдуков в это время лежал в госпитале и поручил мне связаться с Министерством обороны и выяснить все, как он выразился, о нашей транспортировке. Мне вежливо сообщили, что волноваться ни о чем не стоит. В нужное время нас посадят в рейсовый американский «Боинг» и благополучно доставят в Америку...

В феврале мы наконец-то собрались все вместе на квартире Георгия Филипповича на своеобразное совещание. Первым взял слово хозяин дома. Он «официально» категорически отверг полет на «Боинге», заявив при этом, что полетим мы только на советском самолете. Мы с Александром Васильевичем «предложили» обсудить возможность полета через Северный полюс с посадкой прямо в городке Сизтл, о чем и американцы просили, судя по статье «Америка помнит

Чкалова». Причем особенно настаивал на этом варианте Александр Васильевич. А ведь он — боец Чапаевской дивизии, один из основателей аэронавигационной и штурманской школы в советской авиации, доктор географических наук, профессор — должен был вновь пересечь Ледовитый океан в свои 78 лет!

Александр Васильевич тут же со свойственной ему рассудительностью авиационного штурмана экстра-класса начал прикидывать наши возможности и наконец заявил, что расстояние в 8500 километров свободно могут пройти без посадки несколько типов советских самолетов и самый подходящий из них — ИЛ-62М.

Но как такой полет реально осуществить? Без специального решения высокого руководства сделать это невозможно...

Решили на первых порах проверить реальность нашего варианта, так сказать, на невысоком уровне. Связались с товарищами, которые могли бы организовать полет, если «наверху» будет принято решение. Скучно сейчас пересказывать наши переговоры. Скажу одно: большинство не верило в эту «затею», как они говорили. Советовали «даже не поднимать вопроса».

Мы недоумевали: неужели они не понимают важности такого полета или не хотят обременять себя лишними хлопотами?

Но «большинство» не учло, с кем оно имело дело. Уж если Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков со своим командиром В. П. Чкаловым на одномоторном самолете в фантастически тяжелых условиях смогли осуществить исторический перелет, в честь которого американский народ через тридцать восемь лет открывает монумент на своей земле, то теперь, хоть и в качестве пассажиров, они полетят в Америку только на советском самолете и только по проложенному ими легендарному маршруту!

В числе тех немногих, кто понимал важность этого перелета, был генерал-полковник авиации Николай Павлович Дагаев — тоже ветеран авиационной гвардии. По его совету мы написали письмо министру обороны Маршалу Советского Союза А. А. Гречко с нашей просьбой о повторении чкаловского маршрута. Министр одобрил наше предложение.

Началась подготовка к полету. Самое живое участие в ней принял, конечно же, и Николай Павлович Дагаев. Подключился к работе и коллектив конструкторского бюро имени А. Н. Туполева, которое возглавлял его сын, Алексей Андреевич. К счастью, оказались живы некоторые из тех сотрудников КБ, которые готовили легендарный АНТ-25 к перелету в 1937 году. В КБ изготовили несколько моделей этого самолета для того, чтобы вручить их членам американского комитета по сооружению монумента. Земляки В. П. Чкалова подобрали прекрасные фотографии экспонатов и фотокопии документов, хранящихся в мемориальном музее великого летчика на его родине в городе Чкаловске. Военное издательство Министерства обороны напечатало небольшим тиражом на русском и английском языках копии штурманского бортового журнала легендарного АНТ-25. Готовились к полету и аэрофлотовцы.

Все шло хорошо, но, внешне по-прежнему спокойный, Александр Васильевич все-таки очень волновался. Заходя к нему домой, я несколько раз заставлял его за штурманской картой. Казалось, как и в 1937 году, он рассчитывает каждый километр предстоящего маршрута, который должен повторить спустя тридцать восемь лет. Однажды он авторитетным тоном заявил:

— От Москвы через Северный полюс до Сиэтла пройдем 8518 километров за девять часов восемнадцать минут. Так, наверное, и было бы, но не по вине легендарного штурмана маршрут полета через Северный полюс пришлось изменить...

Руководителем полета был назначен опытейший аэрофлотовский летчик Герой Социалистического Труда А. К. Витковский, командиром корабля — Ю. И. Зеленков. Экипаж состоял из специалистов экстра-класса. Можно понять их приподнятое настроение — маршрут-то какой им предстояло пройти! Вот только смущало их то, что времена изменились и право на риск аэрофлотовские летчики имеют лишь в экстремальных ситуациях, а так — правила, правила, правила. Вот и в этот раз... Перед полетом они должны были провести тренировочный полет в сторону Северного полюса. Дело в том, что самолеты Аэрофлота до этого времени еще не пересекали полюс в сторону Северной Америки, поэтому по правилам необходимо было войти в связь и проверить работу с аэронавигационной системой США, работающей в северном полушарии.

По требованию ИКАО — международной организации гражданской авиации — заявка на такой полет, то есть перелет вне международных авиалиний, должна быть подана в определенный срок до вылета. Чтобы потом не возникло никаких недоразумений, мы точно определили дату вылета — 18 июня, а открытие монумента американцы наметили на утро 20 июня.

Готовились к полету по плану, без неожиданностей, поскольку предусмотрели, как нам казалось, все. Но в жизни так не бывает. Александру Васильевичу хоть и шел семьдесят восьмой год, по старому крестьянскому обычаю в начале июня он вышел на первый укос травы, как это делал с малолетства ежегодно. На сей раз, видно, не рассчитал свои силы. С подозрением на тяжелый приступ стенокардии его отвезли в санчасть Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, расположенной неподалеку от дачи. К счастью, все обошлось благополучно, уже через несколько дней Александр Васильевич выписался, но военные врачи своего согласия на полет не давали.

За шесть дней до вылета мы собрались в аэропорту Шереметьево для пробного полета. Приехал и Александр Васильевич. Доктор В. Ивахненко, «курирующий» наш «экипаж», вместе с моей женой, тоже врачом, осмотрели его и решили взять в полет на свой страх и риск.

ИЛ-62М с бортовым номером 86 614 быстро набирал высоту, взяв курс на Землю Франца-Иосифа. А. В. Беляков встал со своего кресла и вместе со штурманом Владимиром Степаненко пошел осматривать лайнер. Александр Васильевич внимательно выслушал объяснения своего коллеги, а потом принялся рассказывать ему, как в 1937 году над Северным полюсом им впервые пришлось пользоваться новым аэронавигационным прибором — солнечным указателем курса (СУКО). Другие приборы в этих широтах из-за магнитных бурь не работали, а стрелка компаса крутилась, как волчок.

Александр Васильевич, к радости врачей, чувствовал себя прекрасно. В полете они сняли кардиограмму, и она послужила весомым аргументом в спорах с «земными» врачами, которые, узнав о полете Белякова, подняли невообразимый шум. Но Александр Васильевич смог добиться разрешения на перелет...

Утром 18 июня мы вылетали из Москвы, откуда 38 лет назад стартовал чкаловский экипаж. Тогда со специально подготовленной взлетно-посадочной полосы на Щелковском аэродроме стартовал лучший в мире самолет АНТ-25. Сейчас готовился к вылету самолет, о котором в 1937 году мечтала легендарная тройка. В статье «Замечательная машина» В. П. Чкалов писал: «Мне приходилось летать на всяких самолетах. За время моей летной жизни я испытал почти все имеющиеся у нас воздушные корабли и десятки иностранных конструкций. Какая огромная разница! АНТ-25 — это самолет, представляющий сгусток современных достижений авиационной техники. Любой пилот почувствует себя счастливым, сев за штурвал этой машины. Но АНТ-25 — это этап. Не подлежит никакому сомнению, что наши конструкторы, наши инженеры, наши рабочие, коллективы советских авиационных заводов смогут дать еще более совершенную машину для дальних перелетов».

Красавец ИЛ-62М был готов к перелету. Но вылет отложили. В последний момент выяснилось, что Канада не дала разрешения на пролет по чкаловскому маршруту над своей территорией. И только за несколько часов до вылета предоставили два воздушных коридора, нас не устраивающих. После изучения предложенной трассы окончательный вариант выглядел так: из Москвы летим до Северного полюса по маршруту 1937 года, далее поворачиваем на мыс Барроу (Аляска), пересекаем Аляску и выходим на Канадское побережье, где вновь продолжаем следовать по трассе чкаловского экипажа. Таким образом, маршрут 1937 года удлинялся приблизительно на 1200 километров...

И все же мы идем маршрутом, до этого пройденным лишь дважды...

Из бортового журнала АНТ-25:

«Число 18, месяц июнь. Вахта — летчик Чкалов, штурман Байдуков. Вес самолета при вылете 11 180 кг. Взлет 1 ч. 04 м. Время Гринвичск. среднее. Оторвались против главного входа. Щелково 1 ч. 06 мин. скорость 170 км в час высота 50 м. Калужа 2 ч. 00 м. скорость 170 км в час высота 650 м. Р. Молога 2 ч. 47 м. скорость 170 км в час высота 1000 м».

Тяжело груженный АНТ-25 на одном моторе медленно «полз» вверх. Тысячесильный мотор АМ-34 конструкции А. А. Микилина работал надежно...

За несколько месяцев до перелета в США, когда Политбюро ЦК ВКП(б) решало вопрос о его проведении, И. В. Сталин спросил Чкалова, почему они хотят лететь на одномоторном самолете — ведь это большой риск?! И предложил дать задание сконструировать четырехмоторный самолет, специально для дальних перелетов. Чкалов поблагодарил Сталина, но заметил, что лететь на одном моторе — 100 процентов риска, на четырех — 400! Довод Чкалова с улыбкой был принят.

...Наши милые и заботливые стюардессы Лида Кожевникова и Альбина Гунько разносят обед. До чего вкусно... После сытного обеда хочется вздремнуть...

Из бортового журнала АНТ-25:

«Время по Гринвичу 15.48. Изменение курса, обходит Чкалов. Слева, как шапкой, накрывает облачность. Вправо — светлее — там Чкалов хочет набрать высоту. Скорость 148 км в час, высота 3840 м. Идем выше черт его знает какого слоя облачности. Идем между двумя слоями, высота 4000 м. Верхний слой не просвечивается, СУК не работает. Байдуков сел на первое место, Валерий отдыхает. В 17.15 начался слепой полет. Обледенение сильное, на кромке стабилизатор, рамка, стяжки и кромки крыла блестят, как окрашен. в белую краску. Толщина льда до 1½ см».

...Проходим Землю Франца-Иосифа — границу между Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Вдали видны освещенные ярким солнцем отдельные льдины. С высоты десять с половиной тысяч метров открывается панорама океана с неожиданно сине-бирюзовым цветом. Впечатляющее зрелище.

Из бортового журнала АНТ-25:

«19 июня. 4.15. Полнос. Около 4.15. Видим льды полюса, белые с трещинами, разводами и торосами. Скорость 180 км в час, высота 4200. Компас штурмана ходит почти кругом. Идем по СУКУ. Трудно. Подправляю вправо-влево. Ясно. Солнце склоняется к хвосту самолета. Сплошные ледяные поля. Справа циклон».

...Радист Иван Семенович Ключко что-то быстро записал, потом освободил правое ухо от наушника и крикнул в салон, где мы стояли с поднятыми бокалами шампанского:

— Товарищи! Космонавты Климук и Севастьянов передают с борта «Салюта-4», что они приветствуют и поздравляют Байдукова и Белякова с полетом над Северным полюсом и повторением чкаловского маршрута, считают их своими учителями и желают героям-летчикам крепкого здоровья!

Впереди Америка! Так же, как тридцать восемь лет назад. Снова мы летим в гости к американскому народу...

«Через Северный полюс к нам прибыло осязаемое доказательство существования нового, социалистического общества... Двадцать лет прошло с момента победы в 1917 году. Эти двадцать лет были наполнены ложной информацией о СССР. Но сейчас пробита брешь... Полет через Северный полюс, осуществленный силами рабочего класса, вызывает рой мыслей в умах миллионов американцев...» — так писали в то время американские газеты.

Чем стал для нас этот полет? Вот что сказали по этому поводу сами летчики: «Нас волновал не рекорд сам по себе, а идея организации воздушной линии СССР — США. Не надо забывать, что еще до недавнего времени укрепление хозяйственных и культурных связей между такими двумя великими державами, как Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, в значительной степени зависит от расстояния! Наш полет в США дал возможность американцам правильно оценить и понять Советскую страну. Этот рейс послужил укреплению дружеских связей между народами СССР и Америки...»

Мы собрались вокруг Байдукова. Георгий Филиппович рассказывал о втором, малоизвестном перелете СССР — США. Неожиданно он резко поднес руку к носу... Нет, это не кровь пошла. Просто повторил движение, невольно навязанное воспоминаниями...

Июль 42-го. Телефонный звонок:

— Вас вызывает к себе Верховный Главнокомандующий!

— Сейчас?

— Да, Георгий Филиппович, немедленно!

В кремлевской приемной он встретил Михаила Громова.

— И тебя? — кивнул, здороваясь, Байдуков. — В чем дело?

Сталин приветствовал летчиков на пороге кабинета. Пожал руки.

— Знаю, что на фронт рветесь. Успеете! Сейчас мы стоим перед вами не менее важную задачу. По всему выходит,

что, кроме вас, выполнить ее некому. — И загадочно добавил: — К сожалению, по дипломатическим каналам этот вопрос решить не удалось.

Задание было действительно неожиданным. Необходимо было лететь в США и лично с президентом Рузвельтом обсудить возможности поставок американской авиационной техники для нашего фронта. Добраться до Америки можно было только одним путем — через Ледовитый океан.

Через несколько дней с Химкинского водохранилища один за другим поднялись два гидросамолета и взяли курс на север. Одним командовал Байдуков, другим — Громов. Пилотировали самолеты известные полярные летчики Черевичный и Задков. Маршрут — близкий к чкаловскому.

Когда в 1937 году АНТ-25 приземлился на маленьком аэродроме Пирсон-Филд в Ванкувере и безмерно уставшие, но счастливые советские летчики попали в объятия американцев, они узнали, что их считали погибшими... И вот снова над Америкой летят советские самолеты. Летят к американскому народу.

В Белом доме все было таким же, как и четыре года назад. Разве только сам хозяин дома осунулся и заметно постарел. Рузвельта давно, еще со времени службы на флоте, мучил тяжелый недуг. Его всегда возили в кресле, но все же тогда, в 1937 году, он захотел встретить героев стоя и попросил поднять себя. Говорят, ни до, ни после той встречи Рузвельт ни перед кем не вставал.

Как старому знакомому, Рузвельт улыбнулся Байдукову и сказал, что если к нему прислали таких уважаемых представителей, то вопрос важный и требует безотлагательного решения. Он не скрывал разногласий в американском правительстве по поводу оказания помощи Советскому Союзу. «Но мы, — заключил Рузвельт, — будем иметь дело только с друзьями вашего народа и непременно решим этот вопрос».

...Георгий Филиппович старался рассказывать нам только о главных моментах перелетов, на детали времени не хватало, те полеты шли сутками, мы летели считанные часы...

В кабину нашего ИЛ-а вошел сопровождавший нас американский радист Д. Кирби, подсел к Ключко и спросил:

— Как дела, Ваня?

— Подходим к мысу Барроу. Сейчас будем запрашивать коридор прохода над Аляской.

Кирби всполошился:

— О! Советскому самолету с такими пассажирами на борту... Никаких коридоров, идем прямо на Анкоридж.

И вот наконец под нами Сиэтл — конечный пункт нашего перелета.

Александр Васильевич вспоминал:

«Слева на берегу зеленое поле, ангары и несколько самолетов. Разбираемся в размерах аэродрома и подходах к нему. Американский аэродром явно маловат для советского самолета — даже самая длинная его сторона всего 700 метров.

Байдуков полого снижает машину и ведет ее почти у самой земли. Надо приземлиться у края аэродрома, иначе наш самолет обязательно прокатится до забора или до ангаров. (Тормозная система с шасси АНТ-25 была снята для облегчения веса и возможности взять больше горючего. — И. Ч.) Наконец, прикосновение. Отлично! Замечаю время — 16 ч. 20 м. 20 июня 1937 года. Первый в мире беспосадочный перелет СССР — США закончен».

А потом, как и в 1937 году, были встречи, объятия, митинги. На том же ванкуверском аэродроме Пирсон-Филд ко мне подошел американец средних лет:

— Вы Чкалов?

— Да.

Он протянул мне красного цвета, немного выцветшую от времени пачку папирос. На ней были автографы Чкалова, Байдукова и Белякова, стояли цифры 20 июня 1937 года.

— Ваш отец Валерий Чкалов, — сказал он, — подарил эту пачку папирос моему отцу, бывшему сержанту Лэри Тернеру. К сожалению, он болен и не может вас лично приветствовать. Если можно, распишитесь, пожалуйста, и попросите сделать это Георгия Байдукова и Александра Белякова.

Я вспомнил рассказ отца о сержанте, который первым встретил советский самолет на Пирсон-Филде и которому он подарил пачку папирос. Звали его Лэри Тернер. И сейчас я жму руку его сыну. Символично? Наверное, да!

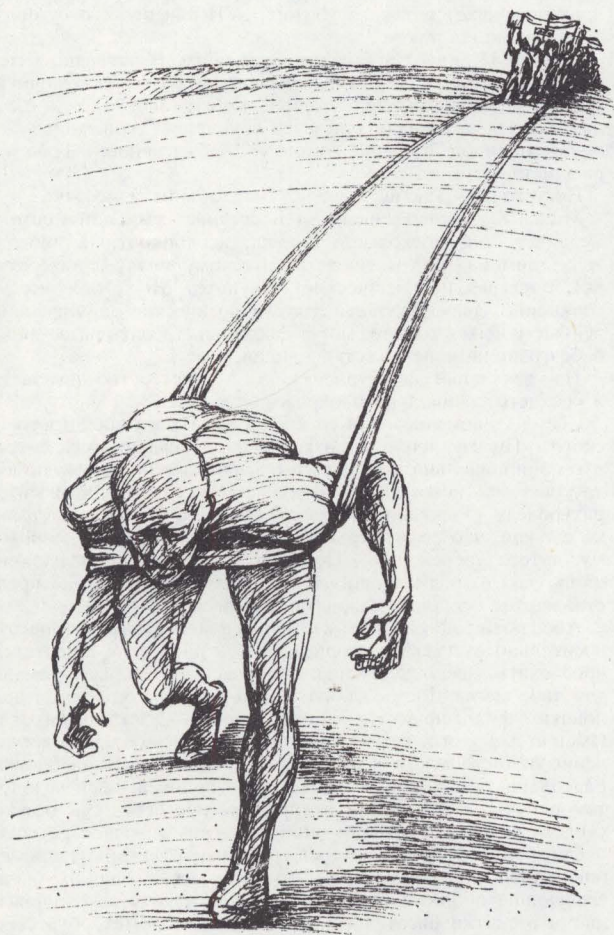
20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Выбираю Борьбу!

Перестройка, что я могу?



Рисунки М. Златковского

Людей, открыто выступающих против перестройки, нет, а врагов у перестройки много. Они среди нас, рядом, нужно только повнимательнее присмотреться к окружающим людям, сопоставить их слова с их же делами.

Год назад мы с товарищем написали большое письмо, в котором постарались рассказать о безобразиях, творящихся на автомобильном транспорте. Ознакомили с содержанием коллег. Подписалось 65 человек. Я отвез его в редакцию газеты «Правда». Результат — публикация статьи «Грузовик на плечах». Шумиха поднялась изрядная, комиссий побывало много, совещаний и собраний было и того больше. «Вдруг» на нашем автокомбинате выявлены были недостатки! Как же так? Почему?! Ведь до письма все было прекрасно, комбинат считали чуть ли не лучшим в городе?! Люди поверили, что времена изменились, и если захотеть, можно добиться справедливости. Тем сильнее было их разочарование, когда страсти улеглись, комиссии разъехались, а все осталось по-прежнему, если не считать того, что мой заработок снизился с 260 до 110 рублей в месяц, моему товарищу было отказано в получении садового участка, несмотря на то, что у него трое детей.

Ко мне подходили люди, среди них было много молодых ребят, и прямо говорили: «Если уж такая газета, как «Правда», не смогла помочь, то на что вообще можно надеяться?!» И сегодня никто из них уже ничего не подпишет. Вера в них убита. А это значит, что ни о какой гласности на автокомбинате говорить не приходится. А если нет гласности — значит, все то же самоуправство администрации и беззаконие. Взаимоотношения в трудовом коллективе построены таким образом, что выгодны лишь одной администрации и очень немногим рабочим.

Стоило нам в обход администрации и их приспешников вынести сор из избы — результат не заставил себя долго ждать. Правда, врагам перестройки удалось спрятать этот результат пока в свои «сейфы».

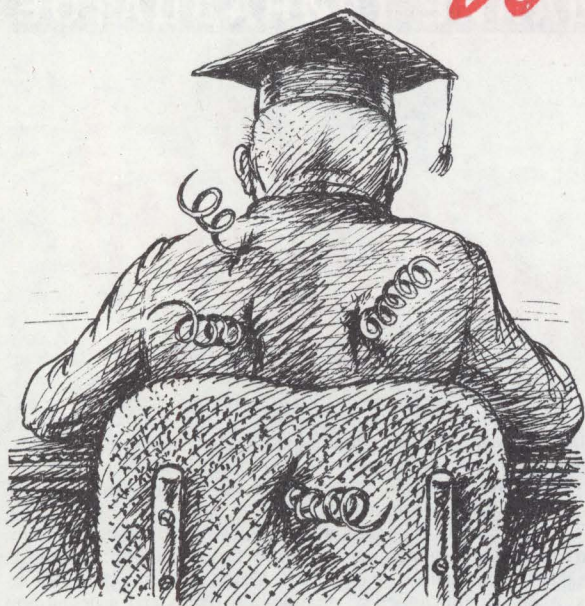
Молодой человек, начинающий самостоятельную жизнь, формируется как личность на месте своей работы. То, с чем ему порой приходится сталкиваться, убивает у него веру в справедливость. Он видит, что за свой труд он получит не по конечному результату, а от того, как строит свои взаимоотношения с начальством. Достаточно ли угодливо? Ну, а если человек не захотел смириться? Тогда его всеми правдами и неправдами заставят либо уйти, либо смириться. Чаще выбирают первое.

Я обращаюсь к комсомольским работникам. Когда же вы на деле, а не на словах начнете выступать в роли защитников молодежи перед администрацией предприятия? Пока же большинство ребят при упоминании комсомола просто машут рукой. Неприятный факт, но факт. Давайте подумаем, как исправить положение? Иначе не победить врагов перестройки.

Николай ПОНСОВ

г. Москва

Что за комиссия, создатель...



Расследование ведет «20-я комната»

Ира Н. с детства мечтала стать врачом. В мединститут пыталась поступить дважды. В прошлом году снижение на балл оценки за сочинение вызвало недоумение. Комиссия увидела ошибку в предложении: «Народ никогда не забудет их подвиги»(!).

Что ж, Ира пошла работать санитаркой. Через год вновь поступала. И снова за сочинение «тройка». Ни одной орфографической и пунктуационной ошибки! Но экзаменаторы усмотрели шесть стилистических. Каких?

Если бы вас, читатель, впустили на заседание апелляционной комиссии — впрочем, не надейтесь — не пустят: ни вас, ни родителей абитуриента, ни школьного учителя — никого, и сочинение в руки не дадут даже его автору, то вы бы узнали, что:

во-первых, не «Воспитание Онегин получил поверхностное», а «Онегин получил поверхностное воспитание». (Робкое замечание абитуриентки о том, что инверсия — обратный порядок слов — закономерное явление в русском языке, например: «Вознесся выше он главою непокорной» — отброшено прочь);

во-вторых, не понравилась комиссии фраза «Онегин дает Татьяне жестокий урок». «А я считаю, что урок, полученный Татьяной, не был жестоким», — решил преподаватель. (А как же право ученика на собственную точку зрения?);

в-третьих, экзаменатор: «Что это за резкий ум?! Так не говорят». Абитуриентка: «Это Пушкин сказал: «И резкий, охлажденный ум». Второй экзаменатор (толкая в бок первую): «Да, кажется, это из текста»;

в-четвертых, Онегин едет в деревню не отдохнуть (так было написано в сочинении), а переменить образ жизни. (Улавливаете разницу?);

в-пятых, «Беда не живая. Она не может заставить человека отправиться в дорогу», поэтому предложение «Беда заставила Онегина отправиться в дорогу» — это ошибка. (О таком понятии, как метафора, то есть употребление слова в переносном значении, например, «дождь идет», члены комиссии, видимо, не слышали);

в-шестых, предложение «Чувства Онегина искажены обществом»... было охарактеризовано как «чушь», — так экзаменаторы оценили цитату из книги литературоведа Г. П. Макогоненко о Пушкине («Роман Пушкина «Евгений Онегин», М., 1963 г., стр. 68).

На первом заседании апелляционной комиссии против семнадцатилетней абитуриентки сражалось девять взрослых людей. На повторном заседании «команду» преподавателей усилили еще пятью «игроками». Девочка же по-прежнему оставалась в одиночестве. Могучий заслон наделенных властью «мальчиков» с повязками неумолимо отсекал попытки тех, кто сочувствует абитуриентам, пройти вместе с ними в здание института на апелляцию.

Усиленный состав комиссии достиг в борьбе с Ирой еще больших успехов. Была найдена новая ошибка! Предложение «Пушкин приходит к нам в детстве, когда мамы и бабушки читают нам его замечательные сказки» было подвергнуто уничтожающей критике: «Пушкин умер. Как же он может приходиться?!» Браво! Вот только непонятно, что делать со словами «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» И как это его «угораздило» написать такое?!

Андрей И. живет в далеком Заполярье. В пятнадцать лет окончил школу с золотой медалью, Всесоюзную заочную математическую школу и «малый мехмат» при МГУ — с отличием. На экзаменах в вузе за сочинение, написанное без одной ошибки, получил «тройку». Объяснение: «Тема не раскрыта».

Несуразица? Так не бывает? Бывает еще и не так...

Миша К., единственный за последние семь лет золотой медалист 76-й московской школы, неоднократный победитель олимпиад (в том числе по русскому языку и литературе), поступая на физический факультет МГУ, получил за сочинение «два». Двадцать три стилистические ошибки, найденные у него в работе, могут свидетельствовать разве лишь о безграничном невежестве юноши.

Из заявления абитуриента в Министерство высшего и среднего специального образования СССР:

«Тема сочинения — «Женские образы в романе Достоевского «Преступление и наказание». Каждый согласится, что принципиально раскрыть все аспекты этой, как и любой другой темы, невозможно не только абитуриенту, но и литературоведу. Очевидно, что творчество Достоевского настолько сложно, что его раскрыть пока не удалось всему мировому литературоведению. Поэтому я в сочинении излагал лишь свой взгляд и анализ тех проблем, которые мне представляются особенно важными для раскрытия темы.

Абсолютно не согласен с утверждением экзаменатора относительно отсутствия анализа в моей работе. Я попытался проследить, насколько характерны женские образы романа для творчества Достоевского в целом и как они помогают понять философию главного героя — Раскольникова. Именно для этого, кстати, мне понадобилось большое вступление о Достоевском и отступлении, касающиеся идеологии Раскольникова, которые также были причислены к недочетам работы. Совершенно не представляю себе, как можно увидеть в моем сочинении лишь пересказ эпизодов романа.

Среди приведенных на апелляцию наиболее ярких примеров якобы сделанных мною стилистических ошибок были следующие обороты: «волевая вера», «сделать выдающийся шаг в развитии писательского творчества», «Петербургские женщины»(!) и т. д. Как я абсолютно убежден, эти и другие обороты, употребленные в сочинении, не противоречат нормам русского языка и лишь не удовлетворяют вкус экзаменатора. На апелляцию мне так и не была доказана неправотность употребленных мною фраз.

Когда же я заметил в рецензии на мою работу грубую орфографическую ошибку: «тема раскрыта **неполностью**»,

то вместо того, чтобы признать свою очевидную ошибку, меня самого признали «оскорбившим комиссию», продолжая настаивать на правильности такого написания, что совершенно противоречит «Словарю трудностей русского языка», где это слово пишется раздельно». (Неразрешимой загадкой остался для абитуриента и вопросительный знак, поставленный около фамилии Слуцкис. В сочинении процитировано высказывание литовского писателя о том, что по положению женщины в обществе можно судить о развитии общества в целом. Неужели нам остается предположить только, что уважаемый экзаменатор не знаком с именем писателя Миколаса Слуцкиса и решил, что абитуриент неправильно написал фамилию поэта Бориса Слуцкого?)

...Выслушав эти истории, «20-я комната» отравила своего корреспондента сделать фотокопии сочинений, чтобы либо убедиться в правоте экзаменационных комиссий, либо защитить абитуриентов.

Если бы только «20-я комната» знала, какие баталии ее ждут впереди! Какие всем осточертевшие приемы старой антинародной игры под названием «бюрократический футбол» продемонстрируют защитники чести мундира!

День первый. Заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии МГУ Ткачук В.В. (вертя в руках редакционное письмо, просматривая его на свет, только что не пробуя на зуб), — серия беспорядочных ударов в разные стороны: «На каком основании?!», «Что за направленность?!», «Почему нет круглой печати?!», «И вообще приходите завтра...».

Журналисты, парируя, достают «мячи» из разных углов площадки: «Позвоните в редакцию — вам подтвердят полномочия... На такие бумаги печать не ставится... Почему завтра? Напишите, пожалуйста, сегодня: согласие или отказ».

Но зам. ответственного секретаря тоже не лыком шит, он увертывается изящно и просто: «Я не могу оставлять образец своей подписи на бумаге, которая не внушает мне доверия».

День второй. Внушить доверие вместе с бумагой, теперь уже с оттиском круглой печати «Юности», приезжают два корреспондента. Быстрая перепасовка между секретаршей и ответственным секретарем Центральной приемной комиссии Яковенко Л. В. И: «Вас сегодня не примут — приходите на следующей неделе». (Это называется удар в аут — со следующей недели, как узнаем мы позже, вся приемная комиссия — в отпуске). Но, увернувшись от этого удара, корреспонденты «20-й комнаты» осуществляют прямое попадание на последнее заседание Центральной приемной комиссии, то есть последнюю встречу комиссии с родителями абитуриентов...

Немолодая женщина (дрогнувшим голосом): «Скажите, пожалуйста, что, сочинения наших детей — это военная тайна? Почему мы не можем их увидеть?»

В ответ — легкая саркастическая усмешка членов комиссии: «А где сказано, что надо показывать сочинения родителям?»

Женщина, заплакав, садится на место.

...Интересны психологические истоки ледяной административной снисходительности. Откуда она? От недостатка воспитания и культуры, от упоения собственной властью?

Конечно, есть среди абитуриентов и напрасно обижающиеся. Но если преподаватель не может убедить абитуриента и его родителей в объективности оценки, значит, что-то не в порядке с критериями этой оценки.

Есть и другой источник «олимпийской» невозмутимости приемной комиссии — чувство совершенной безнаказанности, естественно возникающее у человека, когда жалобу на него предлагают разбирать ему же. Заявление Миши К. в инспекцию Минвуза, отрывки из которого мы цитировали, вернулось обратно в университет с рекомендациями той же приемной комиссии «проверить сочинение еще раз и дать заключение о правильности оценки». Проверили. Дали: «Содержание работы свидетельствует о том, что автор знает произведение Достоевского, понимает роль женских образов в создании образа Раскольникова. Однако на стр. такой-то высказывает спорную мысль... а на стр. такой-то — спорное суждение...» и т. д. И, видимо, в отместку за норы абитуриента обнаружено теперь уже 27 стилистических ошибок. «Двойку» подтвердили доктор филологических наук Цыбенко Е. З. и кандидаты филологических наук Долгих И. А. и Кохтев Н. Н.

Напомним, что порядок, при котором жалобу разбирает тот, на кого жалуются, — это нарушение законодательства...

...По окончании заседания «20-я комната» задает вопрос: «Есть ли закон, запрещающий снятие копии с сочинения абитуриента?» — чем вызывает многоголосый взрыв негодования. Все говорят громко, одновременно и примерно одно и то же. (Как в итальянской комедии):

«Закона нет. Но... у нас внутреннее решение... традиционное... мы никогда... этого не делали... мы не можем... допустить... чтобы абитуриент получил поддержку... такого мощного... органа печати (откуда такая уверенность, что именно поддержку? А может, работа этого не стоит? Или все-таки стоит?)... поэтому... мы вам ничего не покажем... Но если вы не будете упорствовать и настаивать на снятии фотокопий сочинений именно этих абитуриентов, то мы с удовольствием окажем вам содействие вообще. В ФОТОСЪЕМКЕ ВООБЩЕ ЭКЗАМЕНОВ ВООБЩЕ АБИТУРИЕНТОВ. Пожалуйста, проведите товарищей по университету, ознакомьте с правилами приема, с особенностями работы приемной комиссии...»

Разговора по существу не получается. Вместо этого тщательно выясняются и записываются фамилии, имена, отчества корреспондентов и тех, кто посмел их прислать. На слова: «Ведь разрешено все, что не запрещено законом», — очень грозно проректор В. А. Садовничий машет в воздухе указательным пальцем: «Не дело советской прессы!...»

День третий, четвертый и так далее.

...И уже сомнения одолевают журналиста, и внутренний голос нашептывает: «Ну, зачем ты ввязался в эту историю? Писал бы себе о каких-нибудь успехах и достижениях. Все бы двери настезь, а не наглухо, все спокойно, никаких нервов и сердцебиения, все руки жмут и благодарят, а не смотрят волком...»

И — млея от окружающего солидного покоя — страсти вступительные откипели, в институтах тихо, на стенах списки принятых и зазывные объявления: НСО приглашает... ССО открывает... Киноуниверситет проводит... — внутренний голос все крепче, все уверенней: «Посмотри, сколько народу принято, как они интересно жить теперь будут: лекции, семинары, интерклубы — ну чего ты кипятишься из-за двух-трех человек?»

И только — неотвязчиво — мысль: «Да ведь все эти доклады и стройотряды для всех, кроме тех двух-трех... трех-четырех... четырех-пяти... Да ведь так и бывает обычно: вообще всем неплохо и даже хорошо, а плохо — кому-то одному... И потом, что значит — три-четыре? Это ты знаешь трех-четырех... Про тех, кто пришел в редакцию... а сколько тех, кто не пришел?»

...В Первом мединституте история с сочинением Иры Н. повторяется почти слово в слово:

«На каком основании редакция вмешивается?! Мы будем выяснять! Никаких работ! Никому! Никогда! Не показываем! (Пауза.) Можем показать... другие работы... (а как же никогда и никому?) на выбор... на наш выбор... но не эту... эту не покажем!»

(Да что ж там такое, в этих сочинениях?! Государственные секреты? Сведения о новых ракетах?)

Ответим всем обороняющимся от гласности приемным комиссиям: редакция действует на основании Конституции СССР. Одно из важнейших «дел» советской прессы — защищать интересы государства и личности от ведомственного беззакония. От такого, например, как в МАИ, когда абитуриенты вынуждены заполнять заявления на апелляцию по стандартной форме, не видя собственной работы, приблизительно так: «Считаю, что у меня в работе все правильно». А на самой апелляции, не показав абитуриенту работу, произносят: «Вот товарищ такой-то считает, что у него в работе все правильно. А на самом деле у него все неправильно. До свидания, дорогой товарищ!»

От такого, как в МГУ, когда абитуриент в апелляционном заявлении на работу по физике написал: «Прошу еще раз проверить решение задач в моей работе». Проверили. Действительно, абитуриент оказался прав: задачи решены им правильно. Довольный, человек уходит, а на следующем экзамене узнает, что оценку за физику ему не повысили. Как?! Почему?! «А вы в заявлении не просили повысить оценку. Вы просили только перепроверить решение».

Когда одним людям дается право решать судьбы других, то недопустимо, чтобы деятельность первых протекала в обстановке сверхсекретности. Что в итоге получается из такой секретности, мы увидели на примере Бакинского института народного хозяйства, ставшего ныне притчей во языцех. Кстати, там все тоже начиналось с беспаравия абитуриента. «Что же вы предлагаете?!» — скажут. Простую вещь.



Чтобы абитуриент, если он недоволен оценкой, мог снять копию со своей работы и обратиться с ней в не зависящую от данного учреждения комиссию. Повторим: разрешается все, что не запрещается законом. А снятие копий с документов, лишенных грифа «Секретно», никому не возбраняется.

«К чему это приведет?!» — слышу я недовольные голоса. К тому, что потребности государства в хороших специалистах будут удовлетворены глубже и шире.

Двоечник не прорвется, а вот возможность, что «завалят» способного человека, станет меньше. Для умных, добросовестных преподавателей, работающих в приемных комиссиях, гласность не помеха. В Куйбышевском авиационном институте установили в аудиториях телекамеры, так что родители, находясь внизу, в холле института, могут видеть на экранах телевизоров, как их дети сдают экзамены.

В Московском лесотехническом институте и родителей на апелляцию пускают и компетентные специалисты умеют логично и конкретно доказать свою правоту и заинтересованно, по-человечески, а не административно равнодушно обрисовать учебные перспективы данного абитуриента и, не отставая во что бы то ни стало выставленные оценки, стараются разобраться в них объективно. Гласность — это препятствие для людей, которым чужую судьбу решить — раз плюнуть.

Так как решение судьбы — дело трепетное, то хорошо бы элемент случайности в этом деле свести к минимуму. Например, отменить, где только возможно, устные экзамены (тут с письменными люди не могут доказать, что белое — это не черное, а уж что там после устных докажешь — что говорил, чего не говорил, что спрашивали, чего не спрашивали?).

Экзаменационную проверку точных наук отдать машинам (что делается уже в ряде вузов). А с такой «неточной» наукой, как литература, обращаться деликатно: не душить свободу мысли и стиля абитуриентов; и ставить две оценки за сочинение (как можно одной отметкой оценить качество мысли и количество запятых?); и в негуманитарных вузах обязательно вместе с литературными предлагать и темы, связанные с будущей деятельностью.

И последнее: везде ли нужны экзамены? Почему не дать каждому вузу право самостоятельного решения этого вопроса? И пусть где-то появится такая форма: зачисляются все желающие, а по ходу учебы становится ясно, кто есть кто, отсеиваются неуспевающие.

Тогда в потоке драм, ежегодно разыгрывающихся у дверей институтов, будет меньше ложных фарсов и подлинных трагедий.

И надежды молодого человека на справедливость не будут с первых же самостоятельных шагов расширяться о непреступную стену...

На Иру Н. мы обратили внимание совершенно случайно. Стоя у дверей института, девочка убеждала маму не подавать апелляцию: «Все равно справедливости не добьешься». Так, впрочем, и случилось.

Миша К., выступая на выпускном вечере в школе, сказал: «Мы заканчиваем школу в самое счастливое время, когда демократизация и гласность создают все условия для расцвета творческой деятельности нашего поколения».

Хочется, чтобы прав оказался Миша.

Лев ГДАЛЕВИЧ

ПОСЛЕСЛОВИЕ «20-й комнаты»

Несмотря ни на что, Миша продолжал надеяться. Он не хотел верить в то, что «все равно справедливости не добьешься», и написал о своих заключениях в Отдел науки ЦК КПСС. Отдел науки послал запрос в Минауз. Минауз направил работу на внешнюю экспертизу. Независимая от МГУ комиссия филологов поставила за сочинение «четыре».

Министр высшего и среднего специального образования СССР Г. А. Ягодин, прочитав сочинение, «четверку» подержал.

«Неординарность стиля?» — сказал министр. — Так ведь это хорошо, а не плохо. Спорные мысли, выходящие за рамки школьного учебника? Прекрасно! Значит, человек мыслит самостоятельно».

Итак, Миша — студент физфака МГУ.

Хеппи энд? Да, пожалуй. Однако надобность в счастливых финалах подобных историй отпадает сама собой, если сумеет усовершенствовать наш общественный механизм настолько, чтобы вопрос о справедливой оценке за сочинение решался не на уровне аппарата ЦК и Совмина.

Самым значительным рок-событием прошлого года стал Подольский рок-фестиваль, уже один факт проведения которого можно считать сенсацией. Судите сами: география фестиваля охватила 13 городов и простиралась от Риги и Таллина до Новосибирска; фактически все крупнейшие рок-центры страны делегировали в Подольск свои ведущие группы, и на открытой площадке Зеленого театра подмосковного города играли, смеялись друг друга, «ДТ», «Зоопарк», «Телевизор», «Наутилус помпилиус», «Веселые картинки», «Бригада С», «Облачный край», «Калинов мост»... Таким образом, де-факто подольские события можно смело считать вторым всесоюзным рок-фестивалем — после «Весенних ритмов», «Тбилиси-80» (кстати, по творческой насыщенности программы маленький Подольск оставал далеко позади грузинскую столицу, продемонстрировав огромный шаг вперед, сделанный советским роком за семь лет). Но это де-факто. А де-юре...

А де-юре ситуация вокруг фестиваля все время была такая шаткая, что и подготовка его, и проведение могли послужить сюжетом для хорошего боевика. Вообразите ситуацию: кучка безвестных энтузиастов из Подольского рок-клуба вдруг на ровном месте начинает проводить на территории Московской области огромный рок-фестиваль (21 группа за три дня), заручившись всего лишь шаткой поддержкой местного парка культуры и отдыха имени Талалихина, а также двух печатных органов — «Юности» и «Московского комсомольца»...

Подольск, как известно, город далеко не всесоюзного масштаба. Тут есть плюсы: легко брать за осуществление фантастических проектов. Подписал там и там — ну и проводи. Увы, есть и минусы: над городским начальством стоит начальство областное. Городское начальство решилось, не влезая в бюрократическую чащу, дать фестивалю зеленую улицу: все-таки не восемьдесят четвертый год, ребятам хочется и т. д. Но за три дня до первого концерта областное начальство проснулось: в Подольск позвонил сам начальник Управления культуры Мособлисполкома товарищ Бендер Николай Сергеевич. Посыпались вопросы, один страшнее другого: почему проводите без нашей санкции? Почему к вам едут группы из других городов? А республики? Почему едут лица без определенного места жительства? (На этот вопрос товарища Бендера наведло название одной из новосибирских групп — «БОМЖ»). Почему, наконец, едут антисоветские (!?) группы? В нынешние времена данным сомнительным понятием пользуются, как правило, лица, для которых перестройка не началась и в 1987-м (повод для размышлений).

И вот горком ВЛКСМ на глазах у чуть не плачущего президента Подольского рок-клуба Пети Колупаева, фактического организатора фестиваля, принялся рассылать телефонограммы городам-участникам: фестиваль отменяется, группы не присылайте (еще один повод для размышлений — о принципиальности).

Работникам парка и ребятам из рок-клуба пришлось работать на два фронта. Дневное время занимали отчаянные походы по высоким инстанциям с мольбами не душить и разрешить, это вместо того, чтобы заниматься аппаратурой, гостиницей для музыкантов, охраной порядка и прочим РЕАЛЬНЫМ ДЕЛОМ. А ночью иногородние группы отлавливались посредством личных контактов (все-таки рок-движение!) по междугородному телефону за свой счет: тех, кто уже нечаянно сдал билеты на Москву, уговаривали взять их вновь и смело, «по-рокерски», лететь не выходя на что.

...Успех, однако, пришел не сразу, предварительно пришлось пережить серию бесплодных, но поучительных визитов к всевозможным высокопоставленным лицам. Нашим энтузиастам степенно разъяснили главную их ошибку — то, что Подольск осмелился проводить рок-фестиваль, не согласовав это с Управлением культуры Мособлисполкома (помните товарища Бендера?). Им поведали и о том, что представлял бы собой «правильный» рок-фестиваль, который явился бы результатом сего согласования. О том, что состав жюри был бы «более представительным за счет включения маститых членов Союза композиторов и поэтов-песенников (а ребята осмелились довериться людям молодым, известным своим смелыми и честными статьями о рок-музыке — эстонскому социологу Николаю Мейерту, члену совета ленинградского рок-клуба Андрею Бурлаке, ведущему «Звуковой дорожки» «Московского комсомольца» Евгению Федорову и др.). О том, что и состав группы — участников фестиваля был бы «усилен» эстрадно-коммерческими филармоническими коллективами.

К счастью, среди густых инстанционных терний нашелся один человек, которому тысячи рок-фанов, послушавших-таки свою любимую музыку в Подольске, должны сказать за это большое спасибо. Это заминистр культуры РСФСР Нина Борисовна Жукова. Ей сразу стало ясно, что, как бы ни складывались сложные отношения раскравившегося Подольского рок-клуба с инстанциями, решающим за нас, какие песни нам слушать, ничего страшного в фестивале как таковом нет. Но как же все-таки трудно жить на свете, если нормальное человеческое отношение работника Министерства культуры к этой самой культуре кажется нам пока сверхъестественным, чуть ли не мистическим явлением!

И вот таким сверхъестественным, чуть ли не мистическим образом Подольский фестиваль состоялся.

Настоящими рок-продюжками стали концерты язвительного «Цемент» из Риги, бескомпромиссного ленинградского «Телевизора», безудержного в экспрессии сценической подачи «Облачного края». В философичности не было, как всегда, равных Юрию Шевчуку и группе «ДТ», в музыкальной виртуозности — «Веселым картинкам» (новой модификации популярной в прошлом московской группы «ДК»), в прозительной искренности — свердловскому «Наутилусу». Новосибирский «Калинов мост» наполнил форму традиционного рока мелодикой народных песен и стилистикой русских былин, а одесский «Бастион» — своим местным музыкально-песенным колоритом. Тряхнул старинкой бывший «Зоопарк» со своим знаменитым лидером Майком Науменко. Были и открытия фестиваля: интересная полуклассическая группа из Горького «Хроноп» и, конечно же, панки — таллинская «У.М.К.Е.» и новосибирский «БОМЖ».

Каковы же уроки Подольска? Их много — самого разного порядка. Мы лишь раз убедились в том, что наверху перестройка идет, а вот чуть пониже: «не идет, не идет пока». В том, что кучка любителей-энтузиастов, работающих вместе, может свергнуть горы, а люди, которые претендуют на «управление» нашей с вами культурой, на деле предпочитают выступать в малопочетной роли механизмов торможения. В том, что социальная опасность крупных рок-форумов сильно преувеличена. В том, что рок-фестивали продолжают оставаться опасной темой для большинства наших средств массовой информации, пугливо обходящих ее стороной.

И, конечно же, в том, что наши правовые механизмы нужно совершенствовать и совершенствовать. Потому что устаревшая инструкция в руках неперестроившегося бюрократа бьет по искусству с удвоенной силой. Как мне кажется.

А вам, читатель?



Я шел на Арбате. В августе по вечерам вы могли видеть меня возле кафе «Арба». Каждый вечер я собирал человек по 50–80 слушателей. Кто-то стоял просто так, кто-то танцевал, кому не нравилось — уходил, благо, на Арбате тогда было много интересного — можно было не только послушать музыку или получить свой портрет от художника, но и поговорить на интересующую тебя тему, почтить свои стихи, увидеть почти все существующие в Москве молодежные течения, купить картину неизвестного, может быть, гениального художника. Я не брал денег за свои рок-н-роллы. Но когда ребята подрабатывали, танцуя на Арбате, я охотно им помогал. Это не попрошайничество — танцуя несколько часов подряд твист, ребята так выкладывались, что у них едва хватало сил добраться до постели. Они работали. Ведь никто не обвиняет в попрошайничестве балерин из Большого театра, хотя они не производят материальных ценностей. К тому же наше искусство было гораздо демократичнее: люди платили столько, сколько хотели, и не платили вовсе, если им не нравилось или у них не было денег.

Я не отрицаю: были на Арбате и люди, которые откровенно «халтурили» — продавали листки со своими стихами по рублю за штуку или рисовали портреты за десять минут в манере дешевых журналов мод. Но были там и настоящие мастера.

В конце августа я уехал из Москвы и весь сентябрь не появлялся на Арбате. Когда снова пришел сюда, меня поразило, что нигде не видно было людей с гитарами. Количество художников тоже уменьшилось. Люди не собирались больше кружками, увлеченные жарким спором; в силу вступило постановление № 2075 Мосгорисполкома. Отныне на Калининском проспекте, Арбате и прилегающей к нему территории запрещалось петь, читать стихи и вообще шуметь. Хотя вполне можно было ограничить арбатское действо 23 часами, согласно известному постановлению Моссовета, действующему на всей территории города.

В связи с чем появилось постановление № 2075? В связи с заботой о понижении уровня городского шума? Но человек с гитарой шумит гораздо меньше, чем, скажем, автобус, хотя никто не запрещает автобусы, потому что они шумят. Автобус — это нужно. А музыкант — это разве не нужно?

Нужны ли мы? Один раз я проделал на Арбате такой нехитрый эксперимент — встал рядом со знакомой художницей и начал разговаривать с прохожими. Тотчас собралась толпа. Я специально говорил вещи незначительные, шутил, рекламировал художницу и постоянно предупреждал, что ничего важного говорить не собираюсь. А люди стояли два часа и слушали. Когда я закончил, многие подходили ко мне, жали руку, благодарили. Это хорошо свидетельствует о том, что людям не хватает простого общения, простого занятия в часы отдыха. Они рады даже обычной болтовне, если она доброжелательна.

Куда пойти людям после работы? Кинотеатры всех не вместят, в рестораны и кафе поди попробуй попасть, на выставки такая же очередь, что и в винные отделы магазинов. Люди отучаются общаться с живыми людьми. Зима пройдет, но пройдут ли холода на Арбате, сковывающие руки на грифах гитар?

Андрей ДОБРОВ

Это письмо мы попросили прокомментировать тоже бывшего «арбатского барда» Юрия Щеголькова:

— Я читал на Арбате свои стихи, иногда пел песни под гитару. Мне нравилось выступать здесь. Не знаю, смог ли я что-то изменить в людях, но сделать себя чуть добрее и искреннее мне удалось. Поэтому, когда вышло постановление Моссовета № 2075, я не воспринял его столь пессимистично, как многие мои друзья, и решил добиться официального разрешения читать свои стихи.

И началась моя телефонная эпопея. Из справочной Мосгорисполкома меня отослали в отдел культуры. Там какая-то женщина сказала, что Арбат находится на территории Киевского района, поэтому звонить нужно в Киевский райисполком. Я попросил представиться таинственную мою собеседницу. Она отказалась, мотивируя это тем, что работает в соседней комнате, а здесь только подходит к телефону. Я продолжал поиски истины. В отделе культуры Киевского райисполкома я спросил: «Правда ли, что принято постановление, запрещающее собираться на Арбате? Почему оно не опубликовано?» Мне ответили: «Это наше дело». Тогда я поинтересовался, почему на Арбате нельзя читать стихи. «Не суйтесь не в свое дело», — на другом конце провода обиделись и повесили трубку. Я перезвонил, долго извинялся. Наконец меня простили и обрадовали сообщением, что обращался я вообще-то не по адресу и помочь мне могут только в Едином научно-методическом центре при управлении культуры Моссовета. Там соберется авторитетная комиссия, рассмотрит мои произведения, и если они ей очень понравятся, то, может быть, и даст разрешение. В Единый научно-методический центр я не смог дозвониться. Было упорно занято, видимо, трубка была снята.

Тогда я взял гитару и пошел на Арбат. Довольно быстро вокруг меня собралась толпа слушателей. Через несколько минут подошли и две полные женщины с красными повязками, сказали, что нельзя шуметь. «Хорошо», — ответил я, — я буду читать стихи». Дружинники посовещались и отошли. Вернулись они с двумя милиционерами, которые приказали публике разойтись. Публика поинтересовалась, почему. «Это же Арбат. Здесь нельзя собираться», — объяснил сержант. Меня отвели в отделение милиции, прочитали постановление и посовещались больше на Арбате не появляться, а то хуже будет... Со многими моими друзьями-поэтами происходили подобные истории.

Нам долго твердили, что не надо гнаться за публикациями, что Гомера тоже не печатали, что нужно добиваться признания другим путем. Да, Гомера не печатали, но никто не запрещал ему сочинять и уж никому не приходило в голову подвергать «Одиссею» или «Илиаду» предварительной цензуре. Нам же советуют искать дорогу к аудитории, но не разрешают выступать не только на Арбате, но и вообще в центре Москвы. А что касается возможности получить разрешение Моссовета... Я не знаю ни одного барда, которому бы это удалось.

По следам
наших выступлений

Из письма в редакцию:

«Прочитал статью Аваза Юнусметова «И сам себе судья», опубликованную в шестом номере «Юности» под рубрикой «Письма государственного человека», и заново переболел событиями трехлетней давности. Я тогда работал заведующим орготделом Тюлькубасского райкома партии. Ясно помню ощущение бессилия, когда я пытался помочь работникам заповедника: секретарю парторганизации Иващенко, Юнусметову, Олонцеву, Канахину.

Видимо, сейчас вновь будет создана комиссия обкома партии. Не исключено, что в нее войдет и председатель областной парткомиссии Досумбеков, который сам посещал ту «белую юрту», что упомянута в статье. Разве он сможет дать объективную оценку, если еще три года назад у него на столе лежали документы о злоупотреблениях Шукеева?! Эти люди живут по «законам», принятым в их келейном кругу. У них были и остались сейчас покровители из недавнего прошлого, когда застой в общественной жизни и укоренившиеся благодаря ему порядки позволяли им приспособить букву Закона ко вседозволенности.

События в заповеднике отражают, на мой взгляд, невозможность жить по-старому, когда занимаемый пост сам по себе является одновременно индульгенцией и негласной надбавкой к зарплате в виде благ и преимуществ, недоступных простому смертному.

Не хочется верить, что сейчас, после выхода статьи в «Юности», вершителями судеб Аваза Юнусметова, Ивана Олонцева, Андрея Канахина станут опять те, кто их «гонял», обманывал, скрывался за непробиваемой стеной круговой поруки».

В. КОСЕНКО, диспетчер.

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ...

Владимир Владимирович Косенко одним из первых откликнулся на публикацию («Юность», № 6, 1987 г.). После выхода журнала министр внутренних дел СССР А. Власов распорядился направить в Чимкентскую область бригаду МВД СССР во главе с подполковником Дайшутовым. Не упреждая оценок и выводов комиссии, приводим выдержки из поступивших в распоряжение редакции заявлений и диктофонных записей бесед с работниками правоохранительных органов и другими участниками конфликта в заповеднике.

Из заявления прокурору Тюлькубасского района тов. Нурмурадову А. С.:

«События последних дней после выхода журнала «Юность», где опубликована статья Аваза Юнусметова «И сам себе судья», заставляют обратиться к Вам с просьбой оградить нас от произвола милиции, а именно комиссии МВД СССР во главе с подполковником Дайшутовым В. С. Вместо того чтобы разобраться с работниками милиции, нарушителями заповедности и нашими преследователями, взяточниками и их покровителями в районных партийных и советских органах, названными в статье, комиссия едва ли не демонстративно старается увести их от ответственности.

С этой целью с нами проводятся «беседы», ничем не отличающиеся от унижительных допросов, которым мы подвергались два последних года со стороны работников районной и областной милиции. Отвергалась вся информация, которую мы пытались дать о противозаконных, на наш взгляд, действиях работников райисполкома и райкома... Однобокий подход к поискам истины члены комиссии объясняли установкой руководства МВД СССР, заинтересованного, якобы, лишь в выявлении роли работников милиции.

Подобный крен в разбирательстве... мы расцениваем как проявление ведомственного эгоизма и сознательное противодействие тем переменам, что происходят в нашем обществе».

И. ОЛОНЦЕВ, А. ЮНУСМЕТОВ, А. КАНАХИН.

Из диктофонной записи беседы с участковым уполномоченным Тюлькубасского РОВД лейтенантом А. Ибраимовым.

ИБРАИМОВ. Шла речь о том, что вместе со старшим лейтенантом Даулбаевым и следователем Есенбаевым мы вели дело неправильно, и «преступник» Юнусметов, вместо того чтобы понести наказание за хранение обреза и ножа, стал «государственным человеком»! Комиссия всю вину валит на нас: о том, что неправильно обыск делали, неправильно написали, где нашли обрез, который был старым, ржавым, никуда не годным...

На совещании в РОВД накануне приезда комиссии из Москвы после читки статьи в журнале «Юность» я сказал, что статья написана правильно. Вся вина лежит на Игнатенко, как начальнике РОВД. Игнатенко не раз побывал в заповеднике и знает все, что написано в статье о пьянках, о гулянках... это правда. Я сам, когда приезжали представители МВД СССР (речь о факте задержания на территории заповедника летом 1985 года полковника Н. Сушко и подполковника А. Потехина), ухаживал за ними. Что там не было водки, коньяка (так утверждал в официальном ответе и. о. министра МВД Каз. ССР Э. Басаров) — это неправда! Я сам лично им в сумку положил водку и коньяк... Закуска была хорошая: мясо, баранина, которую я для гостей привез из дома.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Почему районному инспектору поручили?

ИБРАИМОВ. В то время проверяли работу участковых инспекторов, и я был обслуживающим персоналом.

Из диктофонной записи беседы с оперуполномоченным угрозыска Тюлькубасского РОВД старшим лейтенантом У. Макиримовым.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вы участвовали в подобных приемах?

МАКИРИМОВ. Я сам жил в Новониколаевске. У меня было постоянное поручение со стороны замполита Акилтаева: «Будет выезжать туда начальство, ты как следует должен встретиться!»

КОРРЕСПОНДЕНТ. Что означает «как следует»?

МАКИРИМОВ. Ну, обязательно, барана... Баран, который устраивает их, на базаре стоит рублей двести. Шашлык надо сделать, шурпу. Им надо найти кого-то, привезти... Ну, пять-шесть бутылок водки, две-три коньяка, воды, соки разные... Самое маленькое на пятьсот — шестьсот рублей. Я в то время получал семьдесят. Говорят: «Будет начальник приезжать, с ним будут видные деятели района нашего. Тебе тоже будет почет — ухаживать». Я постоянно принимал по поручению замполита Акилтаева крупных начальников. Хочешь не хочешь, а все равно сделаешь. Некуда деться!

КОРРЕСПОНДЕНТ. По методам работы нынешней комиссии из МВД СССР, приехавшей сегодня из Москвы, что можете сказать?

МАКИРИМОВ. Накануне совещания по обсуждению статьи в «Юности» замполит Акилтаев проинформировал, что в нашем районе статью прорабатывают и «многие организации дают отрицательную характеристику. И направляют свое мнение в райком партии».

КОРРЕСПОНДЕНТ. И как расценили такую преамбулу?

МАКИРИМОВ. Он всегда так делает, Акилтаев, давит! Свое хочет диктовать. Но, когда он ушел, коллектив одобрил статью! Статья правильная. Выступили все-все. За правду можно идти, без стыда.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Расскажите, пожалуйста, о поручении перед приездом комиссии, связанным с товарищем Танатаровым.

МАКИРИМОВ. Я сидел в кабинете, замполит ко мне прибежал, говорит: «Спрячь Танатарова. Чтобы они не могли его найти...» От кого? Зачем? Не знаю, что придумывать. Как сидел, так и остался, голову не могу от стыда поднять. Через пять минут Акилтаев как прибежит: «Я тебе сказал!!! Почему ты не выполнил мою задачу? Танатаров уже в передней, он сейчас все им расскажет!»

Из ответа и. о. министра МВД Каз. ССР Центральному телевидению от 18.09.1986 г. № 3/И-1067:

«...В указанных действиях каких-либо нарушений, а также преследования Юнусметова со стороны Игнатенко не усматривается...»

В части сообщения о нарушении последнего заповедного режима проверка показала, что 23 июня 1985 года вместе с командированными представителями МВД СССР, на основании разового пропуска, он посетил музей и урочище Каинды заповедника Аксу-Джабаглы, где их видел Юнусметов. Утверждение его о том, что при этом сотрудники милиции употребляли спиртные напитки, ничем не подтверждается... Это также отрицает бывший с Юнусметовым сотрудник заповедника Варавин...»

Из диктофонной записи беседы с В. Варавиным:

«...Возле избушки в Каиндах мы с Юнусметовым застали начальника милиции Игнатенко, шофера райкома партии Сиренко. С ними были двое мужчин и две женщины. Был там ящик водки, коньяк... Потом меня вызвали, заставляли писать объяснительную, что я ничего не видел.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Кто заставлял?

ВАРАВИН. Акилтаев, замполит милиции. Потом вызвали в райком к Костюченко, заведующей отделом агитации и пропаганды (сейчас Костюченко назначена заместителем председателя исполкома). И то же самое... Я дал показания, что видел их, но не видел спиртное. Мне здесь жить... Говорю не потому, что Аваз Юнусметов мне друг. Просто он — ЧЕЛОВЕК! Хотя мне это будет чего-то стоить...»

Из диктофонной записи беседы с бывшим начальником следственного отделения Тюлькубасского РОВД, майором милиции С. Буркитбаевым, «лучшим следователем МВД Каз. ССР, кавалером пяти правительственных наград».

КОРРЕСПОНДЕНТ. ...В материалах прокуратуры сказано, что в ту пору, когда Игнатенко давал указание завести уголовное дело на Юнусметова, он ссылался на «мнение

райкома». Он говорил вам, что существует такое мнение райкома — «Юнусметова осудить!»?

БУРКИТБАЕВ. Да. Он сослался на это мнение.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Чем объяснить предвзятость Игнатенко?

БУРКИТБАЕВ. У них там, оказывается, были свои намерения, планы — поставить другого человека, который допущен был их в заповедник.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Как развивалось оперативное совещание у генерала Ахмадина по разбору действий Игнатенко?

БУРКИТБАЕВ. Нас вызвали, семь человек, в управление милиции на оперативное совещание: Жакаева, Хайруллаева, Игнатенко, Ибраимова, Даулбаева и Есенбаева... Сразу прочитали заключение проверяющего (проверяющим был назначен сослуживец и близкий товарищ Игнатенко, майор Ю. Прядко): заключение не соответствовало материалам уголовного дела. Начали поднимать нас. Генерал мне сказал: «Ты, слушай, предатель!» Прямо на оперативном совещании, при всех... «Предатель товарища по оружию». Он имел в виду, что я сказал правду про Игнатенко.

Все «замы» его кивнули в знак согласия с тем, чтобы меня уволить в десятидневный срок...

Из диктофонной записи беседы с бывшим следователем лейтенантом милиции Есенбаевым С., ныне инспектором Чардаринского РОВД:

ЕСЕНБАЕВ. Честно говоря, когда услышал, что московская комиссия приехала, я думал, разберутся и правда восторжествует. Однако, как зашел в кабинет с начала беседы — это был допрос, допрос не простой, а перекрестный, — почувствовал, что это не истинное разбирательство сути дела, а наоборот... Они сразу мне сказали, что я умышленно фальсифицировал дело с начала до конца. И главное: «Почему я прекратил дело?» Они клонили, что я был заинтересован, что взятку получил и тому подобное... Я чувствовал себя арестованным. Потому что, когда пришел по вызову, Дайшутов из МВД СССР сразу сказал, чтобы меня посадили в кабинет и контролировали, чтобы я не выходил за пределы коридора... В общем, все восемь человек «парили» меня два с половиной часа, перекрестным допросом сбивали с толку, передышки не давали... Все, кто меня допрашивал, были очень агрессивны, причем грозили: «Мы тебя привлечем к уголовной ответственности». «Пока смотри в окно, но так получится, что завтра ты будешь с другого, маленького окошечка смотреть на этот свет». «Как ты получил диплом? Наверное, купил?» — спрашивал Дайшутов. Меня укоряли еще и в том, что я обратился в прессу.

Когда эта подборка была уже подготовлена к публикации, в редакцию пришло письмо автора статьи «И сам себе судья» Аваза Юнусметова: «...Утром 8 июля с 10 до 17.30 пробыли с Андреем Канахиным в РОВД, где нам устраивали очную ставку с браконьером Мезнером, оклеветавшим нас в занятиях наркоманией. 9 июля с утра собрались на кордоне для следственного эксперимента. 10 июля у меня была повестка в прокуратуру, насчет наркотиков. На 11 июля снова принесли повестку, теперь от следователя облпрокуратуры, который ведет дело по статье в «Юности» (новая статья в Уголовном кодексе?»).

Оказывается, я пяти следователям одновременно даю показания: в МВД СССР, УВД по браконьерству, облпрокуратуре по Шукееву и по статье, райпрокуратуре по наркотикам и РОВД по наркотикам.

Почему нам нужно искать правду, а потом доказывать годами в назидание другим, обивая пороги милиции и прокуратуры, отбиваться от самого правосудия, которому выгодно ли видеть эту Правду?!

Редакция «Юности» направила материалы в ПРОКУРАТУРУ СССР с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Борис ЦАРЕВ

«ЛИЧНОСТЬ»

Вестник № 2
культурного центра
учащихся СПТУ

КОГДА ОТ СМЕХА... ГРУСТНО

— Уважаете ли вы взрослых? — задали мы вопрос большой группе подростков.

— Только тех, кто считается с нами, — так ответило большинство.

А кто будет считаться с этим взлохмаченным уличным панк-хулиганом? С этой раскрашенной, с сигаретой во рту металлисткой? С «серым пэтэушником»? Таких пока найдется немного. Куда проще придумывать ярлыки: «трудный», «безнадежный», «отпетый». Результат? Многие и многие ребята оказались как бы в духовной невесомости, за рок-металлической стеной общественного безразличия. Разрушить ее, эту стену, вовлечь подростков в поле притяжения культуры — вот наша всеобщая сверхзадача. Но разрешение ее еще впереди.

А пока «Юность», несмотря на все трудности, организационные и творческие, выполняет свою программу-минимум духовного шефства в Лыткаринском СПТУ № 43.

Самый трудный день для нас — понедельник. В этот день — Час поэзии. Иное дело театральные миниатюры, смешные мимические сценки, танцы. На них всегда многолюдно, интересно, весело. Но вот парадокс: оказывается, и проникновенное лирическое стихотворение может вызвать смех. Когда один из нас начал читать ребятам Николая Рубцова — аудитория нежданно взорвалась... смехом. И тут уже, как говорится, было не до смеха.

— Кому неинтересно — может выйти, у нас ведь не принудительное мероприятие, — напоминаем ребятам.

Грохот падающих стульев, шарканье ног, смешки: целая группка «ценителей» поэзии удаляется. Но уходят все же не все — несколько человек остаются. Час продолжается...

Второй раз сопровождает гитисовцев преподаватель актерского мастерства О. Д. Якушкина. Ольга Дмитриевна сразу же откровенно призналась, что подобные поездки не по душе ей. Приводит аргументы: «Наших студентов все время отвлекают от занятий».

Пробуем возразить, что импровизированные спектакли ее студентов — общение, необходимое самим будущим артистам. В пользу и нужности нашего шефства Ольгу Дмитриевну мы все же убедили.

— Брейкеры привезли? — На следующий день нас встретили, вопрошая, как и прежде.

— Нет, брейк — еще не скоро. Сегодня будем слушать песни. Спойте вам Володя Тайсаев из ГИТИСа.

— О народной музыке, о фольклоре лучше Глинки, наверное, и не скажешь. Он говорил, что музыку создает народ, а композитор ее только обрабатывает. Но я вам не буду читать лекцию... Послушайте лучше русские и осетинские народные...

И Володя поет. Звучит протяжная, печальная мелодия. Хотя слова и непонятны, ребятам передаются эмоции. Они чувствуют песню. Это видно по лицам.

«Вечерний звон», «Из-за острова на стрежень», «Матушка, что во поле пыльно?» — звучат уже родные русские песни.

— А «По Дону гуляет» знаете?

— Давайте попробуем вместе.

Пока не у всех получается. Володя поет грузинскую «Сулико», украинскую «Взяв бы я бандуру»...

— Вы нам лучше русские пойте, наши. Мы здесь все любера. Даешь Лыткарино! — с гонорком бросает курносый белокрысый паренек.

— А за что же вы, любера? Или против кого?

— Против всех этих волосатиков, панков — ходят, как бабы. Еще и серьги на уши цепляют. Противно.

— Причем же здесь грузинские и украинские песни?

— Да так, — замылся мальчуган, — русские мы, и все тут...

Слов не надо в ответ. Снова звучит песня. Осетинская. Слушают. И чувствуют народную душу без перевода.

Но наиболее понятен, пожалуй, все-таки язык танца. Хотя, конечно, и танец танцу рознь. Почему же наши подопечные больше «болеют брейком»? Даже к стэпу отношение у них уже другое. Не говоря уж о балете. Об этом и пошел разговор с Раисой и Владимиром Кирсановыми — профессиональными стэп-танцорами, артистами Москонцерта и преподавателями ГИТИСа.

Вопрос после первого же номера:

— Откуда такое странное название — «стэп»?

— Слово это английское, — говорит Владимир, — но начинался стэп с русской чечетки и с дробушек. Потом влияние блюза, спиричуэлс, испанского фламенко сказалось. И, по сути, наш отечественный танец вернулся к нам уже знаменитым иностранцем. К сожалению, такое случается не только с танцами...

— А брейк вы танцевать умеете?

— Пожалуйста.

Владимир делает несколько блистательно отточенных, ритмических брейк-движений. А потом пробует убеждать:

— Вам, видно, брейк нравится больше. Конечно, в нем много спортивности, напористости, хотя порой и агрессивности. И одежда соответствующая — джинсы, кроссовки... Но я считаю, что танец должен как-то приподнимать человека, одухотворять его. Этим как раз и отличается стэп от брейка. Причем во всех отношениях: и музыка мелодически более разнообразна, и одежда строже — у мужчины классическая тройка, а у женщины — бальное платье. Да и саму женщину стэп делает более женственной...

Явился к ребятам в СПТУ и Большой театр. Правда, не всей труппой, а в лице своих солистов — Элины Пальшиной и Галины Хомутовой. Но опять-таки это был не концерт, а попытка приобщить ребят к искусству балета.

— Кто-нибудь из вас бывал на балете в театре? — спрашивает у ребят Геннадий Малхасян, преподаватель ГИТИСа.

— Я в Одессе «Спартак» смотрел. Не понравилось, — отозвался один.

— А почему, ты не думал? Не сам же балет виноват в том? Может, исполнение было плохое или оркестр играл плохо? Ведь наше искусство — только движение и музыка. Без слов.

— А я «Лебединое озеро» смотрела по телевизору — скучно, спать захотелось.

— Сейчас у тебя будет возможность сравнить телевизионный балет с живым. Элина Пальшина исполнит для вас вариации из балета Чайковского...

— Ну и как, разница есть?

— Это же что-то совершенно другое. И так легко все. От природы такой дар?

— Конечно, природные способности должны быть. Но и труд балерины... Его иногда приравнивают к шахтерскому. И ограничивать себя во многом приходится. В еде, например, в отдыхе. Такая вот цена этой легкости. То, что вы сейчас видели, — пример классического танца. Существует еще и характерный. Он ближе к народному. Здесь можно уже вставать на всю ступню. В классическом все только на пальцах, на пуантах. Сейчас вам Галя Хомутова покажет испанский танец из балета «Дон-Кихот»...

И тут уж не возникала нужда напоминать ребятам об исключительно добровольном характере наших общений: класс напоминал галерку Большого театра во время премьеры...

ДВЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Здесь, прямо у входа, вас охотно угостят сигаретой и дадут прикурить... ребята в белых халатах. Если к тому же вам удастся небрежно обронить пару «нестандартных» фраз — считайте, что «вошли в доверие».

Вот уже третью неделю я прихожу в училище и всякий раз встречаю на углу этого современного, сияющего чистотой фасада здания шумную стайку подростков и юношей, выпорхнувших на перемену... Перекур. С сигаретой все — от 14 и старше.

— Откуда привычка?.. Просто надо все попробовать, — пожимает плечами первокурсница с медсестринского отделения Аня Г.

— Но ведь именно медики утверждают, что курение — вред, — падают в глазах девушек.

— Ой, только не ладо нам этих баек, пожалуйста! Сейчас все курят, — возражает мне третьекурсница Ира К. Запомню, что недавно сама же «откачивала» от никотинового отравления сокурсницу. В пылу спора, разгоревшегося по поводу последнего концерта ансамбля «Модерн токинг», та выкурила подряд около десятка сигарет.

Можно, конечно, рассуждать и так, что табачное увлечение не столь уж и страшный криминал. Есть и пострашнее зелья. Жительница же соседнего дома, наблюдая в очередной раз знакомые сценки из жизни училища, бескомпромиссно изрекла: «Да какие же из них медики?! Когда рейды против курильщиков, прячутся во дворах, на детских площадках и разговоры ведут, что только тайком можно рассказать. Да анекдоты неприличные».

Курение в медицинском училище № 7 стало настоящим бедствием. И это лишь то, что на поверхности, что происходит, в сущности, прямо на виду у всех. Хотя и меры принимаются вроде сильнодействующие — от уборки коридоров до снятия курильщиков со стипендии. От облечения «Комсомольским прожектором» и до осуждения на классном часе. Но табачного дыма в этой кузнице медицинских кадров никак не убывает. Как не уменьшается в нем и число правонарушений, скрупулезно фиксируемых в отделениях милиции.

Как выяснилось позже, в медучилище № 7 не только борьба с курением стала затянувшейся, невыигранной кампанией.

— Чем занимаетесь в свободное время, ваши увлечения? — спросила я ребят.

И, к сожалению, разговор об этом показался абстрактным не только учащимся. Преподаватели, формально соглашались с равноценной необходимостью для молодых людей общей культуры и профессионализма, откликнулись на мой вопрос почти равнодушно: «А... Досуг?...» Директор же училища Л. Н. Гутарова выразилась коротко и ясно: «Для нас главное — обучить детей специальности. Досуг же — дело второстепенное».

Справедливости ради отмечу: училище первым в районе перечислило деньги в фонд Чернобыля. Первым собрало подписи в знак солидарности с борцом за права индейцев Пелтиером... Правда, идеи эти исходили от взрослых. А ребята? Поддержали ли их сами? Вот в чем вопрос, на который легче промолчать, чем ответить. По тем же меркам удачно прошли и другие мероприятия: удались на славу КВН, день самоуправления учащихся, встреча с сокурсниками — воинами-интернационалистами, служившими в Афганистане. Получается, вроде и были прорывы в серой стене учебных будней. Но все-таки мало.

Вот тут бы и комитету комсомола развернуться. Да нет. Предпочитает «академическую» работу. Сбором взносов, численностью рядов все больше озабочены. И дискотекой. Это уже, как везде, стало неотъемлемой частью «комсомольской работы». Едва ли не главнейшей и единственной. А что делать с хулиганами в училище?

— Стремимся избавиться от таких. Какие же из них врачи? — категорично заявляет мне секретарь комсомольской организации Елена Солдатова. А что делает райком комсомола для формирования полноценной духовной жизни училища? Этот вопрос мы вправе адресовать тем, кого так

редко видят у себя в гостях учащиеся, — работникам Ждановского РК ВЛКСМ.

Не все ладно и в самом педагогическом коллективе: случаются в нем раздоры, которые подолгу лихорадят училище. Высока текучесть кадров: только за последние два года уволились двадцать преподавателей. Почти полностью сменился руководящий состав. А директор вступает в очередной конфликт с очередным, чем-то прогневавшим ее подчиненным. Со многими любимыми учителями пришлось расстаться ребятам по этой причине. О каком же духовном и нравственном климате тут может идти речь, когда учащиеся в ответ на мой вопрос: «Чем нравится училище?» — с грустью вспоминают добрых, знающих, хотя и требовательных к ним учителей — Н. М. Кочетову, А. П. Данюшину, А. Л. Ионову, К. А. Боднарю, Э. Л. Краеву... Раздоры, отнюдь не оздоравливающие воздействующие на атмосферу в училище, порой длятся годами. Разве не отражается это и на юных, еще формирующихся душах будущих медиков?

Один из многих примеров. Преподаватель иностранного языка Н. Ю. Ноткина работает в училище уже более двадцати лет. Гожилый человек, переживший войну. Ученики благодарны ей за интересные и дающие глубокие знания уроки. Вдвойне обидно и неловко было ребятам за любимую учительницу, когда на их глазах ее, словно школьницу, директор отчитала за то, что замешкалась с ключом и чуть позже звонка открыла кабинет. Сердечный приступ и последовавшее за тем обострение других болезней надолго выбило Нину Юрьевну из колеи. Как это назвать: бесцеремонностью, бестактностью, жесткостью или же жестокостью?

Предвзятое и черствое отношение к себе ощущают здесь не только преподаватели. Из группы в группу перепроваживают учащуюся 3-го курса И. Шавлохову. «Неудобная» девушка. Мыслит смело, неординарно, не стесняется спрашивать наставников не по программе. Словом, «трудная». К тому же не смиряется с этим, приклеенным ей ярлыком.

Недавно в училище работала комиссия из Мосгорздрава и Ждановского райкома партии. Были выявлены серьезные нарушения в распределении обязанностей между административными работниками, формальное отношение ряда классных руководителей к воспитательной работе, отсутствие должного контроля за ней со стороны руководства училища. Вспомнились и прошлые «несовершенства».

Например, приписки часов классным руководителям. Является в класс новый учитель, спрашивает пройденную по программе тему, а ему в ответ: «Это мы не проходили»...

Долго, очень долго ремонтировали одряхлевшее здание Московского медучилища № 7. Это тоже лихорадило коллектив вместе со срывами расписания занятий, другими нарушениями нормального распорядка в его жизни. А теперь здание выглядит как новенькое. Но за его обновленным, сверкающим фасадом, увы, сохранились старые хронические недуги.

СПТУ № 180

Водитель рейсового автобуса объявил в микрофон: «Остановка ПТУ». По ухоженным дорожкам, мимо цветочных клумб шагаем к учебным корпусам профтехучилища.

Субботний учебный и рабочий день подходил к концу. Ребята в синих форменных костюмах, с нашивками на рукавах, обозначающими, на каком курсе они учатся, спешили: кто — домой, кто — на небольшой стадион погонять мяч, а кто — поразмяться на турнике.

— Здесь с нами обращаются не так, как в школе. Мастера и преподаватели с нами на «вы» и разговаривают на равных, — с явной гордостью говорит второкурсник Павел Михеев.

— Скажи, почему ты поступил именно в это училище? И как к этому отнеслись твои одноклассники, родители?

— Мама — диктор на радио, папа — актер. А я вот в рабочие пошел. Выбрал профессию станочника широкого профиля — оператора станков с числовым программным управлением. И не жалею. В нашем СПТУ вряд ли есть недовольные своим выбором. Узнал об этом училище еще в школе. Приехал посмотреть своими глазами — понравилось. Дали мне комсомольскую путевку — направление сюда. А родители не стали меня переубеждать: выбрал сам — учись. Бытует мнение, что в ПТУ идут одни троечники или те, от кого хочет избавиться школа. А я думаю, что все зависит от самого человека, а вовсе не от того, где он учится. Здесь много ребят, которые были хорошими

и даже отличниками в школе. И сейчас неплохо учатся. Мы получаем очень нужные стране профессии. После окончания училища нам присваивают 3—4-е разряды. А некоторым даже 5-й. Получу хорошую специальность, смогу прилично зарабатывать. Разве это плохо?

В наш разговор подключились третьекурсники Сергей Смирнов и Андрей Острийко — будущие монтажники радиоаппаратуры.

— Учителя не одобрили моего выбора идти в ПТУ. Отговаривали, — рассказывает Сергей. — Советовали не забирать документы после 8-го класса. А я недалеко от училища живу, давно знал, как здесь обучают. И вот поступил. Через год оканчиваю. Нет, не разочаровался.

— Обстановка у нас совершенно другая, чем в школе и в некоторых СПТУ. С нас требуют, конечно, но и уважают, — добавил Андрей.

Администрация училища была предоставлена возможность устраивать строгий вступительный конкурс и не принимать так называемых «трудных» ребят. Но педагогический коллектив отказался пойти по такому пути. «Трудные» ребята вместе с мастерами шли на пустырь — и сжигали там свои характеристики. Сможешь — начинай жизнь заново. И никого в СПТУ-180 не попрекают прошлым. Это закон — ты в училище, значит, ты самостоятельный и взрослый уже человек. Мы тебе верим.

— Приходите сегодня к нам на дискотеку. Каждую субботу проводим, — неожиданно пригласил нас П. Михеев. — Расскажем о металлическом роке, а затем танцевальная программа. Наш дискотек «Гелиос» лучший в системе ПТУ Москвы.

Так мы узнали об увлечении наших собеседников. Павел, выпускник музыкальной школы по классу фортепиано, — диск-жокей, Андрей — слайд-оператор, а Сергей — светотехник.

Наше внимание привлекла большая группа парней и девчат, которые собирались у входа в училище. В штормовках, с разноцветными рюкзаками, с гитарой.

— Это у нас почти экспедиция, — улыбается В. В. Графова, преподаватель физики и астрономии. — Цель — наблюдения звездного неба.

А коллега Валентины Васильевны Е. В. Ульянова добавляет:

— Предложил нам пойти в Подмоскowie Олег Корнев, третьекурсник. Он занимается в туристической секции, имеет опыт путешествий, ходил по Кавказу. Олег научил всех правильно укладывать рюкзаки, подсказал, что взять с собой... И вот отправляемся.

Мы пожелали участникам похода счастливого пути, а сами направились по утоптанной тропинке к небольшой зеленой будочке, притаившейся за деревьями. Голубятня давно привлекала наше внимание. Когда москвичи праздновали День города, у кинотеатра «Ладого» выпускали голубей. Взметнувшиеся белым веером грациозные птицы, покружив в небе, возвращались домой, в родную голубятню 180-го СПТУ.

— Почтовые, бойные, гривуны, — перечисляют породы своих питомцев, гуляющих в сетчатом вольере, первокурсники училища Илья Жданов и Михаил Антонов. Они сегодня дежурные. Кормят и ухаживают за птицами.

— Еще у нас петух прижился. Кто-то из ребят принес, — смеется руководитель секции мастер производственного обучения А. В. Батакин. — «Квартирант» освоился. Видите, какой важный ходит.

Анатолий Васильевич рассказал, что ребята прибегают к своим голубям на переменах, приходят и в воскресные дни. Истинные любители.

— Ребята, откуда это увлечение голубями? Какое-то даже несовременное, — спрашиваем у И. Жданова и М. Антонова. — У вас же в училище и дискотек есть, и интерклуб, и изостудия.

— Там как-то все привычно, — говорит Миша. — С техникой, с книгами связано. А тут — одни крылья чего стоят! Голубеводство — древнейшее занятие. Голубиная связь в Египте была. У нас — во время гражданской войны.

— Ты, наверно, все о голубях прочел?

— Читать-то особенно нечего. Всего два пособия существуют. И голубиный спорт слабо развивается. Может и отмереть.

— Как дронты, — добавляет Илья, — семейство голубей такое было. Почему-то разучились летать — и вымерли. А вот сизари живут почти во всем мире. И всегда возвращаются домой. Мы однажды проверяли: я отвез одного в Под-

московье и выпустил. Вон Мишка голубеграмму получил...

Узнали мы от ребят и о парашютной секции «Купол», где занятия проводят бывшие воины-интернационалисты, служившие в Афганистане. Здесь они и общефизическую подготовку проходят, и самбо занимаются, и политической подготовкой, парашютным спортом... А всего в СПТУ 15 секций. Как видим, есть здесь чем заняться в свободное от учебы время.

Разговор «о голубях» мы продолжили у Юрия Ивановича Барина, заместителя директора СПТУ-180.

— Юрий Иванович, вот эти игральные автоматы, у которых ребята на переменах толпятся, — это чей-то подарок?

— Дороговато для подарка. Каждый от пяти до десяти тысяч стоит. Эти подарки ребята себе сами сделали, на свои кровные, заработанные рубли. Наше училище выпускает ежегодно продукции на многие тысячи. В валовом, конечно, выражении.

— Но ведь у этих тысяч есть и оборотная сторона — годовой план.

— Устанавливать его для ПТУ в деньгах — это, конечно, волюнтаризм! Ведь для обучения подростка рабочей профессии главное не рубли, а его подготовка по специальности. И план для училищ должен выражаться в нормо-часах. В этом случае главным будет не результат — деньги, а процесс — обучение ребят специальности.

— Значит, основная задача для вас — привить им профессиональные навыки?

— Мы стараемся учить, как у нас говорят, не самой профессии, а отношению к ней. Добролюбов еще говорил, что детей надо уметь «заохотить». Главная помеха в этом деле — отрыв теории от практики. Раньше занятия в классе шли сами по себе, а работа в мастерских — сама по себе. Теперь практические занятия даются учащимся только с учетом теоретического курса. Курсовые и дипломные работы у нас не только пишут и чертят, но и мастерят своими руками. Помню диплом Олега Добровольского — «Акустический выключатель». При повышении уровня шума в классе включался гудок. И в воспитании мы стараемся переходить от теории к практике. Наш закон: сломал — почини! Но главное внимание уделяем не наказанию, а поощрению. Есть у нас традиция такая — собраний-праздников. На них самый отпетый слышит о себе только хорошее. Работаем и с родителями. Совет отцов — один из наших авторитетнейших наставников. Недавно ввели курс «Этика семейных отношений»...

— А как с эстетикой? Помните, у поэта: «Красота — не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра...»

— Мне вспоминается философская параллель. Маркс. Ведь он первым определил процесс труда как эстетическую категорию. Именно такое отношение к труду мы и стремимся прививать ребятам. «Культурный человек должен не только больше знать, но и больше уметь», — говорят у нас на уроках эстетики.

— С «трудными» вам трудно?

— Мы убеждены: достучаться всегда можно... От Миши Ф. отказались шесть профтехучилищ. Аргумент был веским: у него отсрочка приговора. Мы же, по сути, на свой страх и риск взяли Мишу в училище. И, может быть, этим и спасли.

Мой коллега, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, мне кажется, очень точно выразился по этому поводу: «О безнадежности в 15 лет говорить непристойно. Трудный — это тот, кого проглядели взрослые...»

Материалы подготовили
Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, Сергей МАЦКО,
Феликс РАТАВНИН.



Л. СПИРИДОНОВА

«КОНЧАЙТЕ СВОЕ ДЕЛО И ПЛЮНЬТЕ В СОРРЕНТО...»

К истории возвращения
А. М. Горького на родину

А. М. Горький в подмосковном доме отдыха
«Морозовка», 1928 год.

Фото Н. М. Петрова
(из фондов музея А. М. Горького)

В 1924 году Горький поселился в курортном городке Сорренто. Вилла «Il Sorrito», которую снимал писатель у обедневшего потомка герцогов Серракаприола, находилась на тихой окраине. Она пряталась в зелени тенистого сада на самом берегу Неаполитанского залива. Из кабинета Горького открывался удивительный вид на море, окаймленное громадой Везувия, с балкона был виден скалистый Соррентийский мыс и красочные итальянские городишки, с пляжа «Regina Giovanna» доносился шум волн. Здесь, в тихом уединенном уголке Италии, Горький провел семь с половиной лет, наполненных интенсивным творческим трудом.

Здесь написаны «Дело Артамоновых», очерк «В. И. Ленин», пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», первые тома эпопеи «Жизнь Клима Самгина». Только начав писать ее, Горький сообщил Е. П. Пешковой в июне 1925 года: «Я на год — и больше — увяз в романе». А через год пожаловался Вс. Иванову: «...увяз я в романе и раньше, чем кончу его, не увижу Русь».

Между тем Русь ежедневно напоминала о себе десятками писем. Писали Горькому начинающие авторы и маститые писатели, старые друзья и совсем незнакомые люди, дети и рабочие, изобретатели, комсомольцы, ученые, школьники, а часто злопыхатели, которых он именовал «механическими гражданами». Порой приходили курьезные письма. Вот, к примеру, одно из них. В начале февраля 1927 года Горький получил письмо от графолога Д. М. Зуева-Инсарова, который спрашивал: «...как Вы вообще относитесь к графологии и какое впечатление произвел на Вас мой графологический этюд?» К письму был приложен очерк-исследование личности Горького по почерку. В нем говорилось:

«Свободолюбив. При большой энергии, предприимчивости — практичности в натуре мало: деньги ценятся главным образом за даваемую ими независимость. В своих привычках — неприхотлив. Человек, далеко не лишенный воли, но в личной жизни она может находиться под влиянием порывов чувствительности. Знаком с колебаниями, компромиссами. Многое подавлено. Глубоко с людьми сходится, несмотря на общительность, редко, однако, уже сойдясь, способен привязаться к человеку. Способность вызывать человека на откровенность, умение понимать больные стороны личности, умение разглядеть под внешне отталкивающим, жестким — ценное и нежное.

Несмотря на умение самодисциплинироваться, сдержанность — настроение в жизни играет все же значительную роль. При чуткости, отзывчивости, характер для близких несколько тяжелый. Иногда, несмотря на желание быть объективным, большое значение играют личные симпатии, часто возникающие независимо от сознания. Временами упрям.

При большом жизненном опыте, во многих областях сохранил чисто юношеский пыл. Заметна большая и постоянная работа над собой».

Изучив этот «этюд», Горький ответил 8 февраля 1927 года:

«О значении графологии, как науки, у меня нет мнения, ибо я не знаю ни законов, ни методов этой науки. Да — есть ли у нее законы и метод?

Но не могу сомневаться в наличии у некоторых субъектов удивительной способности определять по почерку «духовную структуру» людей, незнакомых им и никогда ими не виданных. Со мною живет художник Иван Николаевич Ракицкий, у которого эта способность развита до чудесного.

Против опубликования Вами графологического очерка моей личности — ничего не имею. Желаю Вам всего доброго. А. Пешков».

Этот очерк был опубликован в журнале «Огонек» в 1927 году, с тех пор в работах о Горьком не упоминался.

Личностью Горького, его жизнью в Сорренто все больше интересовались в Союзе и за рубежом. И все чаще возникал вопрос: почему писатель не едет на Родину? Только ли необходимость лечиться удерживает его в Европе? В 1927 году этот вопрос ему задавали еще и потому, что приближался десятилетний юбилей Октябрьской революции. Среди писем, приходивших в Сорренто, были такие, на которые Горький обращал особое внимание. В последние годы к его многочисленным корреспондентам прибавилась целая армия рабкоров и селкоров. В бесхитростных строках, написанных рукой, непривычной к перу, Горький различал голос трудового народа, рассказывающего всю правду о далекой родине.

В начале июня 1927 года Горький получил очередную весточку из Союза Советов. Незнакомый человек Михаил Степанович Сапелов писал ему: «Я, рабочий-красноармеец,



в первую очередь шлю Вам свой искренний привет». Далее шли слова признательности писателю: «Не я один, а тысячи, миллионы пролетариев СССР зачитываются Вашими рассказами, романами, наслаждаются Вашими писями. Не я один, а тысячи, миллионы пролетариев СССР недоумевают, почему Вы, народный писатель, вышедший из нашей семьи, живете вне СССР? Я и многие из моего класса знаем причины, но еще многие их не знают». «Вот вы лечитесь в Сорренто, а наши Крым, Кавказ разве хуже фашистского лона? Там Вы не родной, а здесь у нас в СССР, окружили б Вас любовь и внимание Вашего родного трудового народа». Письмо заканчивалось так: «Скорее поправляйтесь и езжайте к нам».

Вопрос о возвращении Горького на Родину ставился все острее и чаще. Эмигрантская и буржуазная пресса всячески раздувала вопрос о разногласиях Горького с Советской властью. Разногласия действительно были. Горький сам рассказывал об этом в очерке «В. И. Ленин», заметив: «Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался». Это было написано в 1930 году, а в 1920-х годах к спору Горького с большевиками, начатому в статьях «Несвоевременные мысли» (1917) и «О русском крестьянстве» (1922), добавилась горечь четырех лет, проведенных в голодном Петрограде, где человеческая жизнь рушилась порой так же стремительно и беспричинно, как стены промерзших, неотапливаемых домов.

Горький, по его собственным словам, не мог мириться с «жестокостью революционной тактики и быта», поэтому к нему нескончаемым потоком шли с просьбами кого-то освободить из заключения, кого-то спасти от голода, а кого — и от смерти. И он помогал, не щадя ни времени, ни сил, не стесняясь обращаться прямо к В. И. Ленину за дровами или пайками для ученых, просил у него десять лошадей для Комиссии по улучшению быта ученых или два автомобиля для Экспертной комиссии, сохранившей для Советского государства немалые ценности. В годы револю-

ции и гражданской войны Горький видел перед собой прежде всего Человека, страдающего, нуждающегося в помощи, и не особенно разбирался, к какой партии тот принадлежит. Шла ожесточенная открытая битва, а он ощущал каждый «лишний» удар так, как будто били его самого, и не мог работать.

Горький уехал из Петрограда вскоре после смерти А. Блока и расстрела Н. Гумилева, согласившись с советом Ленина заняться своим здоровьем. К этому времени в результате недоедания и крайнего нервного напряжения у него обострился туберкулезный процесс и началась цинга. Он не думал оставаться в Германии долго. В письме к В. И. Ленину 8 октября 1921 года, напоминая о своей необходимости продолжать работу в Комиссии по улучшению быта ученых, «Всемирной литературе» и других учреждениях, он писал об Экспертной комиссии: «...как бы ее не разграбили за три месяца моего отсутствия». Но пребывание за границей затянулось: с 1923 по 1928 год в Берлине, в издательстве «Книга», выходило собрание его сочинений, требовавшее постоянного наблюдения (в 1922—1923 годах писатель заново отредактировал для него тексты). И, конечно, нужны были годы, чтобы разобраться в своем непростом отношении к русской революции и большевикам.

Об этом свидетельствуют статьи и письма Горького тех лет. В них часто возникает мысль о необходимости создать «Интернационал интеллигенции», «трибунал совести», отвергающий любое насилие над личностью человека. Характерна позиция, которую занял Горький в полемике между Р. Ролланом и Анри Барбюсом, развернувшейся во французской печати в декабре 1921 — январе 1922 года. В статье «Вторая половина долга. По поводу «ролландизма» А. Барбюс упрекал поборников «независимости духа» в равнодушии к политике, стремлении держаться в стороне от «схватки», нежелании «сейчас же взяться за дело и способствовать осуществлению положительной программы нового строя». Он спрашивал: «Что это — принципиальная антипатия ко всему, что имеет отношение к политике? Или нежелание слишком легко выносить твердые суждения и осмелиться сказать о чем-либо конкретном? Это истина? Или отвращение к некоторым понятиям, в частности, к понятию

Посылая фотографию Горькому, Сапелов (третий справа) писал: «Нашему родному Максиму Горькому. В дни угрозы капитализма пролетарской стране. 5/VII—27 г. Москва».

насилия? Или — надежда, что можно и другими путями излечить и изменить человечество?»

Отвечая А. Барбюсу, Р. Роллан истолковал слова о насилии как оправдание любых средств для достижения революционных целей. В открытом письме А. Барбюсу он писал: «Неверно думать, будто цель оправдывает средства. Для истинного прогресса средства еще важнее, чем цель». И пояснил: «Средства воспитывают человеческое сознание или в духе справедливости, или в духе насилия. И если в духе насилия, то никакой образ правления не устранил угнетения сильными слабыми. Вот почему я считаю, что защищать моральные ценности необходимо и в период революции — еще больше, чем в обыкновенное время».

В другом письме к Барбюсу Р. Роллан доказывал: «Мы слишком часто поступаем во имя государственной необходимости, во имя победы высочайшими моральными ценностями: человечностью, свободой и самым для нас драгоценным — истиной. Эти моральные ценности всегда должны оставаться неприкосновенными. В интересах человечества. В интересах самой революции».

Прочитав ответ Р. Роллана в брюссельском журнале «L'art libre» (1922, № 1, январь), Горький полностью согласился с ним в письме от 25 января 1922 года:

«Дорогой друг!

Основной Вашего письма Барбюсу является — на мой взгляд — оценка Вами иезуитского принципа «Цель оправдывает средства». Какова цель? Создать условия, которые воспитали бы людей добрыми, умными, сильными, честными. Для меня вполне и давно ясно, что средства, употребляемые ныне для создания таких условий, ведут в сторону, прямо противоположную цели.

Необходимость этики в борьбе я пропагандировал с первых дней революции в России. Мне говорили, что это наивно, неосуществимо, даже — вредно. Иногда это говорили люди, которым иезуитизм органически противен, но они все-таки сознательно приняли его, приняли, насилуя себя; это — фанатики, честные люди, они грешили ради спасения других. Я не видел, чтоб это кого-либо или что-либо спасло, не думаю, что спасет, а фанатики уже погибли, обессилив сами себя болью возмущенной совести, страданиями нравственного раздвоения.

Дорогой мой Роллан, — мысли, выраженные Вами в письме Барбюсу — хорошие, еретические мысли. Они с достаточной ясностью выражают основы «ролландизма» — если я правильно чувствую его в «Жан Кристофе» и других Ваших книгах.

То место письма, где Вы называете себя «чужим» и «бесполезным», — почти оскорбляет меня. Нет, еретики не бесполезны, они всегда являлись борцами против тиранов ортодоксии, и только поэтому — еретики. Да здравствуют во веки веков!

Барбюсу и другим людям этой линии мышления не бесполезно было бы подумать над смыслом некоторых горестных фактов.

В 14 году пролетарии всех стран соединились на прекрасных полях Франции, а также на других полях Европы и Азии — соединились, и четыре года мужественно истребляли друг друга — ради чего? В этой войне принимали активное участие тысячи сознательных искренних социалистов и миллионы людей, которые сознательно втирались за них на выборах в парламенты и рейхстаги. Так?

Думает ли Барбюс, что это позорное преступление было бы возможно, если бы этика социализма внедрялась в сознание масс так же глубоко, как внедряется политика и экономика?

Возможно ли прикрыть мрачное значение этого факта словами «обманутый народ»? Обманутый народ — легенда, полезная только для тех, кто хочет обмануть его. Я не верю, что в XX веке существует «обманутый народ», я думаю, что его нет уже и в Африке, стране черных. Существует только народ неорганизованный и потому — бессильный пока». В конце письма Горький снова вернулся к этой мысли: «Я заключаю: истинных социалистов — нет и не может быть до той поры, пока не вырастет в сознание этика, сильная, как религия на заре возникновения. Эти мысли возникли у меня не сегодня. Они дорого стоят мне. Они обязывают меня к той резкости, с которой я их выражаю».

Вы видите, дорогой друг, что я не испуган Вашей критикой коммунизма. И тот факт, что Вы — не коммунист — не является для меня пороком, право — нет! Но, дорогой мой, мы, еретики обязаны бороться за наши верования, мы обязаны внести их в жизнь, хотя бы на позор и поругание.

Я — не самонадеян, но думаю, что мы способны кое-что сделать, — не правда ли? Давайте же искать людей, думающих согласно с нами, и, может быть, нам удастся внушить мыслящим иначе необходимость самокритики, необходимой и для нас».

Роллан впоследствии писал: «Нас обоих захлестнула тогда волна пессимизма: мы оба мужественно с нею справились, но возникла она от сознания бесплодности наших усилий, которые мы прилагали каждый у себя в стране. Горький временно покинул Россию с тем, чтобы лучше разобраться не только в себе самом, но и в России, с тем, чтобы, лучше поняв ее судьбу, связать с ней потом свою».

В декабре 1922 года, рассказывая Роллану о своей работе, Горький писал:

«Как видите, работаю много. Затеваю книгу «Русские люди». Эта книга, наверное, будет интересна для Европы, все же вышеназванное — едва ли. Уверен, что все, что я пишу сейчас, не будут читать и в России, ибо там о любви к людям теперь не говорят и необходимость этой любви под сильным сомнением. Когда желаешь осчастливить сразу все человечество — человек несколько мешает этой задаче.

Жить очень трудно, дорогой друг, до смешного трудно. Особенно — ночами, когда устаешь читать, а спать — не можешь. Там, на родине, вонют вьюги..., землю засыпает снег, людей — сугробы слов. Превосходные слова, но — тоже, как снег, и не потому, что они так же обильны, а потому, что холодны. Когда фанатизм холоден, он холоднее полярного мороза.

А все-таки меня восхищает изумительное напряжение воли вождей русского коммунизма. За всю свою страшную историю Россия еще не имела таких волевых людей ни в эпоху Ивана Грозного, ни при Петре Великом. Их — ничтожная кучка, искренних друзей они имеют сотни, непримиримых врагов — десятки миллионов русских крестьян, всю европейскую буржуазию, да прибавьте сюда и социалистов Европы. И все-таки эти Архимеды уверены, что найдут точку опоры и перевернут весь мир. Право же — хорошие люди! Иногда мне очень жаль, что я не согласен с ними в деле истребления культурных людей и никогда не соглашусь на это».

К концу 1923 года Горький уже во многом разобрался и собирался вернуться в СССР, а 19 августа 1925 года писал Е. Д. Кусковой: «Мое отношение к Соввласти определено: кроме нее — иной власти для русского народа я не вижу, не мыслю и, конечно, не желаю. Наверное, поеду в Россию весной 1926 года, если к этому времени кончу книгу».

Между тем шел уже 1927 год, а Горький увлеченно работал над второй частью «Жизни Климата Самгина», которая разрасталась все больше. Летом 1927 года он писал Е. С. Короленько: «Живу я — в работе, нигде не бываю, сижу за столом по 10—12 часов...» Письмо М. С. Сапелова заставило оторваться от работы, всколыхнуло мысли, не покидавшие писателя: как расценивают в Союзе его затянувшуюся зарубежную поездку. Больно было читать «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», напечатанное в «Новом Лефе» в январе 1927 года. Посетовав:

Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно

Вас

на стройке наших дней,—

Маяковский темпераментно воскликнул от имени друзей писателя:

Горько

думать им о Горьком-эмигранте,
Оправдайтесь,
гряньте!

А дальше шли строки, с которыми прямо перекликалось письмо Сапелова:

Говорили

(объяснения ходкие!),

будто

Вы

не едете из-за чехотки.

И Вы

в Европе,

где каждый из граждан

смердит покоем,

жратвой,

валютцей!

Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою двух революций!

Оторвавшись от работы над «Жизнью Климса Самгина», Горький сел за ответ М. С. Сапелову и написал: «Разумеется, лечиться можно и в Крыму и на Кавказе, тем более можно, что в 60 лет отроду не столько лечатся, сколько поддерживают здоровье. Но я живу в Италии не потому только, что здоровье расшатано, а, главным образом, потому, что *здесь я могу спокойно работать над моей, вероятно, последней книгой* (курсив Горького. — Л. С.). Дома же я работать бы не мог, а так же, как в 1917—1921 годах, занимался бы чем-то другим, но не своим делом — литературой. Я очень благодарен Владимиру Ильичу за то, что он настоял на отъезде моем за границу, здесь я кое-что сделал: написал четыре книги, кончил пятую, пишу шестую. И вот, когда кончу ее, разумеется, поеду домой и буду уже заниматься журналистикой в «Известиях» или в «Правде».

Получив письмо, М. С. Сапелов ответил 29 июня 1927 года: «Там, среди капиталистической лжи и клеветы Вы не можете себе ясно представить о том значении для нас, молодых работников, «беспартийцев», которое имеет каждое Ваше слово, совет и мнение. Громадное большинство из нас — «простой люд», низовой работник, активист. Грамоте учились на вывесках...»

Искренняя любовь, прозвучавшая в письмах «рабочего-красноармейца», тронула Горького. Он ответил: «Чувствовать себя нужным и близким для людей, которые мужественно и неутомимо будят весь трудовой люд нашей планеты, делают дело неслыханное и невиданное миром — это, конечно, дает мне право гордиться.

На плохое в жизни современной России я не закрываю глаз, но по натуре своей более внимателен к хорошему, чем к плохому. Плохого у нас, разумеется, все еще больше, чем хорошего, но хорошее лучше, чем оно было когда-либо прежде. Но это — настоящее, великое, которое будет! — будет принято всем миром, что бы ни делали против этого враги Соввласти и коммунизма».

Последние слова были ответом на письмо М. Сапелова от 29 июня: «Много плохого, не спорим... А посмотрите на то маленькое, хорошее, которое достигнуто в нужде, голоде и холоде, и Вы скажете, скажет весь мир: русский народ велик, его достижения колоссальны».

Так в переписке Горького с Сапеловым возникла тема «плохого» и «хорошего», ставшая центральной в публицистике тех лет. И не только в горьковской публицистике. В советских газетах, которые перепечатали несколько цитат из этих писем, не указывая точной фамилии адресата, развернулась оживленная полемика: «О чем писать: о плохом или о хорошем?» Часть одного письма была опубликована как статья Горького «Письмо рабкору Сапелову», и только теперь, когда в процессе подготовки полного собрания сочинений писателя в архиве А. М. Горького были обнаружены письма Сапелова, можно представить историю их переписки.

15 июня М. С. Сапелов писал:

«Получил Ваше письмо от 7 июня 1927 и, откровенно скажу, не знаю, куда с ним деться. Не всегда-то мы, простые смертные, имеем строки, подобно Вашим. Ваше письмо — это большое событие в нашей среде. Братва захлебывается, перечитывая его и без ума от Вашей простоты». Здесь же было пожелание: «Кончайте Ваше дело и плюньте в Сорренто». 29 июня в следующем письме он от имени «братвы» звал Горького в Союз, восклицая: «Я несказанно рад, что и мое скромное письмо звучит в Ваших ушах как «весть из дома». Мою радость разделяет и братва». В этом письме Сапелов начал подробно рассказывать о жизни страны, ее достижениях, о недостатках, сложностях и бедах.

В тот самый день, когда Горький писал первое письмо М. Сапелову (7 июня), в Варшаве на перроне вокзала был убит выстрелом в спину полпред СССР в Польше П. Л. Войков. Стрелял ученик старшего класса русской гимназии в Вильно, антисоветски настроенный белогвардейцами.

М. С. Сапелову и его «братве» не раз приходилось сталкиваться с открытыми врагами Советской власти. Вопреки распространенному мнению он был не рабкором, а военкором. 15 июня 1927 года он писал Горькому: «Вот ребята просят дать Ваше письмо в стенгазету «Красный таможенник», а я не знаю, можно ли это без Вашего разрешения?» — а 5 июля послал Горькому фотографию, которую мы воспроизводим. Вглядитесь в эти лица, в глаза, видевшие

горе, смерть, голод. Как пишет Сапелов, они «снимались, уходя «на отдых». Он называет некоторые фамилии своих друзей: Н. И. Муралов, А. Я. Аросев, Н. Ю. Микучевский, А. Шапошников, Янушевский. Может быть, кто-то из них или их близких откликнется на нашу публикацию. Это от их имени Сапелов рассказывал Горькому о Волховстрое, Днепрострое, Свиристрое, Волго-Доне.

Горьковские письма стали событием в жизни Сапелова и его друзей. Прежде всего это было доказательство, что Горький не эмигрант и они скоро увидят его «на стройке наших дней». 29 июня Сапелов воскликнул: «...нам, мужикам, пишет *наш* Максим Горький. Это последнее доказывает, что Вы с нами». Особенно много радости у «братвы» было, когда от Горького пришло письмо, датированное 24 июня 1927 года. Приводим его полностью впервые, хотя выдержки из него печатались в статье «Письмо рабкору Сапелову».

«Ваше письмо очень обрадовало меня крепким бодрым его тоном. Вместе с этим письмом получил книжку рабкора Жиги «Думы рабочих». Живая книжка! Между прочим, в ней группа рабкоров обсуждает очень важный — на мой взгляд — вопрос: о чем же рабкорам следует писать больше — о хорошем или о плохом? Я — за то, чтоб писали больше о хорошем. Почему? Да потому, что плохое-то не стало хуже того, каким оно всегда было, а хорошее у нас так хорошо, каким оно никогда и нигде не было. Темное кажется темнее потому, что светлое стало ярче. Я не преувеличиваю действительности, не глух, не слеп, знаю, что у нас много всякого свинства, немало воров, растратчиков, пьяниц и лентяев; вижу, что в большинстве люди, чувствуя себя все еще только рабочими, плохо сознают, что они уже полные хозяева своей страны и что всякая их работа, какой бы она незначительной ни показалась им, — она все-таки государственная работа и работа «на себя», а не на «чужого дядю», да и кроме того она — урок трудовому народу всего мира. Вы знаете, как урок этот понимается всюду на земле. Медленно понимается? «Хорошо скоро не бывает». Вы знаете, что классовым обществом человек лучше подготовлен к восприятию «плохого», чем «хорошего». Само собой разумеется, что плохому должна быть объявлена война беспощадная, на уничтожение. На мой взгляд, советская печать делает это отлично, и в беспощадности самокритики ей отказать нельзя.

Но эмигрантские газеты пользуются этим ее достоинством, конечно, во вред ей. Изображая различные «свинства» русской современности, наша печать дает огромное количество пищи для злых свиней. Свиньи, пожирая свинство, с восторгом отгрызают его в виде еще более отвратительном. Это отравляет молодых идиотов, они хватают пистолеты и убивают наших товарищей... Разумеется, если бы даже возлюбленный «гуманистами», подстрекающими идиотов на убийство, Христос воскрес и объявил себя членом партии коммунистов-большевиков, гуманисты-христиане и Христа своего немедленно признали врагом своим. Это так. И, в сущности, черт их возьми, эмигрантов-публицистов, они скоро перемрут, изъеденные своей гнилой злобой.

Мне нередко приходится получать письма из разных захолустьев, из медвежьих уголков, где одиноко работают изо всех сил хорошие наши люди. Они устают. Казалось бы «хорошее хорошему». Но вот что они пишут: «Мало у нас хорошего, а о том, что есть хорошего, не очень толково говорят в газетах; плохое как-то виднее. Тяжело здесь». Это верно и неверно. Верно потому, что плохое — есть, неверно потому, что люди плохо осведомлены о том хорошем, что сделано за десять лет. А сделано невероятно много; мы видели бы это, если б умели собрать и показать огромную работу, сделанную Советской властью.

Следует издавать популярный журнал, который периодически рассказывал бы о всем новом, что достигнуто наукой, техникой, промышленностью, о всей работе, творимой в стране. Такие «сводки» очень поднимали бы дух заолупенных работников-одиночек, давали бы им прекрасный материал, возбуждали бы гордость их трудом, — основой всякого труда.

Надо давать не отрывки знаний, а показывать последовательно процессы развития и роста государственной работы во всей ее широте, во всех областях, — вот что надо. Чтобы люди видели, как из года в год возрастает всюду товарищеская мощь — их творческая мощь. Чтобы они понимали значительность их будто бы мелкой и незначительной работы.

Сейчас в ролях «великих» людей люди обыкновенные, но они творят великое дело. Поэтому они заслуживают самого

внимательного и бережного отношения к ним, к их силам. Нужна хорошая и крепкая дружба. Нужно уважение друг к другу. А у нас как будто все еще относятся к человеку «по старинке». Плоховато.

Ясно?

Ну вот. Будьте здоровы, товарищ Сапелов! Привет «братве».

А. Пешков».

Именно это письмо прежде всего имел в виду Сапелов, когда написал Горькому 5 июля: «В Ваших письмах я нахожу то, что может дать человеку веру в жизнь. С детства не избалован добром». За корявыми, порой полуграмотными строками писем рабселькоров для Горького угадывалось многое, в них бился живой пульс времени, чувствовался темп социалистической стройки. Писатель видел необходимость поддержать этих людей, понимая, как непросто им живется.

Письма Горького к Сапелову выходили за рамки личной переписки. Это прекрасно понимал сам адресат, который писал 5 июля: «С Вашего разрешения Ваши письма печатаем в стенгазете «Новый быт» и «Красный таможенник».

Позже письма перепечатала «Рабочая газета», и уже через десять дней на горьковскую публикацию пришло свыше трехсот откликов от рабочих. Посылая наиболее интересные из них Горькому, ответственный редактор «Рабочей газеты» К. Мальцев просил ответить на них через газету и хорошо бы до Нового года. Так появилась статья Горького «Рабселькорам», написанная 30 декабря 1927 года.

Разговор с рабселькорами, начатый в письмах Сапелову, был продолжен и развит в статье Горького «Еще рабселькорам» (март 1928-го). В ней дается ответ тем, кто считает, что «от плохого не уйдешь». В основе безнадёжного пессимизма лежит, по мнению Горького, слишком узкий взгляд на мир и на себя.

«Люди чувствуют себя все еще только рабочими, плохо сознают, что они уже полные хозяева своей страны, а потому-то — скверновато».

История публикуемой переписки — выразительный документ эпохи, один из неизвестных доселе штрихов к проблеме возвращения Горького на Родину. В сентябре — октябре 1927 года в СССР широко отпраздновали юбилей 35-летней литературной деятельности Горького, показавший, сколь велика к нему народная любовь и как он нужен у себя дома. В ноябре в «Правде» была опубликована статья «Мой привет», в которой писатель выразил свое отношение к десятилетию Октябрьской революции, а 20 мая 1928 года шестидесятилетний Горький уехал из Сорренто в Москву.

Это был пока, как он выразился, «визит наблюдателя». В октябре того же года писатель вернулся в Сорренто с огромным запасом впечатлений, которые отразил в цикле очерков «По Союзу Советов». Летом 1929, 1931 и 1932 годов он жил в СССР уже не как наблюдатель, а как работник, горячо взявшийся за организацию журналов «Наши достижения», «Литературная учеба», «Колхозник» и др. По инициативе Горького велась работа над «Историей фабрик и заводов», «Историей гражданской войны», создавались серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта». Все эти годы он возвращался на зиму в Сорренто, чтобы работать над «Жизнью Климата Самгина», которую считал главным делом всей жизни. Именно в этой книге, охватившей сорок лет русской истории — с 1880-х годов до Октября, — Горький производил «переоценку ценностей», пытаясь разобраться не только в самом себе, но и в России.

А 1—2 августа 1933 года он написал Ромену Роллану: «Кажется, я не вернусь в Италию, во всяком случае, буду настаивать, чтоб меня оставили в Союзе. Жизнь на берегах прелестного Неаполитанского залива становится все более унылой. Тягостно видеть бесплодную трату драгоценной энергии людей, энергии, способной воплощаться так мощно и чудесно, как на моей родине».

Поэзия



Григорий
КРУЖКОВ

Ронсар, 1572 год *

Комар, летучий гном,
крылатый кровосос...
Из «Сонетов к Елене»

Бормочет спросонья Ронсар,
Ворочается и стонет:
Всю ночь над Ронсаром комар
Гудит в сладострастной истоке.

Бесплотен, крылат и сосущ,
Воистину он вездесущ.

«Дай кровушки, кровушки дай!» —
Сочится сквозь ставни и стены
Страшнее, чем топот и лай,
И крики, и стоны над Сеной.

Из алчи и похоти свит,
Он с женскою силой язвит.

Ронсар сатанеет — и вот,
На черное дело готовый,
Как призрак, с постели встает
В белеющей ризе холщовой.

Он бьет — размозжу, истолку! —
По стенам и потолку.

Напрасно! Ты смертен и стар,
А меришься с силой великой.
Не сладишь, не сладишь, Ронсар,
С жужжащих вассалов владыкой.

Бесплотен, крылат и сосущ,
Воистину он вездесущ.

Что делать, коль сна не видать?
Осталась безделица эта:
Картавить и звуки катать,
Как кости в горсти, до рассвета.

Молись же, что дверь без креста
И дряхлая память пуста.

О красоте не спрашивай

О красоте
Не спрашивай влюбленного:
Тот, кто убит,
Про боль не объяснит.
Спроси у дуба
Черного, сожженного:
Какая была молния на вид?

* 24.VIII.1572 — дата Варфоломеевской ночи.

БЕЗ ГАРАНТИЙ?

(Открытое письмо
Леониду Жуховицкому)

Дорогой Леонид,
обращаюсь к Вам по имени. Больше всего боюсь, что мое обращение кто-то истолкует как конфликт поколений. Нас разделяют двадцать лет. «Мы» по возрасту годимся «вам» в сыновья. Но есть иная временная шкала — литературная, и по такому счету «мы» всегда держали «вас» за своих старших братьев. Кроме того, Вы и я учились у одного замечательного учителя словесности, и это слишком многое объясняет в моем к Вам отношении.

И еще. Я глубоко признателен Вам за тот «личный» акцент, который Вы сделали в статье о трех книгах, трех судьбах, трех весомых приметах нашего общего Времени — и прошлого и нынешнего¹. Роман Владимира Дудинцева «Белые одежды», повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» и книга стихов Александра Аронова «Островок безопасности» — это весомый урок всем нам, пример того, что жить литературой должно лишь «на пределе возможностей, не для того, чтобы преуспеть, а для того, чтобы полностью высказаться», — я совершенно с Вами согласен. Каждый из трех случаев подтверждает ту вечную истину, что положивший душу за други своя, а талант — на алтарь Отечества, и душу сохранит в чистоте, и талант преумножит или не промотает по крайней мере...

До сих пор я Ваш союзник.

От сих пор вынужден высказаться. Посылаю копию письма в журнал «Юность», где опубликована статья «Нужны ли гарантии?», не располагая никакими гарантиями, что это мое обращение увидит свет.

К Вам пришла молодая писательница из Ленинграда с просьбой споспешествовать напечатанию в «Литературной газете» острой статьи — «Манифеста поколения». Вы согласились ей помочь, позвонили, «дебютантке обещали режим наибольшего благоприятствования», и она села за стол.

Так начинается Ваша статья. И заглавие ее, и пафос, и предельно проясненная точка зрения на логику судьбы истинного писателя не оставляют сомнений: человек, даже профессионально пишущий и ждущий каких-то «гаран-

тий», Вам мало симпатичен. Этому «виду» литератора Вы противопоставляете того, кто готов к любым, даже крестным мукам на избранном поприще. Правда, дескать, все равно восторжествует. Рукописи не горят! Ведь, подводяте Вы резюме, «когда человек кричит от боли или поет от радости, он не ждет твердых заверений, что крик услышат, а песню оценят»...

И главное, совершенно исполнен завет Пушкина: «Зависеть от властей? Зависеть от народа? Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать»...

Вашими бы устами!

Пушкин написал «Из Пиндемонти» и «Памятник», что называется, на разрыве аорты — летом 1836-го, когда слишком остро ощущал судьбу... настолько остро, что в те же дни появились кладбищенские строфы «Когда за городом задумчив я брожу...».

Ах, как блаженно повторяем мы: «Рукописи не горят!» Еще как горят. И кинолента выцветает. И краски на полотнах жухнут. А мы: «Правда все равно победит! Кого победит? Литературных генералов, растлевающих поколение за поколением? Кто возместит нам, Отечеству нашему ущерб от того, что два десятилетия мальчики и девочки не засиживались за полночь над «Жизнью и судьбой» Гроссмана, а перебивались лживыми эпопеями «литературных временищиков»?

Рукописи не горят... Да каким же холодным равнодушием к трагедии Михаила Булгакова нужно обладать, чтобы не слышать за этим гласом вопиющего в пустыне, хрипом насмерть затравленного Мастера утешительную молитву, обращенную писателем к самому себе. Мы — не слышим.

И как можно умиляться, например, тем, что Александр Аронов принадлежит к «довольно короткому ряду поэтов, кто и в жизни, и в стихах прекрасно ходит по воде, но абсолютно беспомощен на берегу!» Вот Вы довольно точно связываете творчество Аронова с поэзией Николая Глазкова и объясняете их схожесть тем, что «покойный поэт в высочайшей мере обладал этим редким умением — стучать о море посошком. А вот на берегу у него не получалось...».

Редкое умение? Не умение — мука мученическая.

Один знаменитый поэт, Ваш сверстник, многим обязанный Глазкову — а кто ему не был обязан? Помните, у Слуцкого: «Скинемся, товарищи, что ли, каждый пусть по камешку выдаст — и поставим памятник Коле. Пусть при жизни его увидит...» — так вот, младший товарищ Глазкова написал о нем статью, в которой его неизвестность широкому читателю объяснял пресловутым неумением стучать посошком на «берегу», тем, что выдающийся поэт мало занимался «пробиванием» своих стихов в печать. Вдова Глазкова, также ныне покойная, мне рассказывала, как был расстроен Николай Иванович. Он, первую книгу издавший лишь в конце 50-х годов, да и то «причесанную до лысины»; впрочем, и остальным его книгам также не везло. Более-менее похожего на себя Глазкова мы узнали в посмертной книге «Автопортрет»... Вот стихи, написанные Глазковым в возрасте двадцати лет, в предвоенном 1940-м:

Поэзия! Ты не потерпишь фальши
От самого любимого поэта.
Я для себя пишу все это. Дальше
Плывут стихов задумчивые баржи.

Я для себя пишу — и в равной мере
Для всех других. Они поймут поэта,
Который ненавидит лицемерье
И скуку открываемых Америк.

И если я не буду напечатан,
А мне печататься сегодня надо,
То я умру, швырнув в лицо перчатку
Всем современникам — эпоха виновата!

Я захлебнусь своими же стихами,
Любимый, но и не любимый всеми.
Прощай, страна. Во мне твое дыханье,
Твоя уверенность, твое спасенье.

Эти стихи не печатались доньше. Читателю они известны из рукописных книжечек, которые сшивал сам Глазков и раздавал близким людям. На титуле он помечал: «Самсебяиздат» и год. Таким образом, одно из самых горестных

¹ Статья Л. Жуховицкого «Нужны ли гарантии?» была опубликована в «Юности» № 10 за 1987 год.

слов, родившихся в эпоху застоя, в действительности несколько измененный глазковский неологизм эпохи культа...

Глазков, безусловно, был пророк. В юношеских строках он предсказал свою судьбу на оставшиеся сорок лет. Но кому от этого легче?

Вот Вы пишете об Аронове: «Первая книга — пятьдесят с лишним лет. Пострадал ли талант поэта от долгой безгласности? Странно, но похоже, что нет... Ведь Александр Аронов никогда не следовал дешевой конъюнктуре и никогда не бросал ей вызов — он просто не учитывал ее». Неправда. А сотни стихотворений, помеченных прозрачным псевдонимом «Ал. Ар.», рифмованные подписи к фотографиям в газете «Московский комсомолец», где работает журналист Аронов? Да, это им самим выдуманный жанр, «причуда гения». Но это и поиск другого выхода к читателю — раз уж книжки никак нельзя. И я не знаю, какой привкус отчетливее в незатейливых лирических агитках Ал. Ара, — привычной подцензуры или отчаяния... Хотя это и талантливый вызов дешевой конъюнктуре.

Есть такой апокриф. К Мандельштаму пришел молодой поэт и пожаловался: дескать, не печатают. И тогда Осип Эмилевич спустил гостя с лестницы: «А Иисуса Христа печатали? А Гомера печатали?»

Страшный анекдот. И вовсе не гордостью веет от вопля мэтра, не высоким сознанием миссии, а все тем же провидением своего скорого конца и полувекowego непечатания в нашей стране! А молодым поэтам, по одной версии, был А. А. Тарковский, чья книга вышла в пятьдесят шесть (две предыдущие погибли в утробе наших госиздатов), а по другой — выдающийся советский переводчик и прекрасный автор оригинальных стихов Аркадий Акимович Штейнберг, книга которого лежит в издательстве «Советский писатель» с конца 60-х, рекомендованная еще Яшинным и Смеляковым. Штейнберг своей книги «Возраст века» не дождался. А мыждемся? Или будем очарованно повторять: «Рукописи не горят»?

Рукописи, может, в каком-то высшем, фатальном смысле и не горят. Наши души тлеют — вот оно что...

Не хочу, чтобы у Вас осталось ощущение, будто я в чем-то Вас лично виню. Но вот двое моих сверстников, поэты Хлебников и Чернов, однажды собрали, перепечатали — и пробили книгу Аронова. И я склонен думать, что это, а отнюдь не то, о чем пишете Вы, норма литературной и вообще человеческой жизни.

Сегодня речь идет о полной правде, о неискаженной картине духовного состояния общества. И каждое наше слово сегодня — камешек в стену дома, и от каждого камешка зависит, не завалится ли стена.

Я не жажду крови и не призываю к какому-то возмездию, я просто согласен с Алексеем Адамовичем: «Анонимность по отношению к гонителям талантов оборачивается несправедливой анонимностью и по отношению к тем, кто оберегал, спасал таланты», — и тут не возникает противоречия с актом покаяния, к которому призвал всех нас Дмитрий Сергеевич Лихачев. Всех нас. И Вас. И меня. И Вас.

Горестная судьба, трагедия художника, «мужество писателя», выраженное не в изъятии его творческой воли один на один с чистым листом бумаги, а в умирании с голоду, работе дворником, заключении в тюрьму за честное слово, одиночестве на миру сытых и самодовольных «товарищей по перу» не могут в нас вызывать ничего, кроме стыда. В этих случаях фразы вроде «Рукописи не горят» звучат как святотатство.

Вот о чем я не считаю приличным умолчать, уважая и любя Вас.

Примите и проч.
Михаил ПОЗДНЯЕВ.

Р. С. Кстати, а тот «Манифест поколения» — он напечатан в «Литературке»?

НЕ МОЛИТВА, А УГРОЗА

(Открытый ответ
на открытое письмо)

Дорогой Миша!

Уважение к Вам как к поэту и как к человеку не дает возможности ограничиться равнодушно-вежливой благодарностью за интересный, но спорный отклик на мою статью. Буду отвечать по существу.

Но сразу же вопрос: а в чем оно, существо?

Писатели нам нравятся одни и те же — во всяком случае, те трое, о которых шла речь в моей статье. На литературу мы смотрим практически одинаково: Вы разделяете мои суждения, я — Ваши. Многолетнее заточение рукописей в писательских столах у обоих вызывает ярость и боль. «Кто возместит нам, Отечеству ущерб от того, что два десятилетия мальчики и девочки не засиживались за полночь над «Жизнью и судьбой» Гроссмана?» — спрашиваете Вы. А я что писал в статье, вызвавшей Ваше открытое письмо? «Поэзия — витамин души, особенно растущей души. В молодости чего-то недодали, какого-нибудь витамина «Д», и рахитичная совесть всю жизнь ходит на гнутых ножках. Мы утешаем себя: мол, настоящий талант пробьется рано или поздно. Да, пробьется, но ведь для кого-то — поздно. Поэзия врачует душу, а врачу задерживаться в пути рискованно: не ровен час его обгонит могильщик». Выходит, и здесь единомышленники. (Истины ради отмечу, что подобную точку зрения с предельной убедительностью выразил Юрий Буртин в великолепной статье о посмертной публикации поэмы А. Твардовского «По праву памяти».)

Так чем же вызвана взволнованность и даже резкость Вашего письма?

Вы говорите о полной правде — именно так, вразрядку, — мол, сегодня речь идет о ней. Речь-то идет, но до полной правды пока что очень далеко — и до частичной едва доросли. Абзацем выше этого прекрасного утверждения Вы пишете, что книгу Аронова однажды собрали, перепечатали и пробили двое Ваших сверстников. Глубоко уважаю и Хлебникова, и Чернова — действительно, собрали. Но — пробили?

Если бы судьба трудных рукописей зависела только от энергии друзей, не ждали бы мы так долго первых книг Слуцкого, Самойлова, Тарковского, Рубцова, того же Глазкова, того же Аронова, не оставались бы донныне библиографической редкостью Цветаева, Пастернак, Платонов, Олеша. Авторитетнейшие Паустовский и Эренбург на всех этапах издательской власти пробивали книжку Бабеля — вышла жалким для громадной страны тиражом, и на долгие годы, словно в колодезь, ухнула уникальная по концентрации проза. Симонову, одному из самых влиятельных наших писателей, «литературному маршалу», легко ли далась борьба за великий булгаковский роман? А почему Высоцкий так и не увидел собственную книгу — у Хлебникова с Черновым руки не дошли? (Вот и меня заносит в полемику, поминую всеude талантливых поэтов и благородных людей, которые сделали для рукописи старшего товарища все, что могли, — просто могли не все...)

Книжка Аронова собиралась не один раз и лежала не в одном издательстве. К сожалению, усилия моих сверстников успехом не увенчались. Но ведь и в песок не ушли! Публиковались стихи, проводились вечера, росла популярность, накапливалась, если можно так выразиться, неизбежность ароновской книги. Конечно, без кошки с мышкой репку не вытащили бы, но зачем же забывать, что были и дедка, и бабушка, и внучка, и Жучка? Ведь так полной, да еще вразрядку, правды не получится...

Впрочем, не для того я пишу Вам ответ, чтобы лопать Вас на неточностях, — просто обидно стало за своих сверстников, не столь удачливых, как Ваши, предпринимавших свои усилия не в столь удачливые времена. Главный разговор совсем не об этом.

Вы признали меня старшим братом — спасибо! Прекрасно понимаю, что старшинство это никаких прав не дает, в литературе важен не возраст, а талант, возможно, вскоре у Вас прав окажется больше. Но вот обязанности у старшего есть, по крайней мере одна — делиться с младшими нажитым опытом. Глупей не придумаешь, чтобы поколение за поколением спотыкалось о те же камни.

Итак, во взглядах на литературу у нас, насколько я понимаю, расхождений нет. Есть расхождения во взглядах на литературный процесс. Вы требуете его немедленного кардинального переустройства и возмущаетесь, что я недостаточно энергично им возмущаюсь. Я же в быстрое переустройство не верю, пороки литературного процесса воспринимаю как отвратительный, но факт и исхожу из того, что не только моим, но и Вашим пишущим сверстникам не гарантировано чистое небо над головой. Более того, не могу исключить, что кому-то из талантливых уготовано и одиночество на миру сытых и самодовольных, и работа дворником, хотя и надеюсь всей душой, что до тюрьмы и голода за правдивое слово на нашей земле дело никогда больше не дойдет. Никакого умиления страданиями у меня, конечно же, нет. Но нет и особого оптимизма. Думаю, что жизнь честного литератора сегодня трудна, но и завтра будет трудна.

Объективная оценка литературного процесса на предстоящие годы важна для любого человека нашего с Вами ремесла. Ведь надо хоть приблизительно рассчитать огнестойкость и рукописи, чтобы не сгорела до времени, и души, чтобы не истлела от неизбежных пинков фортуны. Не хочу Вас огорчать, но по моим прогнозам запас прочности терять не стоит. Пригодится. И Вам пригодится.

Мы так долго в любой двери натывались на литературного или надлитературного чиновника, что стали его хоть и с обратным знаком, но почти обожествлять: его власть казалась безмерной, как и чинимое им зло. Вот и возникла иллюзия: убери с дороги это бревно, и все в порядке. Сегодня планка возможного резко поднялась, недопустимое стало обычным. Литературные генералы поутихли, а то и вовсе ушли в отставку. Ну и что — все наладилось? Сколько же разом появилось предельно честных любовных лейтенантов, оборотистых старшин, сержантов с железными локтями, а то и просто наемников, ради лишнего сребренника готовых на все. Рукописи не горят, но и спички в их руках не гаснут. И по-прежнему в издательских планах настырный середняк умело оттесняет талантливого конкурента. Да, наши старшие братья не сумели пробить Глазкова, мы — Аронова. Ну, а вы Веронику Долину, уж на что популярную, сумели?

Ладно, допустим, что с беспринципными и вообще плохими людьми в литературе справиться можно. Ну, а как быть с хорошими?

Расскажу о случае, который произошел со мной, не потому, что он особо значителен, просто я знаю его лучше иных. Несколько лет назад я принес в журнал повесть, и прочитавший ее первым молодой литсотрудник тут же мне ее и вернул с рядом указаний, которые, возможно, были и неплохи, но с моими представлениями о жизни и прозе никак не совпадали. И знаете, я не огорчился, а удивился. Не тому, что рукописи сразу вернули, — давно уже удивляюсь, когда сразу берут, — а тому, что молодой человек так решительно, безо всяких колебаний определил ее судьбу. Все-таки я довольно давно работаю в литературе, имею своего читателя, книги мои на полках не лежат. Почему же младший коллега ни на миг не усомнился в своем праве поставить барьер между мною и читателем?

Может, это был трусливый литчиновник, ловкий карьерист, ноль в литературе, но зато специалист по ситуации (видите: и я умею вразрядку)? Если бы! Увы, повесть с директивными указаниями мне вернул человек талантливый и порядочный. Кстати, поэт, как и Вы. И зовут Мишей. Даже фамилия совпадает с Вашей. И вообще это были Вы.

Прегради мне дорогу бездарь и карьерист, я бы знал, что делать. Клеймить, негодовать, требовать. Мобилизовать друзей. Хлебников с Черновым помогут, Вы поможете. Найдется управа! Но как пробить повесть сквозь умного и честного человека? Вы просто скажете: «А мне не нравится», — и возразить нечего. Я имею право печататься, несмотря на Ваше мнение? Да, имею. Но и сотни других имеют. А журнал не резиновый. Кто же из имеющих выберет самых имеющих? Видимо, Вы — Вам это и по должности положено. И принуждать Вас покрывать душой, рекомендуя то, что не по вкусу, безразлично.

Вот ведь какая сложность! Любопытно, что сделали бы на моем месте Вы. Я предпочел надеяться, что рукописи не горят. До сих пор надеюсь.

К сожалению, абсолютной справедливости в литературном процессе нет и не предвидится не только из-за литературного генеральства, но и по той простой причине, что нет надежных критериев качества. Нравится — не нравится, вот и все. Плюс авторитет имени или должности. Конечно, есть литература, покоряющая сразу, — Цветаева, Есенин. Но хорошо помню ощущение от прочитанных впервые Маяковского, Пастернака, Мандельштама — недоумение, разочарование, протест. Какие же это стихи, если они так непохожи на другие, настоящие стихи?!

Подозреваю, что Глазкова многие редакторы не печатали просто потому, что он им не нравился. Не подозреваю, а точно знаю, что со стихами Аронова часто происходило именно так: сам читал их на память, а от меня отмахивались — капустник, фокусы, рифмованное баловство. Умеренное своеобразие, как правило, помогает быстро создать репутацию. Свообразие шокирующее такого результата не дает. Поступи сейчас самотеком в литконсультацию Велимир Хлебников, ему бы посоветовали читать классиков, работать над формой, сменить манерный псевдоним, а лучше всего — заняться наконец чем-нибудь полезным.

Вы призываете, чтобы помощь талантливым стала нормой жизни. Да кто же возразит?! И никакое покаяние не спешит с современников дворничества и полуголодную смерть Платонова. Но вот вам иной, сегодняшний пример. В последние годы появился целый ряд новых стихотворческих имен: Александр Еременко, Игорь Иртнев, Алексей Парицков, Нина Искренко, еще десятка полтора фамилий. Кто из них графоман, кто авантюрист, кто завтрашний классик? Не знаю. Говорят о них много, печатают мало. На что же ребята живут? Вполне допускаю, что кто-то талантливых зарабатывает на хлеб и бумагу совковой лопатой и метлой.

А если лет через двадцать именно этот, с метлой, станет гордостью родной словесности? Будете каяться?

Нет, Миша, не будете. Если в чем и упрекнете себя, так в том, что в литературной лотерее не распознали счастливый билет, не углядели на сегодняшней метле знак завтрашнего величия.

Все люди (а о нелюдях что говорить?) помогают друг другу: одному потому, что талантлив, другому — что добр, третьему — что беспомощен и несчастен. Помогает и недостойным, завистливым, жадным. Вот тут каюся: сам помогал. Порой из жалости, порой из иллюзий: переоценивал способность бедной души к обогащению. К сожалению, бывает и так: вместе с талантами растим и их душителей. И никакого страховочного инструмента, кроме собственной душевной зоркости, тут нет. Объективные данные значат мало: не сомневаюсь, что всего за день до выстрела Маяковский казался многим коллегам стопроцентным удачником, уж точно не нуждающимся ни в какой помощи, — красив, талантлив, знаменит, полмира обезвиль, на торжественных заседаниях поэмы читает, машину из Парижа привез...

Гениев создает природа, классиков — время. Человечество дорого платит за эту несогласованность и дальше будет платить.

Так кому же из молодых помогать? Как из миллиона начинающих выделить сотню талантливых или хотя бы

тысячу одаренных? Кого издавать раньше? Увы, все то же «нравится — не нравится». А как быть, если мне нравятся Вы (статьи, Ваши стихи мне действительно нравятся), а мои литературные оппоненты явно предпочитают иные имена? Я никаких должностей не занимаю и никогда не занимал, в редколлегиях и редсоветах не фигурировал, все, что могу, — публично выступить в Вашу защиту. А они и выступать не станут, просто вставят своих подопечных в план.

Есть идея: во имя справедливости издавать всех малым тиражом, а уж потом пускай сам читатель определяет рублем, кто заслуживает допечатки. Но, во-первых, и тут даже для малого тиража будет жесткий отбор — на миллион претендентов не хватит ни бумаги, ни типографских машин. А во-вторых...

Помните, как-то по телевидению показали встречу молодых писателей с первым секретарем Союза писателей СССР В. В. Карповым? На меня она произвела впечатление довольно тяжелое. Молодые, на мой взгляд, были сильно в летах, что подчеркивало драматизм их положения: ощущение уходящего поезда объясняло и даже психологически оправдывало их косноязычие, агрессивность, неясность жалоб и неконкретность претензий. Их желание пробиться легко было понять: уж к сорока-то годам пишущий человек должен иметь хоть какое-то подтверждение, что труды и муки его не зряшны. Но чем дальше шла встреча, тем в большее я впал недоумение: оказалось, что участники ее печатались в периодике, не раз издавались, а некоторые работали в издательствах, то есть сами определяли, кого издавать. Кто-то и литературными премиями был увенчан. Так из-за чего же сырбор?

Была причина. Очень существенная причина. Заключалась она в том, что издать книгу, даже две, даже три еще, не значит пробиться. Зайдите в любой книжный магазин — полки ломятся! Пробиться в издательство авторы сумели, а вот к читателю не удалось. Ведь и так бывает: изданы, переизданы, к должностям приставлены, зависимой критикой обслужены, а все равно не пробилась, все равно безымянны, все равно читателю до них дела нет.

К сожалению, и для ярко талантливых вещей проблемы не кончатся с публикацией. Один из крупнейших современных поэтов, Владимир Соколов, много лет печатался, прежде чем его тончайшая лирика была понята, оценена и сделана необходимой широкому кругу читателей. Да и Аронов, о котором наш разговор, «Островком безопасности» пробился ли? Семь с половиной тысяч экземпляров на всю страну! Может, хоть наша с Вами полемика в популярном журнале привлечет к поэту давно заслуженное внимание...

Об уродствах нашей издательской системы я писал не раз, готов с ней сражаться и дальше. Но, как уже сказал, в быстрое и идеальное ее переустройство не верю: ее пороки не только в ней, но и в нас, в нашей привычке к ним. Вот и Вы мечтаете, чтобы нормой жизни стало совместное пробивание талантливых рукописей. А ведь это жутковатая норма. Я мечтаю об ином: чтобы пробиваться приходилось бездарине, а перед талантом двери распахивались сами. Но когда это будет? Поэтому если для Вас главный вопрос — как переделать литературный процесс, то для меня — как жить и на что надеяться в реально существующих обстоятельствах.

Вот тут-то и придется вернуться к знаменитой булгаковской формуле, цитирование которой Вы, хоть и не прямо, определили как святотатство.

Твардовскому приписывают мудрую и горькую притчу о птицах певчих и птицах ловчих, которые только тем и живут, что душат поющих собратьев. Страшноватое разделение литературных рядов!

Как же быть певчим в этой ситуации?

На поверхности лежит идея — сообщать о том, что литературным коммерсантам и издательским гангстерам. Увы, ловчие куда приспособленней к борьбе. Их ничто серьезное от битвы за жирный кусок не отвлекает: ни принципы, ни чувство собственного достоинства, ни уважение к читателю, ни, наконец, само творчество, мучительный поиск слова. В толчее у издательской кассы у них всегда преимущество.

Может, певчим овладеть умением ловчих? Не хотят, да и не выйдет: как железный клюв коршуна не приспособлен для лирики, так соловьиный — для драки.

Вроде бы исход предрешен. Но почему же литература не только существует, но и развивается? Почему ловчим приходится изворачиваться, отступать, а временами и в панике бежать?

Дело в том, что в этой жесточайшей борьбе за выживание у честной литературы есть грозное, непобедимое оружие — рукописи, которые не горят.

Для Вас фраза Булгакова всего лишь утешительная молитва, обращенная к самому себе. Вот уж с этим не согласен и не соглашусь никогда. Великий писатель не марионетка, чтобы послушно дергаться на ниточках эпохи да еще при этом заниматься аутотренингом. Булгаков понимал закономерности жизни куда лучше, чем его гонители. Рукописи не горят — это не жалоба, уж скорей угроза.

Ловчие плодятся энергично, после них, как правило, остаются наследники. Но не остается книг. И в этом все дело. Рукописи ловчих издаются немедленно, а вот книги горят. Валяются, уценяются, исчезают в макулатурных завалах. Кто нынче читает Булгарина или Суворина? А рукописи негорящие остаются, а затем и издаются и в конце концов собираются в армию, победить которую нельзя. У ловчих есть должности, но нет истории — выгорела дотла. Вот они и пытаются украсть родословную у певчих, записать на свой текущий счет всю русскую классику. Но эта ноша для них неподъемна: любой читатель вплоть до семиклассника тут же поймает за руку на мошенничестве. Пушкинская тропа ведет к Пастернаку и Твардовскому, повернуть ее к ловчим так же сложно, как северные реки на юг.

Нет, «Рукописи не горят» не молитва. Это точное, трезвое суждение, на которое вполне можно полагаться в жизненной практике. Каждый пишущий хочет публиковаться сразу. Наверняка и Булгаков хотел. Но мог ли он не знать, что большой литературе лишь в редких счастливых случаях бывает легко? Мог ли не понимать, как сложно преодолеть косность коллег, редакторский стереотип, хищный заслон ловчих? Мог ли не видеть, какой длины дорога лежит перед его творением? А длинная дорога требует от рукописи особой стойкости.

Вы ратуете за честную, справедливую, безукоризненную систему отбора талантов, на которую каждый пишущий мог бы надеяться. Тут я с Вами, давайте за нее бороться. Но если смотреть на литературный процесс без иллюзий, лучше пока надеяться на то, что рукописи не горят.

С уважением и симпатией

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ.

Р. С. Кстати, тот «манифест поколения» в «Литгазете» не напечатан. Потому, что не написан.

Сергей
АБРАМОВ

НЕ- ФОР- МАШ- КИ

Фантазмагория

Будильник зудел комаром: настойчиво и мерзко. Умнов его слышал, но глаз не открывал. Раннее вставание было для него пыткой, он — сам так утверждал — и в журналистику пошел лишь для того, чтобы не просыпаться бог знает когда. И не просыпался ни разу, дрыхнул до девяти, как минимум, поскольку с некоторых пор семьей обременен не был, малые дети по утрам не плакали, а в любой редакции жизнь творческого человека начинается часов с одиннадцати. А тут...

Он резко сел в постели, внезапно и жутко вспомнив про «а тут». Сна как не бывало. Одна мысль: бежать.

Оделся, покидал в сумку разбросанные накануне вещички, подумал: а как насчет расплаты? Конспирация требовала уйти из гостиницы по-английски, не попрощавшись даже с портье и кассиршей, но чистая совесть не допускала жульничества. Явилось компромиссное решение. Достал блокнот, выдрал страничку, написал на ней фломастером: «Уехал рано. Будить никого не стал. Оставляю деньги за номер — за сутки». И приложил к страничке десятку, оставил все на журнальном столике, вазочкой придавил и вышел, крадучись, из номера.

Парадная лестница — налево; направо указывала картонная табличка с милой надписью от руки: «Выход на случай пожара». Словно кто-то специально повесил ее напротив умновского номера, приглашая к весьма сомнительному выходу, но Умнов-то как раз ни в чем не усомнился; мысль о тайном побеге, владевшая им, не допускала никаких иных, и Умнов одержимо ринулся направо, полагая, что пожар налицо, раздумывать некогда.

Проскочив через двор, мимо переполненных мусорных баков, Умнов выбрался на знакомую площадь, увидел родной «жигуленок», одиноко стоящий у гостиничного козырька, и пулей устремился к нему, оглядевшись, впрочем, по сторонам: нет, вроде никто не преследует, да и парадный вход в «Китеж» закрыт изнутри — сквозь стекло видно — на вульгарный деревянный засов и вдобавок украшен очередной лаконичной надписью: «Мест нет». Умнов сел в промерзшую за ночь машину, вытащил подсос, крутанул зажигание. «Жигуль» завелся сразу. Умнов уменьшил обороты и, не дожидаясь, пока автомобиль прогреется, газанул с места. Вот и глухой проход между домами, а вот и улица, которая — считал Умнов — является частью длинной магистрали Москва — Знойный Юг. Во всяком случае, вчера на нее, на улицу эту, выехали с трассы, никуда не сворачивая, значит, и сегодня рвануть следует именно по ней.

И рванул. Рано было, пусто, еще и грузовики на утреннюю службу не выбрались, еще и светофоры не включились, слепо смотрели, как Умнов гнал «жигуль» от греха подальше. Он выехал на окраину, промчался мимо глухих заборов, потом и они кончились и началась трасса. Умнов до конца опустил стекло, подставил лицо холодному ветру. Все позади, бред позади, фантазмагория с банкетом, Василь Денисич с его многозначительными тостами, красавица Лариса, милицейский капитан, кремовый директор, дама с розой — не было ничего! Померещилось! Приснилось! Пусть пока будет так, суеверно считал Умнов, а вот отъедем подальше, оторвемся, тогда и подумаем обо всем, проанализируем, коли сил и здравого смысла хватит. Насчет сил Умнов не сомневался, а насчет здравого смысла... Да-а, если и был во вчерашнем вечере какой-то смысл, то не здоровый, не здоровый...

Умнов легко повернул руль, плавно вписался в поворот, одолел длинный и скучный тягун и вдруг... увидел впереди игрушечный городок, тесно прилепившийся к трассе, с церковными куполами, с новостройками, с трубами, с садами. Не веря себе, боясь признаться в страшной догадке, Умнов резко прижал газ — стрелка спидометра прыгнула к ста сорока. А Умнов не отпускал педаль, тупо гнал, вцепившись в руль и уставившись в лобовое стекло, покуда не увидел впереди знакомую стелу с не менее знакомыми буквами: «Краснокитежск».

Умнов ударил по тормозам. «Жигуль» завизжал, заскрипел, бедолага, его даже малость занесло, но остановился он как раз под буквами. Умнов заглушил двигатель, вышел из машины и сел на траву. Он сидел на траве и как тупо гнал, так тупо и смотрел на низкое небо над горизонтом. Оно было незамутненно чистым, белесым, словно давно и безвозвратно застиранным, и лишь единственная белая заплатка облака норовила зацепиться за хорошо видную отсюда, с горушки, телевизионную антенну на высоком куполе храма.

Откуда все началось, туда и вернулось — к началу то есть...

«Вздор, вздор все это, — наливаясь злостью, думал Умнов. — Просто я не той дорогой поехал, всего лишь не той дорогой, а если бы той дорогой, то я бы... А что «я бы», — оборвал он себя. — Той или не той — пробовать надо!..»

И молнией к машине. Завелся с пол-оборота, по-мчал по дороге, мимо все тех же заборов, из-за которых никто ничего не вынес пока на продажу, мимо первых панельных домов, мимо универсама, гастронома и кафе «Дружба» и дальше, дальше — прямо, мимо голубого гаишного указателя «Центр», куда свернул вчера кортеж, — ну, не было здесь другой дороги, не было, и все!

«Значит, если я поеду в Москву, — попытался здраво рассуждать Умнов, — то опять-таки попаду в Краснокитежск, только с обратной стороны...» Он невесело усмехнулся. Сказали бы ему раньше о таком — на смех поднял бы. Спросил сам себя: «А сейчас веришь?..» И сам себе ответил: «А что остается делать?..» Впрочем, хитрил. Он знал, что оставалось делать. Оставалось искать другую дорогу. Совсем другую. Эта, похоже, кольцевая... Тормознул у перекрестка, у гастронома, где уже собралась кое-какая очередь из ранних хозяек — ждали открытия, — подошел к ним, вежливо поздоровался. Ему ответили вразнобой, но все приветливо.

— Скажите, пожалуйста, — издали начал Умнов, — куда ведет эта улица? Я, видите ли, приезжий...

Женщины переглянулись, будто выбирая, кому отвечать, уж больно вопрос прост. Одна, с рюкзаком, сказала:

— Сначала на окраину, на Мясниковку, а потом и вовсе из города. А вам куда надо?

— Я из Москвы. На юг еду.

— Вроде правильно едет, а, бабы?

Бабы загалдели, привычно заспорили, но быстро пришли к согласию, подтвердили: да, мол, правильно, езжай, не сворачивая, на самый юг и попадешь.

— А есть другой выезд? — закинул удочку Умнов.

— Смотри куда, — раздумчиво заявила ответчица с рюкзаком.

— Куда-нибудь.

— Это как? — не поняла женщина, и остальные с подозрением уставились на Умнова.

— Ну, не на юг. На запад, на восток... Вообще из города.

— Больше нету, — уже не слишком приветливо отрезала женщина с рюкзаком. — Если только через центр и по Гоголя, а там на Первых Комиссаров... Но оттуда все равно — на Мясниковку... Нет, другого нету, только здесь...

У машины Умнова поджидал знакомый капитан ГАИ.

— Катаетесь? — блестя фиксами, спросил он.

— Пытаюсь уехать.

— А там уж Лариса с ног сбилась: где товарищ Умнов, где товарищ Умнов? И Василь Денисыч три раза звонил... Возвращаться вам надо, Андрей Николаевич. У вас — программа.

— Какая, к черту, программа? — устало огрызнулся Умнов. — Я уехать хочу, понимаете, у-е-х-ать!

— Никак нельзя, — огорчился капитан. — Василь Денисыч обидится.

— Ну и хрен с ним.

— Па-пра-шу! — Голос капитана стал железным. — Хотя вы и гость, но выражаться по адресу начальства не имеете полного права.

— Ладно, не буду, — согласился Умнов, обреченно сядя в машину. — Ведите меня, капитан. К кому там? К Ларисе, к Василь Денисычу, к черту-дьяволу! Ваша взяла...

— А наша всегда возьмет, — ответил капитан веским голосом Василь Денисыча, пошел к мотоциклу, оседлал его, взнуздая, махнул Умнову рукой в рыцарской краге: следуйте за мной, гражданин...

...Кремовый директор встретил Умнова так, будто тот и не сбегал по-английски, будто тот просто-напросто погулять вышел, подышать свежим воздухом древнего города.

— Возьмите ваши денюжки, — протянул директор десятку. — Оптом заплатите, если уезжать станете... И кстати: номерок ваш двенадцать рубликов тянет. Не дороговато? А то мы профсоюз подключим, поможем...

— Спасибо, — надменно сказал Умнов, — обойдусь.

Ему весьма не понравилось слово «если», проскочившее в речи директора. Что значит «если уезжать станете»? Конечно, стану! Кто сомневается?.. Да директор, похоже, и сомневается... Что они тут, с ума все посходили?.. Что я им — вечно здесь жить буду, политического убежища попрошу?.. Шапка в газете: «Журналист из красной Москвы просит политического убежища в древнем Краснокитежске»... А также в Красноуфимске, Краснотурьинске, Краснобогатый-ске и Краснококшайске... Кстати, а как их газетенка зовется?

— Кстати, — спросил он, — а как ваша местная газета зовется? И есть ли такая?

— Есть, как не быть, — малость обиженно сказал директор. — А называется она просто: «Правда Краснокитежска».

«Вот вам и здарсьте», — весело думал Умнов, подымаясь по лестнице на второй этаж, к собственному номеру. Дожили: правда Краснокитежска, правда Заполярья, правда Сибири, Урала и Дальнего Востока. Городская, областная, районная. Везде — своя. Пусть ма-а-ленькая, но своя. И что самое смешное, все это — липа, во всех «правдах» — газеты имею в виду — одно и то же печатается. Что Москва присылает, то и печатается: тассовские материалы, апээновские. Ну, и кое-что от себя, от родного начальства: про передовой опыт, про трудовые маяки, про лося в городе... Так что «Правда Краснокитежска» — это, братцы, от пустого самонадувания. Пырк иголочкой — и нет ничего, лопнул пузырь! Как там у Киплинга: города, ослепленные гордостью...

Странен человек! Только что в страхе пребывал, бессильной злобой наливался, а сейчас, видите ли, «весело думал»... Ну и что с того, весело думал Умнов, надо уметь временно мириться с предлагаемыми обстоятельствами, надо уметь выжидать — кстати, вполне журналистское качество. Выждать, выбрать момент и — в атаку. Или в данном конкретном случае — в отступление. Все на тот же юг... Помните старый анекдот: если насилие неизбежно, надо расслабиться и получить от него максимум удовольствия. Интересно: какие удовольствия приготовил десяти-миллионному пленнику город-тюрьма?..

Только сумку в шкаф закинул — телефон.

— Ну, — хамски сказал в трубку Умнов.

Это он себе такую тактику быстренько сочинил: хамить направо и налево. Может, не выдержат — выставят из города и еще фельетончик в «Правде Краснокитежска» тиснут: «Столичный хам»... Опасно для грядущей карьеры? Пошлют фельетон к нему в редакцию?.. А он редактору — атлас: нет такого города в природе, а значит, фельетон — глупая мистификация и провокация западных спецслужб... Что, съели?..

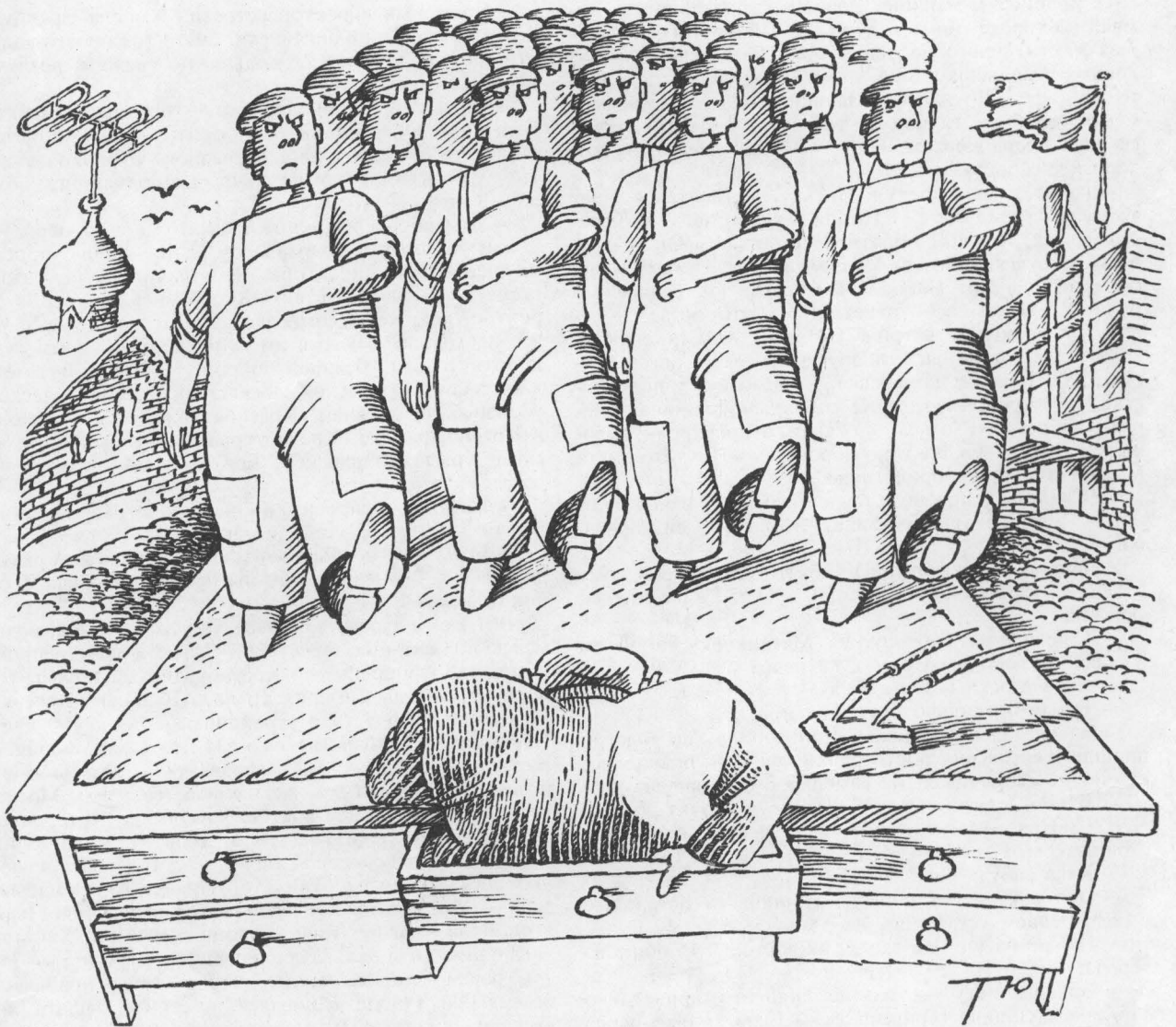
— Андрюша, — интимно сказала из трубки Лариса, — ну где же ты ходишь? Я тебе звоню, звоню...

— Дозвонилась?

— Только сейчас.

— Говори, что надо.

Сам себе противен был: так с женщиной разговаривать! Но тактика есть тактика, и не женщина Лариса



вовсе, а одна из тюремщиков, из гнусных церберов, хоть и в юбке.

— Сейчас восемь тридцать. — Голос Ларисы стал деловым. — Успеешь позавтракать — директор покажет, где. И вниз. В десять ноль-ноль жду тебя с машиной.

— У меня своя на ходу.

— Твоя отдохнет. Василь Денисыч предоставил свою — с радиотелефоном. Он туда звонить будет.

— Во счастье-то!.. И куда поедем?

— Программа у меня. Размножена на ксероксе — прочитаешь, обсудим.

— Ну-ну, — сказал Умнов и швырнул трубку.

Программа, видите ли, на ксероксе, ксерокс у них, видите ли, имеется, без ксерокса они, видите ли, жить не могут... Переход от веселья к злости совершился быстро и незаметно. Умнов опять люто ненавидел все и вся, завтракать не пошел принципиально — плевать он хотел на их подлые харчи! — а решил побриться, поскольку оброс за ночь безбожно, стыдно на улице выйти. Даже на вражескую.

Лариса сидела на заднем сиденье черной «Волги», на полированной крыше которой пряталось стыдливое краснокитежское солнце, цепляясь за шаткую телефонную антенну.

— Садись сюда. — Лариса распахнула заднюю дверь.

— Сзади меня тошнит, — по-прежнему хамски сказал Умнов и сел вперед. Все-таки застеснялся хамства, объясняюще добавил: — Здесь обзор лучше.

А Лариса хамства по-прежнему не замечала. То ли ей приказ такой вышел — от Василь Денисыча, например: терпеть и улыбаться, — то ли подобный стиль разговора ненавязчиво считался у лучшей половины Краснокитежска мужественным и суровым.

— Посмотри программу, — сказала Лариса и протянула Умнову лист с оттиснутым на ксероксе текстом.

Там значилось:

«Программа пребывания товарища Умнова А. Н. в г. Краснокитежке.

День первый.

Завтрак — 8.30.

Посещение завода двойных колясок имени Павлика Морозова — 9.15—11.15.

Обед — 13.00—14.00.

Послеобеденный отдых — 14.00—15.00.

Посещение городской клиники общих болезней — 15.30—16.30.

Посещение спортивного комплекса «Богатырь» — 17.00—19.00.

Ужин — 19.00—20.00.

Вечерние развлечения по особой программе — 20.00».

Умнов внимательно листок изучил, и у него возник ряд насущных сомнений.

— Имею спросить, — сказал он. — Что значит «день первый»? Раз. Второе: что это за «особая программа» на вечер? И, в-третьих, я не желаю ни на завод колясок, ни в клинику. Я не терплю заводов и всю жизнь бегу медицины.

Лариса засмеялась, тронула ладонью кожаную спину пожилого и молчаливого шофера, лица которого Умнов не углядел: оно было закрыто темными очками гигантских размеров.

— Поехали, товарищ, — сказала ему. И к Умнову: — Отвечаю, Андрюшенька. День первый, потому что будет и второй — для начала. Особая программа — сюрприз. Вечером узнаешь. А завод и больница — это очень интересно, Андрюша, очень. Там идет эксперимент, серьезный, в духе времени, направленный на полную перестройку как самого дела, так и сознания трудящихся. У себя в столице вы только примериваетесь к подобным революционным преобразованиям, а мы здесь... — Она не договорила, закричала: — Смотри, смотри, мои ребята идут!..

Умнов глянул в окно. По тротуару шла нестройная колонна молодых людей, одетых весьма современно. Здесь были металлисты — в цепях, бляхах, браслетах, налокотниках и напульсниках с шипами. Здесь были панки — в блеклых джинсовых лохмотьях, с выстриженными висками, волосы торчат пегушиными гребнями и выкрашены в пастельные, приятные глазу тона. Здесь были брейкеры — в штанах с защипами и кроссовках с залипами, в узких пластмассовых очках на каменных лицах, все угловатые, все ломаные, все роботообразные. Здесь были атлеты-культуристы в клетчатых штанах и голые по пояс — с накачанными бицепсами, трицепсами и квадрицепсами. Здесь были совсем юные роллеры в шортиках, в маечках с портретами Майкла Джексона и Владимира Преснякова, все как один — на роликовых коньках. А по мостовой вдоль тротуара странную эту колонну сопровождал мотоциклетный эскорт рокеров — или раггеров — все в коже с ног до головы, шлемы, как у космонавтов или летчиков-высотников, мотоциклы — со снятыми глушителями, но, поскольку скорость процессии была невеликой, толковые ребята зря не газовали, особого шума не делали.

И все малосовместимые друг с другом группы дружно и едино несли самодельные плакаты, подвешенные к нестроганым шестам — будто хоругви на ветру болтались. На хоругвах чернели, краснели, зеленели, желтели призывы, явно рожденные неутомимым комсомольским задором: «Все — на обустройство кооперативного кафе-клуба!», «Даешь хозрасчет!», «Частная инициатива — залог будущего», «Дорогу — неформальным молодежным объединениям!»

— Что это? — ошарашенно спросил Умнов.

— Я же говорю: мои ребята... — Лариса чуть не по пояс высунулась из окна, замахала рукой, закричала: — Ребята, привет! Как настроение? Главное, ребята, сердцем не стареть!

Из колонны ее заметили, оживились. Рокеры приветственно газанули. Брейкеры выдали «волну». Металлисты выбросили вверх правые руки, сложив из пальцев «дьявольские рога». Культуристы грозно напрягли невероятные мышцы. Панки нежно потупились, а роллеры прокричали за всех дружным хором:

— Песню, что придумали, до конца допеть!..

— Что это за маскарад? — слегка изменил вопрос Умнов. — Они же ненастоящие...

Он был удивлен некоей насильственной театральностью шествия, некоей неестественностью поведения статистов. Вот точное слово: статисты. Будто хороших комсомольских активистов, отличников и ударников переодели в карнавальные костюмы и строго наказали: ведите себя прилично.

— Почему ненастоящие? Самые что ни на есть.

Мы кликнули клич, выбрали самых лучших, самых достойных, рекомендовали их на бюро, организовали, снабдили реквизитом. ДОСААФ мотоциклы отстегнул. Создали группы... А сейчас они кафе-клуб обустроить идут. Нам помещение выделили, бывшая капэз в милиции. Милиция новое здание получила, а капэз — нам. Решетки снимем, побелим, покрасим, мебель завезем и встанем на кооперативную основу...

— Кто встанет?

— Как кто? Мы. Комсомол.

— Всесоюзный Ленинский? Весь сразу?

— Ну, не весь... Выделим лучших, проголосуем.

— А приблечь кому?

— Всем.

— И на что вы все ее тратить будете?

— На что тратить — это самое легкое, — засмеялась Лариса. — Сначала заработать надо...

— Слушай, а ты что, комсомольский секретарь?

— Да разве в должности дело? Я, Андрюшенька, Дочь города. Нравится звание?

— Неслабо... Отцы и Дети, значит...

Интересно, подумал Умнов, эти неформашки — чья идея? Ее?.. Чья бы ни была — идею выдал нагора или кретин, или гений. Кретин — если всерьез. Гений — если издевки для. Но если издевка — то над кем? Не над ребятами же?..

«Волга» остановилась у массивных железных ворот, густо крашенных ядовитой зеленой масляной краской. Над воротами красовалась металлическая же — полуметровые буквы на крупной сетке — надпись: «Завод двойных колясок имени Павлика Морозова». А рядом с воротами была выстроена вполне современная — стекло и бетон — проходная, куда Лариса и повела Умнова, бросив на ходу кожаному шоферу:

— Ждите нас, товарищ. Мы скоро.

За проходной Умнова и Ларису встречали трое крепких мужчин, тоже в серых костюмах, но цвет их был погрязней, да и материал попроще, подешевле, нежели у Отцов города. К примеру, у Отцов — шевит, а у встречавших — синтетика с ворсом. Или что-то в этом роде. Умнов не шибко разбирался в мануфактуре.

— Знакомьтесь, — сказала Лариса. — Наш гость Умнов Андрей Николаевич, знаменитый журналист из Москвы.

Но встречавших знаменитому почему-то не представила.

Крепкие мужчины крепко пожали Умнову руку, и один из них радушно сказал:

— Приятно видеть. Извините, что директор и зам встретить не смогли. Они готовятся.

— К чему? — спросил Умнов.

В воспаленном событиями сознании Умнова возникла ужасающая картина: директор и зам учат наизусть приветственные речи, которые они произнесут на встрече с десятиллионным посетителем Краснокитежска. Каждая речь — минут на сорок...

— К выборам, — пояснил мужчина, несколько успокоив воспаленное сознание Умнова. — Вы попали к нам в знаменательный день. Сегодня труженики завода выбирают директора, его заместителя, второго заместителя, главного инженера, главного технолога и главного энергетика.

— Всех сразу? — удивился Умнов.

— А чего тянуть? — отвечал один, а остальные, улыбаясь, синхронно кивали, показывая тем самым, что сказанное мнение — общее, выношенное, утвержденное. — Шесть должностей — шесть собраний. Каждое неизвестно сколько продлится: народ должен выговориться. Шесть собраний — шесть рабочих смен. Шесть смен — около тысячи двойных колясок.

Тысяча колясок недодана — завод невыполнил план. Невыполненный план — недополученная премия трудовому коллективу. Недополученная премия — недо... — Стоп, стоп. — Взволнованный услышанным, Умнов поднял руки горé: мол, сдаюсь, убедили, дураком был, что спросил. — Все понятно. Недополученная премия — недокупленный телевизор. Недокупленный телевизор — недоразвитая семья. Недоразвитая семья — недостроенный социализм... Цепочка предельно логична... И сколько же вы собираетесь заседать сегодня?

— Ход собрания покажет, — туманно ответил грязно-серый мужчина. — Кандидатов у нас всего девяносто семь, но могут быть неожиданности.

— Ско-о-олько?

Умнова со вчерашнего вечера удивить было трудно, милые ветры перемен дули в Краснокитежске с разных сторон и всегда непредсказуемо. Но девяносто семь кандидатов — это, знаете ли, в страшном сне...

— Мы провели опрос в городе, народ назвал лучших. Все в списке.

— Лариса, — тихо сказал Умнов, — это навечно. Мы сорвем программу. Василь Денисыч нам не простит. Кто эти сумасшедшие?

— Не сорвем, — так же тихо ответила Лариса, для которой, похоже, факт гранд-выборов не был открытием. — Все учтено... А это не сумасшедшие, а представители общественных организаций. Хозяева завода.

— Ошибаешься, Лариса, — ласково поправил ее Умнов, неплохо поднаторевший в развешивании ярлыков. А и то верно: каждый журналист — немного товаровед. — Хозяева завода — рабочие, а представители общественности — Слуги народа.

— Не совсем так, — не согласилась Лариса. — Слуги народа — освобожденные, те, кто за службу зарплату получает. А эти трое — выборные, двое итээровцы, третий сам рабочий. Значит, Хозяева...

Так они шли, словно беседуя на социально-терминологические темы. Умнов слушал ее и недоумевал. Вроде она всю эту чепуху всерьез несет — не улыбнется даже. А в голосе — Умнов чувствовал! — сквозила легкая ирония. Над кем? Над чем? Над сложной иерархией наименований? Или над ним, Умновым, иерархию эту не знающим?.. Хозяева им не докучали — неслись впереди, на собрание торопились, на демократический акт. И все же любопытный Умнов успел задать мучавший его вопрос, отвлек Хозяев от ненужной спешки к вершинам демократии.

— А скажите мне, — крикнул он им в литые спины, — почему коляски двойные?

— По технологии, — бросил через плечо Хозяин-рабочий. — По утвержденному в Совмине СНИПу... Пospешайте за нами, товарищ журналист. И так опаздываем... — И все трое скрылись в тугих дверях заводоуправления.

— Ничего не понял, — отчаянно сказал Умнов, поднимаясь рука об руку с Ларисой по широкой лестнице, ради праздника устланной ковровой дорожкой.

Лариса сжалась, объяснила:

— Двойные — это общий термин. А так мы делаем коляски для двойняшек, тройняшек, четверняшек и пятерняшек. — И добавила нудным голосом гда-профессионала: — Единственный завод в Союзе.

— И большой спрос на пятерняшки? — праздно поинтересовался Умнов.

— Республики Средней Азии до последней разбирают.

Больше Лариса ничего добавить не успела, потому что они вошли в большой актовый зал, дотесна заполненный рабочим людом. Умнов ожидал увидеть в пре-

зидиуме добрую сотню клиентов — все кандидаты плюс несколько главных Хозяев, — но на сцене было на удивление малоллюдно: всего семь человек сидело за столом президиума, крытым зеленым бильярдным сукном. Справа от стола стояли всегда переходящие знамена, древки которых напоминали опять же бильярдные кии. В зале тут и там понатыканы были софиты, между первым рядом и сценой расположились телевизионщики с переносными камерами, фотографы с «лейками», «никонами» и «зенитами», а также один художник-моменталист, который мгновенно рисовал портреты трудящихся на листах в альбоме, вырывал их и щедро дарил портретируемым. Еще на сцене стояло два стенда, на коих разместились множество черно-белых фотографий.

— Кандидаты, — поясняюще шепнула Лариса.

Они малость задержались в проходе, пытаясь хоть куда-нибудь протолкнуться, и немедля были замечены из президиума.

— Товарищ Умнов, — крикнули оттуда, — сюда, пожалуйста!

— Спасибо, я здесь пристроюсь! — крикнул в ответ Умнов и скоренько уселся одной ягодицей на половинку стула в десятом ряду: сидевший с краю радушно подвинулся.

— Идемте, Андрей Николаевич, нам туда надо. — На людях Лариса называла его официально — на «вы».

— Тебе надо, ты и иди, — вспомнил забытую было тактику Умнов. — А мне и здесь хорошо.

Лариса помедлила секунду и решительно поперла к сцене. Как ни грубо звучит это слово, но другого не подобрать: именно поперла, расталкивая локтями, плечами, коленями забивших проходы вольных выборщиков. Добралась до президиума, села с краешку — как и положено хорошо воспитанной Дочери.

Председательствующий — костюмчик у него был чисто-серым, да и лицо Умнову знакомым показалось: не он ли на банкете слева от Василь Денисыча сидел? он, он, из Отцов, родимый... — монументально поднялся, монументально постучал стаканом по графину с водой и монументально же повел речь. И хотя грамотный Умнов понимал, что монументально стучать или говорить — это не по-русски, монументы не разговаривают, иного сравнения к случаю не нашел. Здешные умели всё.

— Мы собрались здесь сегодня для того, — начал монумент, — чтобы совершить воистину демократический акт: избрать руководителей завода, которые достойно смогут осуществлять на своих постах вашу, товарищи, политику. Ту, значит, которую вы им накажете проводить. А поэтому город, скажу я вам, серьезно отнесся к процессу. Названы самые достойные люди Краснокитежска, самые уважаемые. Вот, например, учительница по физике Кашина Маргарита Евсеевна — ее, как будущего главного энергетика, школьники называли, ваши, так сказать, дети, внуки, и гороно поддержало... Вот бригадир слесарей ДЭЗ № 8 Мелконян Гайк Степанович. На его участках ни разу не было аварий в водоснабжении и, извините, канализации, а на этих участках вы сами живете, сами пользуетесь благами цивилизации, которые стойко охраняет ваш кандидат на пост главного технолога. Вот зубной врач стоматологической поликлиники Тамара Васильевна Рванцова, вы ее тоже хорошо знаете, она председатель женсовета вашего завода, точнее — совета жен, которые, кстати, на пост директора ее и выдвинули. Ваши жены, дорогие друзья, ваши, простите за каламбур, домашние королевы... А вот и от пенсионеров кандидат: бывший бригадир заливщиков, ветеран войны и труда Старцев Григорий Силыч, тоже, заметим, председатель, но — совета ветеранов завода. Он у нас на директора от ветеранов

идет... Да что тут долго перечислять! Вы списки видели, изучали, обсуждали, всех кандидатов знаете: и на пост директора, и на посты его заместителей, и на другие важные посты. Добавлю лишь, что наравне с остальными будут баллотироваться и нынешние руководители завода, которых вы тоже знаете. Так что нечего тут китайские церемонии разводить, не в Китае живем, давайте обсуждать. Хлестко и нелепо приятно.

И сел Отец города — чистый монумент, памятник развитому социализму.

Умнов осмотрелся: неужели присутствующие в зале, забывшие его до отказа, весь этот бред принимают всерьез? Неужели они всерьез будут голосовать за слесаря с дантистом? Неужели никто не встанет и не скажет: «Ребята, демократия — это вам не игра в солдатики. Чур, сегодня я — генерал, а завтра ты им будешь...» Ну, ладно, банкет с компотом — безобидный, в сущности, идиотизм. Ну, ладно, костюмированные панки с металлизацией — тоже слегка допустить можно, сама идея их «движения» в основе своей не шибко серьезна... Но директор-то профессионалом должен быть! Энергетик с технологом дело знать обязаны!.. И вдруг он услышал внутри себя голос, который складно произнес давным-давно слышанное: «Не боги горшки обжигают, товарищ Умнов». То-то и обидно, что не боги. Разве за семь десятилетий, что родная власть существует, не было у нас такого, чтобы вчерашний химик становился министром... чего?.. ну, скажем, культуры, а вчерашний металлург — сегодняшним председателем колхоза? Было, было, сотни раз было! Разве хороший директор завода или фабрики не бросался с размаху на партийную работу, где надо не только людей понимать, но и такую кучу проблем решать, с которыми он у себя на заводе и не сталкивался... Старый принцип: не сможешь — поможем, не справишься — перебросим. Был начальником тюрьмы — становись директором театра. Был юристом — давай поруководи цирком в масштабе страны... А что такого? Ну, к примеру, выберут они сегодня учительницу физики главным энергетиком — так она же не одна в энергетической службе. У нее подчиненные — профессионалы. Да и сама она про энергетику в своем институте учила, закон Ома от закона Джоуля — Ленца запросто отличает. Так что пусть работает. Опять повторим: не боги горшки обжигают. Господи, взмолился Умнов, доколе же мы будем жить по этому вздорному принципу? Когда поймем, наконец, что не горшки обжигать надо — державу спасать от плохих горшечников.

Но тут в президиуме произошло некое шевеление, и у Умнова, который уже ничему не удивлялся, зародилось подозрение, будто устроители нынешнего фарса кое-что приберегли про запас. Более того, почтеннейшая публика о том раскрепрасно ведает, иначе почему «народ безмолвствует»?..

Отец-председатель снова поднялся и сделал существенное добавление. Он так и заявил:

— Есть, товарищи, существенное добавление. В президиум поступили самоотводы. Вот что пишет, например, товарищ Кашина: «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на ниве среднего образования». Благородное заявление, товарищи, граждански мужественное. Думаю, надо уважить. Будем голосовать сразу или другие самоотводы послушаем?

Из зала понеслось:

— Другие давай... Чего там канителиться... Спирком будем...

— Значит, еще самоотвод — Мелконяна Гайка Степановича. «Прошу снять мою кандидатуру с голо-

сования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на ниве водоснабжения и канализации». Тоже гражданский поступок, товарищи, нельзя не оценить самоотверженности товарища Мелконяна... А вот что заявляет нам Тамара Васильевна Рванцова: «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на ниве зубопротезирования»... Тут еще много самоотводов, общим числом... — Он наклонился к грязно-серому соседу, тот что-то шепнул ему. — Общим числом девяносто один экземпляр. Фамилии перечислить?

— Не надо!.. — заорали из зала. — Догадываемся!.. Голосуй, кто остался!..

— А остались у нас в списке для голосования те, кого вы лучше всего знаете. На пост директора завода баллотируется нынешний директор Молочков Эдуард Аркадьевич. На посты его заместителей — его заместители Тишкин В. А. и Потапов Г. Б. На пост главного энергетика...

Дальше Умнов не слушал. Согнувшись в три погибели, он пробирался сквозь толпу к выходу, чтоб только из президиума его не заметили, чтоб только бдительная Лариса не окликнула, не приказала безжалостно отловить. У Умнова был план. К его великому сожалению, план этот касался не побега вообще — судя по утренним экзерсисам, он пока обречен на провал, — но изучения вариантов побега: назрела мыслишка кое-что посмотреть в гордом одиночестве, кое-что проверить, кое-что прикинуть. А там пусть ловят. Там, если хотите, он и сам сдастся...

Он вышел в фойе и облегченно вздохнул. Фарс с горшками для богов обернулся фарсом с выборами для демократии. Списочек составили, кандидатов наворотили — сотню, перед вышестоящими инстанциями картинку выложат — закачаешься. Инстанции, они сейчас хоть и делают вид, что только наблюдают со стороны, а на самом деле ой-ой-ой как во все влезают. Со стороны. Вот почему здесь выбирают одного из одного. Или — точнее! — шестерых из шестерых. Богатый выбор...

Умнов сбежал по ковровой лестнице, миновал заводской двор, пустой в этот час, — лишь сиротливо стояли автопогрузчики, электроплатформы, маленькие электромобильчики «Пони», и лишь у трех красных «КамАЗов» с прицепами курили шоферы, сплевывали на асфальт и негромко матерились. Их-то и надеялся увидеть Умнов: заметил машины, когда спешил на собрание.

— Чем недовольны, командиры? — бодро спросил он, подходя к шоферам, доставая из кармана рубашки духовитую индийскую сигаретку «Голд лайн» и ловко крутя ее в пальцах.

Один из камазовцев приглашающе щелкнул зажигалкой.

— Не надо, — отстранился Умнов. — Бросил. Просто подержу за компанию.

Умнов никогда не курил, но сигареты при себе имел: образ бросившего сильно сближал его с курящими собеседниками. Маленькие журналистские хитрости, объяснял Умнов, перефразируя любимый штамп известного футбольного комментатора.

Камазовцы на штамп клюнули:

— Завидую, — сказал один, в ковбойке, смачно затягиваясь. — А я вот никак...

— «Сила воли плюс характер», — добавил второй, в майке, цитатку из Высоцкого.

— Так чем же недовольны? — повторил вопрос Умнов, пресекая ненужные всхлипы по поводу собственной стойкости.

— Стоим,— сказал первый шофер и выдал несколько идиоматических выражений.— Они, блин, там штаны протирают, глотки дерут, а мы здесь загорай на коляву...

— За готовой продукцией приехали?

— За ней, чтоб у ней колеса поотваливались.

— И далеко повезете?

— На базу.

— А база где?

— Слушай, ты чего пристал? Шпион, что ли?

— Шпион, шпион... Так где база?

— Вот, блин, прилип... Ну, на Робинзона Крузо, сорок два. Доволен, шпион?

— Это улица такая?

— Нет, блин, пивная!.. Конечно, улица.

— В Краснокитежске?

— Ну, блин, в Лондоне же!..

— Так вы местные...— В голосе Умнова послышалось такое откровенное разочарование, что первый камазовец, гася бычок о подошву тираспольской кроссовки, спросил не без сочувствия:

— Поправиться, что ли, хочешь?.. Нету у нас, друг. Сходи в стекляшку, скажи Клавке, что от Фаддея,— она даст, она добрая...

— Да нет, я не пью,— отмахнулся Умнов.— Я так просто... А кто коляски из города повезет? Выходит, не вы?..

Тут вмешался третий камазовец, самый из них солидный — килограммов под сто, до сих пор хранивший гордое молчание.

— А не пойдешь ли ты туда-то и туда-то? — спросил он, называя между тем вполне конкретный адрес отсылки.

— Не пойду,— не согласился Умнов.— Ребята, вы не поверите, но меня в этом вашем Краснокитежске заперли. Хотел сегодня уехать, мне на юг надо, а ни хрена не вышло.

Камазовцы посуровели. Легкое, но гордое отчуждение появилось на их мужественных, изборожденных ветрами дорог лиц.

— Бывает,— туманно сказал первый, в ковбойке.

Остальные молчали, разглядывали небо, искали признаки дождя, грозы, смерча, самума, будто не ехать им по разбитым магистралям Краснокитежска, а взмывать над ним в облака с ценным грузом двойных колясок для среднеазиатских пятерняшек.

— Что бывает? — настаивал Умнов.

— А не пойдешь ли ты туда-то и туда-то? — спросил третий, не изменив конечного адреса.

— Ребята, я серьезно. Понимаете, плохо мне. Страшно.

И тогда, словно поняв умновские зыбкие страхи, первый камазовец полуобнял Умнова, дыхнув на него сигаретно-пивным перегаром, и шепнул доверительно:

— Поверь на слово, друг: не рышайся. Раз не можешь выбраться, значит, судьба. Значит, Краснокитежск — твой город.

— Какой мой? Какой мой? Я из Москвы, понял? Москвич я! Коренной!

— А чем твоя Москва от Краснокитежска отличается? Только размерами.. Ладно, некогда нам с тобой ля-ля разводить. Бывай, москвич. Держи нос по ветру — верное, блин, дело.

И все сразу, как по команде, пошли прочь, не оглядываясь, не попрощавшись, будто дела у них в момент подвернулись — важнее некуда, будто спешка выпала — все горит, все пылает, не до пустого им трепя с посторонними шпионскими хаями.

И тут перед Умновым возник кот. Тигровой расцветки, хвост антенной торчит, глаз желтый, в крапинку, с черным щелевидным зрачком.

— Здорово,— сказал Умнов.— Чем обязан?

Кот не ответил вопреки вздорным утверждениям

классиков мировой литературы, повернулся и пошел, покачиваясь на тонких длинных лапах, подрагивая худой антенной, явно завлекая Умнова за собой.

Умнов, посмеиваясь про себя, пошел за котом. Думал: люди панически бегут от общения с ним, с пришельцем извне,— если, конечно, не считать тех, кто его охраняет,— а кот сам на контакт набивается. Может, это не Умнов — пришелец? Может, это кот — пришелец? Брат по разуму, негласно обосновавшийся в Краснокитежске?..

Так они шли друг за другом — не спеша и валяжно — и дошли до банальной дыры в крепком металлическом заборе, оградившем завод двойных колясок от непромышленной зоны города. Кот остановился, поглядел на Умнова, мигнул, чихнул, зевнул, утерся лапой, прыгнул в дыру и исчез с глаз долой.

Малость опасаясь продрать штаны или куртку, Умнов пролез в дыру — нечеловеческой силой разведенные в стороны железные листы — и оказался на большом пустыре, а точнее, на заводской свалке, где мало живописно громоздились какие-то ржавые металлоконструкции, какие-то кипы бумаг, какие-то бидоны и бочки, гигантские искореженные детские коляски — из брака, что ли? — и прочий мусор, вполне уместный на заводском чистилище.

Кругом — ни живой души. И кот пропал.

— Ау,— негромко сказал Умнов,— есть тут кто?

Подул ветер, поднял с земли бумажки — смятые, грязные, кем-то давно исписанные, истыканные синими печатями, подобрал какие-то пестрые ленточки, тряпочки, лоскутки, все это закружилось над бедным Умновым, понеслось над его головой, а кое-что и на голове задержалось: красная лента прихотливо обвила лицо, запуталась в волосах. Умнов лихорадочно сорвал ее, бросил, брезгливо вытер ладонь о шершавую ткань джинсов. А ветер исчез так же внезапно, как и возник, шустрый вихрь из вторсырья улегся на свои места, и в тот же миг из-за металлоломного террикона выступил странноватый тип — худой, длинный, покачивающийся на тонких ногах, как заводской кот. У Умнова мелькнула совсем уж бредовая мысль: а не сам ли кот перевоплотился? Вполне в духе общего сюжета...

На коте, то бишь на субъекте, болтался непонятного цвета свитер грубой вязки «в резинку», тощие ноги его были обтянуты бывшими когда-то белыми штанами. Был он бородат, ушат и вообще длинноволос. Если бы не возраст — лет тридцать — тридцать пять! — Умнов вполне мог бы принять его за одного из переодетых Ларисиных неформашек. Но нет, те были слишком чистыми, буффонно-карнавальными, а этот выглядел вполне настоящим.

— Здравствуйте,— вежливо сказал Умнов.

Субъект не отвечал, пылливо разглядывая Умнова, будто соображая: сразу его ткнуть по кумполу остатками двойной коляски или малость погодить?

Умнову молчание не нравилось.

— Это к вам меня кот привел? — пошутил он. Так ему показалось, что пошутил. Но смех смехом, а идиотский вопрос заставил субъекта подать голос.

— Какой кот? — спросил он.

Голос у него был под стать внешнему виду: тусклый, сипловатый, поношенный.

— Обыкновенный,— растерялся Умнов, что было на него са-авсем не похоже: герой-журналист, зубы съевший на общении с кем ни попадя,— и вдруг, и вдруг...— Шутка. Извините.

— При чем здесь кот? — раздраженно произнес субъект.— Мы ищем вас по всему городу. Они,— он выделил слово,— вас закуклили, не пробиться...

Умнов восторженно:

— Как закуклили? Что значит закуклили? В смысле — захомутали? Кто?

— Да какая разница — как! — Субъект раздражался все больше. — Есть способы... А они — это они, сами знаете... Слушайте, нам надо поговорить.

— Говорите.

— Здесь? — Субъект засмеялся. И смех-то у него был скрипучим, ржавым — как со свалки. — Да здесь нас засекут в два счета!.. Нет, потом, вечером. В одиннадцать будьте в номере, вам свистнут.

— Кто свистнет? Откуда? И вообще кто вы?

— Понять хотите?

— Очень хочу.

— Всему свое время. Будьте в номере.

— А если меня караулить станут? — резонно поинтересовался Умнов. — Совсем... это... закуклят?

Субъект опять засмеялся.

— Больше некуда... Ваше дело — одному оставаться. Остальное — наши заботы.

— Да кто вы, наконец? — обозлился Умнов от всего этого дешевого таинственного камуфляжа: тут тебе и свалка, тут тебе и ветер, тут тебе и кот-пришелец, и субъект из фильма ужасов. — Не скажете — не приду.

— Придете, — отрезал субъект. — Мы вам нужны так же, как и вы нам. Все. Ждите.

И скрылся за терриконом, откуда и возник. Умнов рванулся было за ним, но поздно, поздно: проворный субъект, знавший, видимо, свалку, как собственную квартиру, — а была ли она у него, собственная?! — исчез, затерялся за мусорными кучами, ушел, как под обстрелом. А вдруг и впрямь под обстрелом?

Узнать бы, что происходит, горько думал Умнов, пролезая в дыру и шествуя к заводууправлению. Я же терпеть не могу фантастику, я же в своей жизни, кроме Жюль Верна, ничего фантастического не читал. А тут — на тебе... Кто этот тип со свалки? По виду — алкаш из гастронома... Скорей бы вечер...

Заводской двор был по-прежнему пуст, даже камазовцы куда-то слиняли. Умнов сел на бетонные ступеньки у входа в заводууправление и стал ждать.

Что еще мне сегодня предстоит, вспоминал он. Образцовая больница со стопроцентным излечиванием всех болезней — от поноса и насморка до рака и СПИДа?.. Потом стадион. Закаляйся, как сталь. Все там будут закалены, как сталь. Как стальные болванки... Нет, дудки, никуда не поеду. Сорву им на фиг программу, пусть закукливают...

Двери захлопали, и из заводууправления повалил народ.

— Здрасьте, пожалуйста, вот он куда скрылся. — Из-за спины сидящего Умнова, которого народ аккуртно обтекал, раздался веселый голос Ларисы.

Умнов встал.

— Жарко там. И скучно. Чем кончилось?

— Единогласно, — торжествующе сказала Лариса. И опять не понял Умнов: всерьез она или издевается? — Все кандидатуры одобрены народом без-о-го-ворочно.

— А ты сомневалась? — подначил Умнов.

Но Лариса подначки не приняла.

— Сомневаться — значит мыслить, — засмеялась она, все в шутку перевела, умница. — А я мыслю, Андрюшенька. И знаешь, о чем? О хорошей окрошечке. Ты как?

Мысль об окрошечке у Умнова отвращения не вызвала.

— Можно, уговорила, — все-таки склочно, — тактика, тактика! — сказал он.

— Тогда поспешим. Дел впереди — куча.

Сначала окрошка, решил Умнов, а потом истина. Не буду портить обед ни себе, ни ей. Отрекусь от программы после еды.

(Окончание следует)



Николай
ЕРМИН

☆☆☆

Пенсионер из города Уяра
Изобразил картину на стекле:
Цветущий луг и пляшущая пара...
И подпись: «Жизнь прекрасна!» — в полумгле.

Я вглядывался в пляшущую пару...
И вот, воскликнув: — Что за благодать! —
Пошел бродить по городу Уяру,
Надеясь эту пару отыскать.

Но, вглядываясь, — вот какая штука! —
Ни в городе, ни в пригороде я
Не повстречал ни пляшущих, ни луга
Среди примет иного бытия.

Не стану приводить примет, примеров...
Скажу лишь: по Уяру побродив,
Я понял и мечту пенсионера,
И вдохновенный творческий порыв...

☆☆☆

Вокруг — ни мудрецов, ни дураков...
За что тебе подарено всевышним
Прекрасное собрание стихов
И день прекрасный под цветущей вишней?..
И девушка, прекрасная, как день,
Внимающая трепетному слову,
И солнечная ласковая тень,
И лунная — по прихоти и зову...
Всю жизнь ты будешь думать и гадать,
Уставший среди счастья и покоя:
— За что тебе такая благодать? —
Как будто наказание какое...

☆☆☆

Отчего так грустно человеку
В мире, где зима и благодать?
Загляну-ка я в библиотеку
И спрошу: — Чего бы почитать?
Начитаюсь про любовь-измену
И потом, в душе смиряя прыть,
Попрошу Медведеву Елену
Разрешить до дому проводить...
И Елена, засмутившись мило,
Оглядев пустой читальный зал,
Скажет, что другому разрешила
И что я немножко опоздал...
И пойду я прочь, навстречу снегу, —
Днем и ночью думать и гадать:
Отчего так грустно человеку
В мире, где такая благодать...

г. Красноярск.

НЕТЕРПЕЛИВЫЕ СТРОКИ

«Многие писатели, не надеясь на свою память, обзаводятся записными книжками». Такими оптимистичными словами в одном из прошлогодних номеров предварялась публикация сатирика Л. Новоженова, которая была одобрительно встречена читателями и подписчиками. Они настойчиво изъявляли желание взглянуть еще в чьи-нибудь записные книжки. Будь по-вашему, дорогие товарищи. Сегодня со своими лаконичными заметками добровольно выступает ленинградец К. Мелихан — заведующий чувством юмора журнала «Аврора».

* * *

Чтобы попасть в цель, часто нужна не меткость, а смелость.

* * *

Чем отличается голодание от обжорства? Вред тот же, а удовольствия никакого.

* * *

Писатель Н. — гордость нашей макулатуры.

* * *

Несколько молодых поэтов-авангардистов, на выступления которых никто не ходил, потому что их стихи были оторваны от жизни, решили сами пойти в народ. Молодые люди пришли в парк и, забираясь по очереди на скамейку, начали тарабанить свои заумные стихи. Проходившая мимо старушка остановилась и сказала выступавшему поэту:

— Правильно говоришь, сынок! Плохо мы еще живем.

* * *

Рисую свое прошлое, человек обманывает других. А рисуя свое будущее, обманывает себя.

* * *

Мост — скелет гигантского чудовища, которое умерло, перепрыгивая через реку.

* * *

— Что такое счастье?
— Делать, что хочешь.
— А что ты хочешь?
— Ничего не делать.

* * *

В каждом страховом агенте дремлет Шекспир.

* * *

Самое главное в жизни — любовь, если, конечно, здоровье крепкое и жил-площадь большая, а деньги придут сами собой, лишь бы работа была хорошая.

* * *

Краткость — сестра шпаргалки.

* * *

Сверхстарость — это когда памятник уже развалился, а тот, кому его поставили, еще жив.

* * *

— Как ваша фамилия?
— Спасибо, ничего. А ваша?

В НОМЕРЕ:

Проза

Фазиль ИСКАНДЕР. Рассказы (2)
Николай ШМЕЛЕВ. Последний этаж. Рассказ (46)
Сергей АБРАМОВ. Неформашки. Фантастическая (88)

Поэзия

Юрий ЛАКЕРБАЙ (42), Татьяна ПОЛЯЧЕНКО (43),
Григорий КРУЖКОВ (83), Николай ЕРЕМИН (95).

Наследие

Наталья КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ: «Выхожу в единоборство — день грядущий заслужить» (43). Стихи (44).
Юрий ДОМБРОВСКИЙ: «Я жду, что зажжется искусством моя нестерпимая боль...» (56). Стихи (57). Статьи (58).

Публицистика

Игорь ХРИСТОФОРОВ. Погоня за точкой зала (63).
Игорь ЧКАЛОВ. Через полюс и время (66).
20-я комната. Заседание тринадцатое (69).
Борис ЦАРЕВ. Мы, нижеподписавшиеся... (74).

ЮНОСТЬ — СПТУ. Вестник культурного центра «Личность» (76)
Так почему же непристойно ПТУ? (77)

Критика

Л. СПИРИДОНОВА. «Кончайте свое дело и плюньте в Сорренто...» (79).
Михаил ПОЗДНЯКОВ. Без гарантий? (84)
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Не молитва, а угроза (85)

Культура и искусство

В. ШАЛАБИН. Философы приглашают художников (65)

Зеленый портфель

Константин МЕЛИХАН. Нетерпеливые строки (96)

Оформление обложки

В. Былинкина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенюк

Принципиальный макет С.А. Стулова.

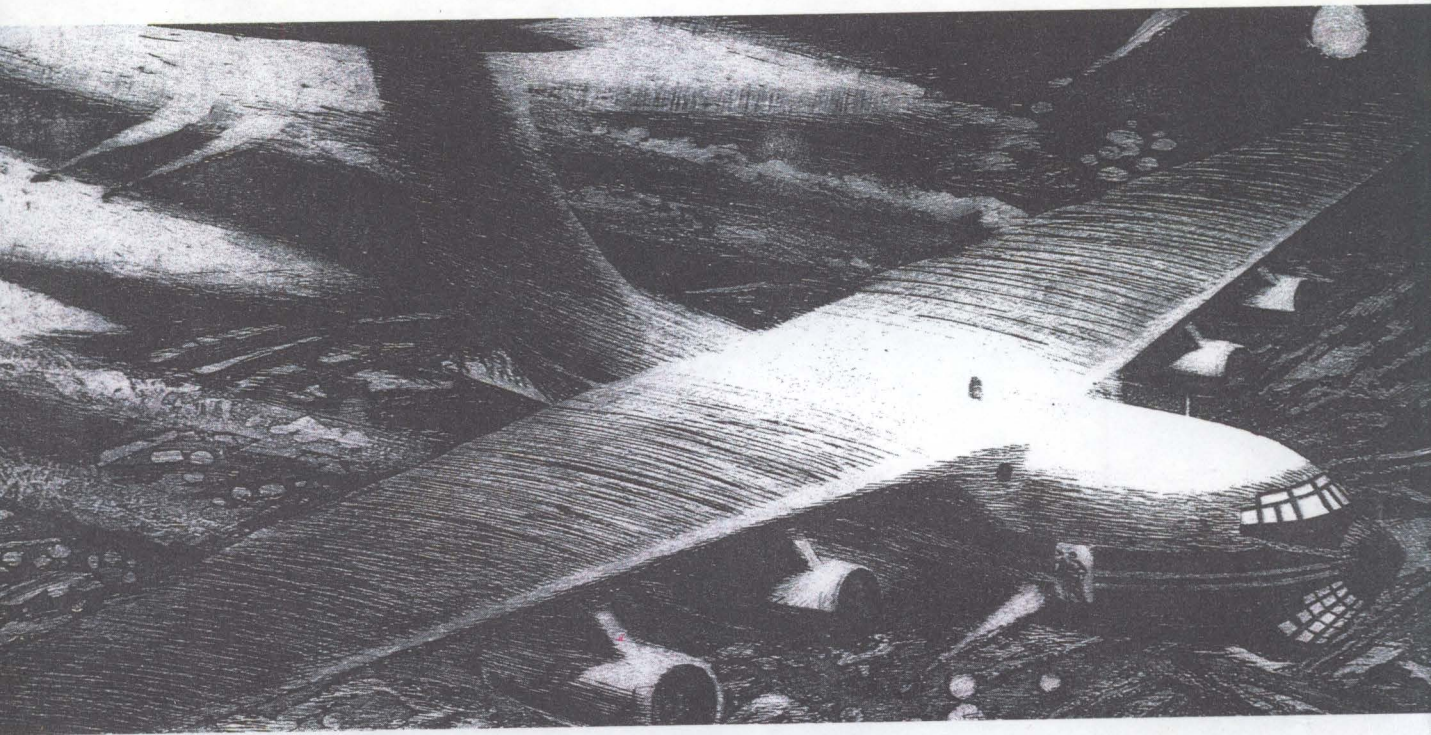
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва,
К-6, ул. Горького, д. 32/1

Телефоны
Главная редакция — 251-31-22
Отделы: прозы — 251-59-44
поэзии — 251-44-35
критики — 251-96-76
публицистики — 251-02-30
науки и техники — 251-27-57
рукописей — 251-74-60
писем — 251-14-21
культуры — 251-48-65
оформления — 251-73-83
сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 07.12.87.
Подп. к печ. 23.12.87. А 02690.
Формат 84×60%. Offsetная печать.
Усл. печ. л. 11,63. Уч.-изд. л. 17,62.
Усл. кр.-отт. 15,81. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 1725.

Ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. Правды, 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда».
«Юность», 1988 г.



Десантирование. Из серии «Ночной полет».

На стендах «ЮНОСТИ»

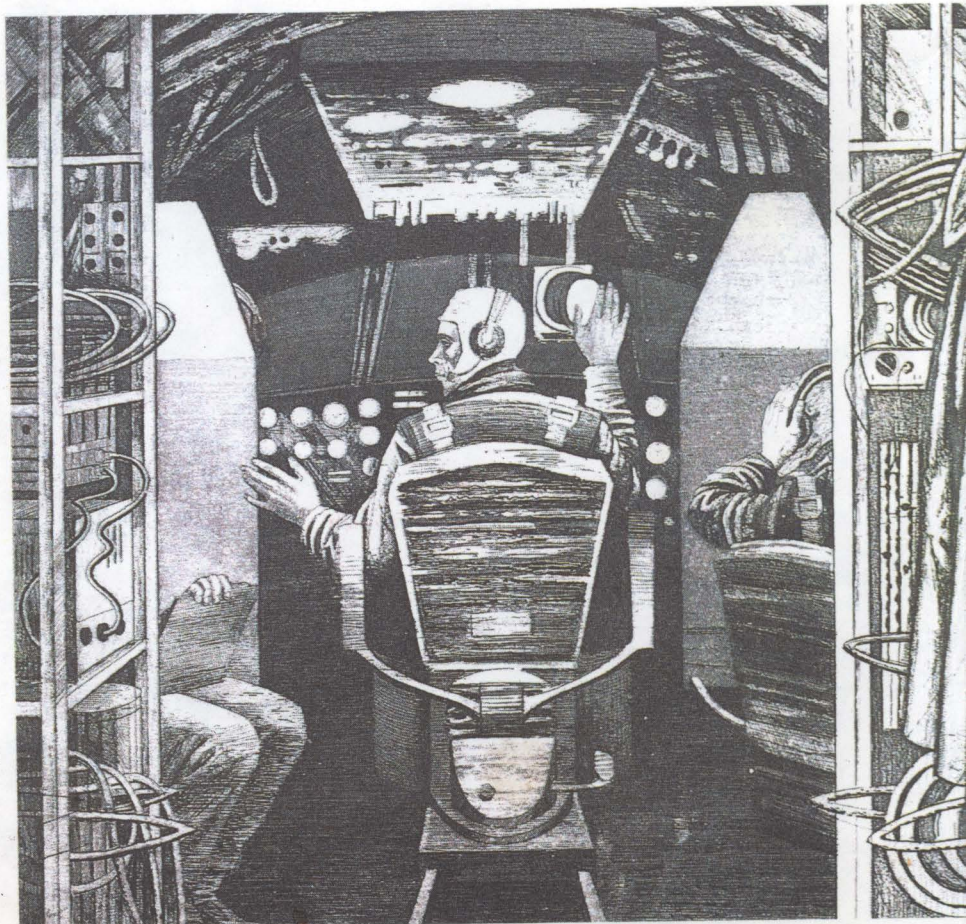
**ВЯЧЕСЛАВ
ЖЕЛВАКОВ**
Москва.

Только ли в мастерстве и профессиональной грамотности притягательные свойства художника Вячеслава Желвакова? Для графика, работающего в мастерской Академии художеств, эти качества само собой разумеющиеся. А вот непрерывное, напряженное взглядывание в окружающее определило творческую жизнь В. Желвакова еще в годы учебы в МГХИ имени Сурикова. Много обещала уже дипломная работа — серия офортов «Труды и дни Михаила Ломоносова».

С тех пор прошло шесть лет, и мы видим офорты художника о буднях нашей авиации.

Работы лишены драматизированных военных сцен. Но непростой военный быт, разворачиваясь перед нашими глазами, воздействует, быть может, сильнее, чем привычные картины битв, воздушных сражений...

В. ПОГОДИН



Экипаж. Из серии «Ночной полет».



Юность. 1988 № 2, 1—96.
Индекс 71120.
Цена 70 коп.

1918 — 1988

The bottom half of the page features a dynamic, abstract graphic design. It consists of numerous parallel diagonal lines in shades of red, orange, and black, creating a sense of motion and speed. Overlaid on these lines is a stylized, dark silhouette of a car, possibly a sports car, viewed from a side profile. The overall composition is energetic and modern.